# Авантюры студиозуса Вырвича

# Людмира Рублевская

Перевод с белорусского Павла ЛЯХНОВИЧА.

Роман приключенческий и фантасмагорический

Пролог

Падать со второго этажа на мостовую вредно.

Особенно если ты не кошка, а студиозус славной Виленской академии, без малого дипломированный философ. Пусть даже этот без точки с запятой философ и привык лазать в окна и преодолевать каменную кладку, кои меша­ют шляхетскому стремлению к славе или куртуазному приключению.

Но то, что отважный и мудрый студиозус Прантиш Вырвич не удержался на узком выступе под окном очаровательной панны Агнешки, дочери стекло­дува с улицы Шкельной славного города Вильни, не оправдывает даже дождь, сделавший камни скользкими, будто речь пана Юдицкого, судьи. Точно так однажды жена Владислава Вазы, королева Марыся, ради любопытства коей в соймовом зале специальный балкон приделали, грохнулась вместе с тем бал­коном и своими «дамами фрауциммера» просто на головы высокому сойму, да еще при том одна пани, зацепившись, из платья вышелушилась. Ох и позора было... Не меньше, чем сейчас для Вырвича.

Ибо продержись еще немножко Прантиш у ставен, окрашенных венеци­анской лазурью, панна Агнешка точно впустила бы его в свою комнатку с розовыми занавесками, в тот рай, куда студиозус стремился три недели. Панна даже нежную ручку не сразу из Прантишевой вырвала. И тут — гах!... Сапо­ги скользнули, пальцы разжались, и — конец Вавилонской башне и соблазни­тельным надеждам. Потому что сабля Вырвича предательски загремела по брусчатке, которую простые люди называли кошачьими лбами, сам кавалер от досадного вскрика не удержался, да и барышня довольно громко охну­ла от испуга и громыхнула ставнями, крашеными венецианской лазурью. И начались кары египетские. Из соседних окон отец паненки высунулся и ее две незамужние тетушки, они и без этого холостых да гожих мужчин чем-то вроде вытяжки чертового корня считали, от которой рассудок едет, будто копы­та на льду. И хотя Прантиш почти сразу же, прихрамывая, по ночной улочке драпанул, успел о себе такого наслушаться, что трехглавый Цербер, страж подземного царства, от стыда бы себе лишние головы отгрыз, а оставшаяся удавилась бы собственным слюнявым языком. Да ежели бы только слова догнали Вырвича. Содержимое ночной вазы, над которым одна из Агнешковых тетушек постаралась — точно на его чубатую голову выплеснулось.

Не то чтобы вещество это внове было для виленской мостовой — горо­жане, к возмущению профессора Виленской академии доктора Лёдника, не подозревая о страшном слове «гигиена», не стыдились улочками да дворами в качестве уборных пользоваться, а на публичные лекции пана профессора о возможном моровом поветрии очень резонно отвечали, что недавний пожар, проредивший дома, как зубы у старухи во рту, непременно всю заразу повы­вел.

Но Прантиш не считал себя частью привычной ко всему мостовой, и вонючая жижа, попавшая на его камзол, почему-то заметно охладила чувства к очаровательной дочери стеклодува, покорившей сердце студиозуса сонли­вым, как у теленка, взглядом кротких темных очей и естественной — не при­клеенной — родинкой на правой щечке.

Но даже воспоминания о естественной родинке не могли преодолеть досады от полученного же «угощения». К тому же в сердце студиозуса при­сутствовала настоящая Прекрасная Панна, спрятанная глубоко и надежно, как в полоцких подземельях, и была это совсем не Агнешка Пузыня.

Прантиш прибавил ходу — кто-то из родственников паненки послал в погоню за поганым соблазнителем невинных девиц городскую стражу, и топот за спиною звучал похоронными аккордами. Оставалось надеяться, что имя соблазнителя не откроют, — но надежда была маленькая, так как стеклодув Еган Пузыня уже несколько раз отгонял нахального, голубоглазого, чубатого пана Вырвича от своего родимого цветочка и точно знал имя студиозуса.

Прантиш, сопровождаемый спасительным дождем, который смывал его позор и вонь, летел-петлял узкими улочками, стараясь забыть о боли в ноге, и раздумывал, стоит ли бежать к конвенту, студенческому общежитию, ведь погоня именно туда и направится. Собаки во дворах нехотя взлаивали, будто понимая, что беглец на добро их хозяев не позарится, тусклая лампадка на Острой Браме посматривала с укором, не обещая спасения без раскаяния и епитимии, и не оставалось иного пути, как перескочить через знакомую каменную ограду с выщербинами, куда так удобно ставить ноги, немного переждать, пока утихнут шаги погони, погладить рыжего мохнатого пса по кличке Пифагор и поцарапаться в закрытый зеленый ставень, стараясь про­ситься как можно более жалобно:

— Пани Саломея! Пан Лёдник! Это я, Прантиш! Можно у вас переноче­вать? Я ключ от своей комнаты потерял, не могу попасть в конвент. И ногу подвернул.

И услышать, как под ворчливые проклятия хозяина и успокаивающие реплики хозяйки гремят замки, приоткрываются двери, и нырнуть в спаси­тельное тепло дома друзей, где всегда для несчастного студиозуса Вырвича есть свободный топчан, и спрятаться с головой под пуховое одеяло, забыв о родинке панны Агнешки, ночной вазе ее тетки и о том, что завтра с утра — занятия по риторике, к которым Прантиш подготовился не лучше, чем индюк к заплыву в Вилии. А чтобы сон был слаще, представить одну благородную паненку с озорными глазами и улыбчивым ртом, с горделивым именем Полонея, которая сейчас, возможно, танцует на балу в Варшаве, — балы там могут греметь до утра, и не хватает среди пылких кавалеров пана Прантиша Вырвича герба Гиппоцентавр. Но придет, придет время, когда звезда пана засияет ярко, как камни на гетманской булаве, и Фортуна вместе с собствен­ной отвагой подарит ему титул и славу, стоящие внимания княжны славного рода Богинских.

Вильня протыкала небо темными шпилями храмов, и прозрачная холод­ная кровь все капала и капала на черепичные и гонтовые крыши, на каменную мостовую, на траву, на Великое Княжество Литовское, которое снова ожидали большие перемены, а значит, потрясения, устремления и разочарования.

Глава первая

Наследие великого гетмана

Когда настоящий студиозус идет на лекцию, меньше всего он думает о лекции и учебе, о святом своем долге перед родителями, которые снарядили дитятко, возможно, на последние семейные деньги в объятия богини мудро­сти Минервы. Нет, объятия его волнуют — но не холодно-мраморные.

Студенты тащились к академии холодным осенним утром, как тени на топком берегу Леты, силясь сделать лица постными, как незаправленные щи, потому что в первую очередь всех ждала месса. Вырвич, схизматик, мог осо­бенно не усердствовать, но присутствовать был тоже обязан — отцы иезуиты за этим строго следили. Если бы еще можно было научиться спать с откры­тыми глазами.

А после лекций, когда Вырвич уже почти чувствовал во рту вкус горячих клецок, случилось еще более неприятное. Винцук Недолужный, однокурсник Прантиша, исполнявший на курсе обязанности цензора, чернявый городенец с большой лобастой головой и плечами — на них можно было, казалось, молотить снопы, дернул Вырвича за рукав:

— Держись, друг. Тебя профессор Лёдник вызывает, чтоб он облез неров­но. Злой, как Цербер, у которого одновременно из трех пастей по мослу ото­брали.

В серых глазах Недолужного плескался застарелый ужас, потому что на протяжении последних лет не было для студента Виленской академии более страшного создания, чем доктор Балтромеус Лёдник, возглавлявший кафедру, так сказать, «всех подозрительных наук», и читал лекции по практи­ческой физике, химии, биологии, а также вел факультатив для тех, кто хочет заняться медициной. И не то чтобы доктор кричал или, упаси Бог, за волосы собственноручно кого-либо таскал — наоборот, пан Лёдник был человеком исключительного воспитания, казалось, заставить его измениться в лице или заорать не сможет даже появление пражского Голема на виленских улочках. Но суровый взгляд темных глаз совокупно с ядовитым тоном низкого голоса действовали на провинившихся, как взгляд василиска, то есть заставляли столбенеть от ужаса. А доктор находил такие въедливые слова, что некоторые нерадивцы выбрали бы лучше кожаной дисциплиной по спине, чем выслуши­вать выговоры пана Лёдника. Никаких компромиссов доктор не признавал, на благородство и богатство родителей не обращал внимания, подарки не при­нимал. Его побаивалась даже профессура, и слухи о докторе ходили неве­роятные, особенно среди первокурсников, которых один вид доктора пугал: высокий, хоть и не богатырского сложения, худое лицо, хищный нос, губы горделиво поджатые, а темные глаза пронзительные. Перекреститься хочет­ся. Одни утверждали, что пан Лёдник чернокнижник и некромант, не слабее известного пана Твардовского. Иные считали его волком-оборотнем. Третьи сплетничали о необычном фехтовальном мастерстве доктора: шляхетство себе он добыл на поле боя, где спас жизнь великому гетману, но народу за жизнь положил не меньше, чем вся королевская янычарская хоругвь. О воин­ственном прошлом свидетельствовали шрамы на лбу и шее. И, конечно же, за выдающееся владение саблей заплатил демонический доктор страшную цену самому Люциферу, возможно, предоставил ему мешок бедных студентов, невовремя сдавших практикум.

Правда, учащиеся старших курсов на эти ужастики в основном усмеха­лись: может, и был профессор черным магом, но и медиком выдающимся. Лекции его читались на грани святотатства, он критиковал учение Галена и рассуждал по поводу того, что болезни вызваны не излишком в организме одной из четырех жидкостей, а невидимыми вредными веществами, которые попадают в него снаружи, вместе с воздухом или водой. Поэтому отрицал неоспоримую пользу кровопускания и промывания желудка, кои, как извест­но, помогают от любых болезней. Доктор даже публичную лекцию прочитал о вреде модных «фонтенелей» — искусственно созданных на ноге нарывов, которым не дают заживать, чтобы через них из организма все время выходил гной. Лёдник утверждал, что именно такой «полезный нарыв» недавно свел в могилу российскую императрицу Елизавету. Хотя каждый знает, что фран­цузский баснописец Фонтенель, в честь коего и назвали явление, именно таким образом избавился от болезни, и чем больше крови из больного выпу­стить — тем лучше!

Многие коллеги за глаза называли Лёдника шарлатаном, и давно бы его, схизматика и святотатца, вытурили из святых академических стен, благо­словлённых Орденом Иисуса. Однако же с той поры, когда под присмотр Лёдника попала и начала пополняться его микстурами да бальзамами акаде­мическая аптека, стала она приносить нешуточный доход, и лечиться к про­фессору просились самые влиятельные лица, даже из Польши, Лифляндии и Чехии приезжали. Правда, принимал он далеко не всех, и никакими деньгами соблазнить доктора было невозможно — будто ему дракон ночами золото носил или в докторовом кармане склют завалялся, неразменный талер. Ведь разве может такой не очень состоятельный человек деньги презирать, что сами в руки идут?

Но за сложные случаи, когда все остальные лекари только руками разво­дили, Лёдник брался без разбора — нищий или магнат корчится на кровати. И за возможность совершить экспериментальную операцию подколенной аневризмы мог еще и сам денег приплатить. И плевать ему было, что колле­ги по лекарскому цеху нос воротили от «низкого» хирургического дела, ибо хирурги приравнивались к цирюльникам и должны были считать врачей более высокой кастой. Но особенно защищало профессора от преследований то, что его опекал сам великий гетман, воевода виленский Михал Казимир Радзивилл по прозвищу Рыбонька. Вот и недавно Лёдника несколько раз к воеводе звали, который в Вильню приехал да совсем занемог. А великий гетман — не тот, кому какой-нибудь мошенник-ведьмак может пыль в глаза пустить.

Те, кто знал Лёдника получше, говорили, что он строгий, но справедли­вый, единственно не терпит лени и глупости. И задаром ходит лечить боль­ных в госпиталь при православном братстве почти уничтоженного пожаром Свято-Духова монастыря. А его жена — такая неземная красавица, он ее бес­пременно из какого-то дворца выкрал. А студиозус Прантиш Вырвич, что в Вильню вместе с доктором приехал, то ли его внебрачный сын, то ли подо­печный, хотя не приведи Господь такого опекуна, который мытарит и дома, и на занятиях.

Недолужный почесал темные пряди и сочувственно взглянул на унылое лицо Прантиша:

— А может, обойдется? Ты же профессору, кажись, родственник.

— Нет, не родственник. — безучастно ответил Вырвич. — Да и явись к нашему Балтромеусу хоть бы и Платон или Авиценна — он и им за непра­вильные дефиниции разнос устроит.

Коридоры стремительно пустели, студенты высыпали из строения, как сухие горошины из раскрытого стручка. Винцук с интересом всматривался в обличье Вырвича, будто хотел разобрать на нем скандинавские руны. В дей­ствительности хотел приметить хоть какое-то сходство с хищным высокомер­ным лицом Балтромеуса Лёдника. Но Прантиш Вырвич выражение черт имел жуликоватое, рот улыбчивый, волосы русые, непослушные, глаза голубые, честные, как у хорошего вора, а под носом — совсем не клювастым, а всецело пригодным для куртуазного шляхтича, — пробивались светлые усики.

— Послушай, ну хоть мне признайся — слово чести, дальше не пере­дам, — кто тебе пан Лёдник? — не выдержал Недолужный. — Ты в его доме — свой, ночуешь, кормишься. Профессор за тобой, как за сыном, при­сматривает. Опекун, наверное?

Вырвич грустно улыбнулся:

— Напрасно языками молотите — не сын я ему. Мой отец — пан Данила Вырвич герба Гиппоцентавр — в прошлом году на Крещение умер, ты же помнишь, как я на похороны отпрашивался. Я — последний из рода, род­ственников не имею. А Лёдник. — Вырвич встретился с блестящими от любопытства глазами проверенного в проказах приятеля, снова улыбнулся каким-то своим воспоминаниям. — Помни, слово давал — не разболтать. Лёдника мне однажды. продали.

Если бы сейчас в коридоре появилось животное крокодил, кое согласно бестиариям воплощает лицемерие, ибо убивает человека и сейчас же над ним плачет, Винцук был бы не так поражен.

— Как это. продали?

— За шелег. Это все, что я тогда имел в кармане, — Прантиш немного паясничал, но было ясно, что не шутит. — На дороге из Менска в Раков оста­новилась рядом карета. Понимаешь, Лёдник добыл философский камень. Этот может. Упрямый. Но, добывая, наделал долгов и наконец заложил себя самого. А хозяин его разозлился, что Лёдник после этого отрекся от алхимии и астрологии, а добытого из меди золота оказалось не более щепот­ки, и продал его первому встречному. Так мне и повезло его заиметь.

— Так профессор. был твоим слугой? — брови Недолужного, похожие на двух черных пушистых гусениц, полезли на лоб. Вырвич фыркнул.

— Ты можешь представить пана Лёдника чьим-то слугою?

Недолужный в ужасе затряс головою. Легче представить, как литовский

подскарбий Тризна, что в кресло не влазит, для которого король приказал спе­циальную скамью во время сойма ставить, бодро танцует мазурку.

— Ну вот. Лёдник и тогда был таким же. Взялся за мое образование.

— Ой-е... — Винцук, очевидно, представил, как это — когда такой учи­тель около тебя постоянно. — Чтоб он облез неровно. И ты что, не выдержал и отпустил его на волю?

Прантиш отвел глаза и еле заметно покраснел.

— Да нет. Так получилось, что он сам себе добыл свободу и шляхет­ство. По справедливости и соответственно Статуту. На поле боя.

Однокурсник Прантиша помолчал, привыкая к новостям.

— И как же вы сейчас?

Прантиш широко улыбнулся.

— Знаешь, мы с доктором столько раз друг другу жизни спасали, не сосчитать. И, приятель, так случилось, что сейчас самые близкие мне люди на свете — это пан Бутрим и пани Саломея Лёдники. Вот так.

И снова сокрушенно вздохнул.

— Вот только от наказаний это меня не спасает. Холера.

— Холера. — согласился Недолужный, и приятели двинулись в сторону профессорского кабинета, печальные, как деревянные статуи святых в базилианском храме.

Кабинет заведующего кафедрой практических наук напоминал поче­му-то подземелье, хотя и находился на втором этаже: но то ли от тяжелой мебели из черного дерева, то ли от пыли фолиантов, которые своим весом прогибали полки, то ли от зловещего блеска химических инструментов и сосудов с заспиртованным неведомо чем, о коем лучше не знать доброму христианину, — здесь чудился мрак и пробирал, как от мороза, озноб. А наи­больший страх нагонял восковой анатомический муляж, заказанный лично Лёдником во Флоренции. Муляж представлял собой наполовину рассеченный бюст молодого мужчины, причем все содержимое головы и грудной клетки было показано очень правдоподобно. И мышцы, и вены, и глазное яблоко, и кости.

Правда, сам хозяин кабинета, возвышавшийся над столом размерами с небольшой плац подобно черной скале, о которую разбиваются надежды бедных студиозусов, нагонял страху поболе заспиртованных тварей и раскра­шенного воска. Даже Вырвич, которого профессор упорно не замечал, про­должая что-то корябать пером, нервно переминался с ноги на ногу и пытался проглотить вязкий ком боязни. Наконец профессор Лёдник смилостивился поднять глаза на Прантиша и отбросил перо.

Все, раз не положил аккуратно в специальную серебряную подставку в виде грифона с отверстой пастью, а бросил, даже чернила брызнули на стол, значит, сердитый, как этот грифон, и теперь спасай мою душу, святой Франтасий. Точнее, ту часть студенческого тела, через которую происходит про­цесс воспитания посредством розог и кожаных дисциплин.

Прантиш глубоко вздохнул и постарался придать лицу выражение искрен­него раскаяния, даже голубые глаза от старания заслезились.

Лёдник заговорил, как мог бы заговорить египетский сфинкс с последним посетителем кабачка, что не только сфинкса, но и архангела Гавриила к утру может увидать.

— Значит, ключ от конвента забыл, — голос профессора звучал обманчи­во тихо, аки далекие раскаты грома. — Ножку подвернул, бедняга, плутая. А не была ли та ножка пана Вырвича подвернута под окном одной благопри­стойной панны на улице Шкельной, а?

Голос профессора набирал мощь. Прантиш только голову в плечи вобрал, как черепаха, на которую нацелился с небес орел, и молчал, как король Жигимонт Ваза на элекционном сойме, правда, бедняге Жигимонту ничего не оставалось делать, так как ни польского, ни белорусского языка он не знал. А Лёдник уже шипел, не как орел, а как рассерженная змея.

— У меня только что был уважаемый цехмастер, пан Еган Пузыня. И рас­сказал о ночных похождениях одного самоуверенного неуча.

Прантиш почувствовал почти неодолимое желание драпануть отсюда. все равно куда, хоть бы и на лекцию. Даже ноги вздрогнули, сделали шаг в сторону двери, и Вырвич в очередной раз пожалел, что у Лёдников нет собственных детей и поэтому весь их воспитательный раж приходится при­нимать на свою бедную русую голову. Но профессор стремительно — дей­ствительно как черная змея — очутился просто перед студиозусом, отрезав все пути к отступлению. И началась. лекция. Прантиш только согласно кивал: да, болван, да, распутник, да, лодырь.

— Зачем ты полез к той девице, если знал, что от отца мало не попадет? Может, жениться собрался? Сватов будем засылать?

Вырвича даже передернуло, когда он представил, что будет до конца жизни, просыпаясь, видеть рядом на подушке круглое лицо с родинкой у рта и встречать сонный, как у теленка, взгляд. Ой, нет! Как говорил королев­скому палачу шляхтич, которого одна не первой молодости паненка хотела освободить согласно древнему обычаю, накрыв своим платком-рантой и тем признать его мужем: «Быстрее, быстрее, пане Якуб, к виселице!»

Профессор, понаблюдав за страданиями подопечного, неожиданно улыб­нулся.

— Дон Гуан нашелся из Подневодья. Ланцелот в посконных портах. Ты хоть знаешь, сколько мне пришлось здесь распинаться, чтобы убедить пана Пузыню не подавать на тебя в городской суд? Да передо мною Демос­фен сопляком оказался бы! А может, и стоило сдать тебя на расправу, чтобы, наконец, научился отвечать за свои поступки? А сколько этих проказ за время учебы было? — Лёдник торжественно начал загибать пальцы. — В прошлом мае с уланами, пьяный, подрался, и кто тебе ключицу из осколков складывал и штраф платил? Доктор Лёдник, известно. В июне с таким же дурнем Вилию в бочках переплывать удумали, едва не утопились. На первом курсе твоя банда кресло пана судьи на астрономическую башню затащила.

Профессор сокрушенно вздохнул, вернулся за стол и утомленно подыто­жил:

— Вырвич, если бы вред от тебя сводился к взрывам во время дурацких экспериментов, я бы простил, оправдал понятной юношеской любознатель­ностью. А здесь — одна шкодливость да похоть. А самое мерзкое — что соврал.

— Пан Лёдник, Бутримус, ну как же мне было признаться в таком афрон­те! — скорбно стукнул себя в грудь кулаком Прантиш. — Даже поцеловать красотку не успел. Свалился, ногу подвернул, да еще мерзостью облили. В конце концов, ты сам говорил, у меня характер сложный. Преобладание огненной стихии.

— Вот и отвечай за свой огненный темперамент! — грозно промолвил профессор. — Давно в карцере был?

Вырвич лихорадочно просчитывал в голове варианты, как бы наилучшим образом разжалобить своего бывшего слугу, но в коридоре послышались чьи-то уверенные шаги — по каменному полу бряцали шпоры, будто сюда шагал железный идол. Двери кабинета распахнулись, как от ветра, и к профессору ввалился насквозь пьяный шляхтич в щегольском, но мятом убранстве радзивилловских цветов, голубых с золотом — такие носили «избранные», ближ­ний круг гетмана. Молодое, но уже хронически багровое лицо неожиданного гостя морщилось от горя, как пустая мошна, на вислых усах блестели слезы. Гость выхватил из-за слуцкого литого пояса запачканные лосиные рукавицы и кинул на пол, будто надеялся таким образом кого-то убить и тем получить облегчение собственным душевным страданиям.

— Имею честь разговаривать с паном Балтромеусом Лёдником? — про­гундосил в нос шляхтич, покачиваясь сломанной камышиной, а в кабинет вошли еще двое, такие же взбудораженные и пьяные, — один с соломенным чубом, что уныло свисал из-под соболиной шапки, второй — постарше, пузатый, как корыто, с запухшими, будто подбитыми глазами. От шляхтичей пахло горелицей за литовскую версту.

Лёдник с достоинством выпрямился:

— Чем обязан приятному визиту милостивых панов?

Прантиш на всякий случай привычно занял стратегическую позицию рядом с профессором — не придется ли вспомнить былые боевые денечки? Но шляхтич в голубом жупане только отвесил поклон, едва не упав, и торже­ственно вымолвил, добавляя в голос рыданий:

— Несчастливый случай привел нас сюда, многоуважаемый пан Лёдник! Черными вестниками явились мы в Виленскую академию в этот проклятый день! Умер благодетель наш, отец наш, великий гетман Михал Казимир Радзивилл Рыбонька! Закатилось его светило и осиротело княжество!

Двое других шляхтичей застонали, закачались, хватаясь за головы и повторяя жалобные слова.

Лёдник низко склонил голову.

— Разделяю ваше горе, ваше мости, ибо эта весть и мне рвет сердце. Его светлость князь Михал Казимир — благодетель мой, он присвоил мне шля­хетство и подарил имение. А самое главное, мудростью своей предотвратил страшное бедствие, кое ожидало нашу страну, когда могучие паны хотели учинить драку за владение святыней, которая принадлежит только Господу. И мне обидно, что не имели снадобья мои достаточной силы для продолжения жизни великого гетмана. Но лекарь — только инструмент, на все воля Госпо­да, панове. Вечная память.

Лёдник перекрестился, гости также начали истово креститься. Даже Прантиш Вырвич почувствовал, как наворачиваются на глаза слезы: вспом­нились события трехлетней давности, когда пришлось в Полоцке биться с войском российского наследника Павла, и как Лёдник заслонял собою Михала Радзивилла, как сам едва не умер от ран, как княжна Полонея Богинская вместе с красавицей Саломеей, женой Лёдника, спрятали в Полоцких под­земельях копье святого Маврикия, привезенное когда-то в Полоцк рыцарем Гроба Господня Александром Солтаном, и те подземелья взорвали.

И где сейчас та Полонейка, ясноглазая, неугомонная, шаловливая Дама. Помнит ли еще своего верного рыцаря Прантиша Вырвича?

Вдруг на фоне общих всхлипов и вздохов не к месту звонко отбили время круглолицые часы, украшенные позолоченной виноградной лозой, и кощун­ственно весело защелкал железный соловушка, засуетился на веточке под циферблатом. Лёдник даже бросил на механического певца сердитый взгляд, будто надеялся, что тот, как первокурсник, сразу потеряет голос. Но соловуш­ка отщелкал свои рулады и только тогда замер. Шляхтич в голубом жупане откашлялся, оглянулся на своих товарищей и торжественно промолвил:

— Должны мы, братья, выполнить последнюю волю нашего пана, который и на смертном одре не забыл, что ты, пан-брат Балтромей Лёдник, на поле боя спас его жизнь. На добрую память покинул он тебе. покинул. ну. такое.

В этом месте шляхтич остановился и даже оглянулся на товарищей, мучительно подыскивая слова, чтобы то наследие описать. Пузатый шляхтич помог:

— Очень редкую и дорогую вещь оставил! Приспособление! Научное! Выписанное из дальних заморских стран!

Третий шляхтич, с соломенным чубом, тонким, будто надорванным дол­гими рыданиями голосом пояснил:

— Его милость князь Радзивилл выкупил этот прибор для своей кунстка­меры за триста дукатов. Но никто покупки ясновельможного князя не видал, как привезли, так и стояла запечатанная. Потому что здесь знаток нужен. Ой, хороший знаток.

— И священник со святой водой и сакраментами. — проворчал пуза­тый, и Прантиш догадался, что вокруг таинственной вещи ходят не самые хорошие слухи.

Между тем в коридоре послышался грохот и сердитые, с одышкой, голоса. Несут! Прантиш еле сдерживался, чтобы не броситься навстречу, но шляхтичу, естественно, не к лицу такая поспешность. Шестеро слуг затащили в кабинет огромный ящик, в котором мог спрятаться если не конь, то жеребчик точно. Ящик был из основательных досок, покрытых красным лаком до зеркального блеска, по углам укреплен железными полосами, и даже со специальными бронзовыми ручками для держания. На переднем щите было выжжено слово «Pandora».

Тут же вперед вытолкали мелкого, похожего на полевую мышь, человеч­ка в синем жупане — пана возного, пронзительным голосом зачитавшего завещание великого гетмана. Прантиш отметил про себя, что Михал Казимир приказал передать ящик под названием «Пандора» со всем содержимым пану Балтромею Лёднику, профессору Академии Виленской, незамедлительно после своей смерти, не дожидаясь оглашения основного завета, и возлагается ответственность за исполнение воли покойного на пана хорунжего Никиту Знасаковича (при этих словах молодой шляхтич в голубом жупане скорбно ударил себя кулаком в грудь).

Прантиш думал, что гости непременно дождутся, когда ящик будет открыт, но те сразу же поспешили уйти, кидая настороженные взгляды на принесенное добро. Только пузатый шляхтич, неодобрительно осмотрев банки, в которых плавали заспиртованные твари, да восковый бюст, на про­щание проговорил что-то навроде: «В самые те руки передали демонские приспособы.»

На полу остались лежать грязные лосиные рукавицы.

Из опустевшего кабинета медленно выползал густой запах стародорожской горелицы, а посреди помещения, будто ковчег на Арарате, возвышался блестящий красный ящик. Даже портреты Галена и Гиппократа смотрели на него заинтересованно, будто пытались тихонько высунуться из тяжелых позолоченных рам.

— Давай откроем! — Прантиш даже подпрыгивал от нетерпения и пред­восхищения чего-то необычного, и возможно, опасного. Профессор, чьи тем­ные глаза тоже подозрительно разгорались, неуверенным голосом заговорил, что ему сейчас обязательно надо идти принимать участие в траурных цере­мониях по своему благодетелю, и времени нет, и осторожным нужно быть с неизвестными подарками, и. а, гори оно все синим пламенем!

В четыре руки, используя кинжал, хирургические клещи, молоток для трепанации черепа и другие подходящие и не очень инструменты, доктор и студиозус справились с ящиком за четверть часа. Доски упали, как пору­бленные крестоносцы, по комнате разлетелись облака хлопка, которым для безопасности была обложена неизвестная вещь в плотной белой ткани. Под окрики Лёдника «Осторожно! Не руки, а грабли!» стянули ткань. И Вырвич едва не сомлел. Там сидела покойница. Овальное личико с розово-белой кожей, яркий маленький рот, высокий белый парик, перевитый нитями жем­чуга. А глаза! Да, самое ужасное — глаза, мертвые, блестящие, огромные, едва не по дукату, лучисто-серые, с синевато-белыми белками, с длиннющими ресницами. Лицо, кое можно вполне представить соединенным с тулови­щем чудовища, например, как у Феи Мелюзины, наполовину змеи, или у птицы Алканост, которая пророчит несчастья, или у Сирены с рыбьим хво­стом, которая заманивает неосмотрительных мореходов волшебным пением, будто пузатого виленского каморника — запахом литвинского пива. Хотя разве может сравниться пение, даже самое возвышенное и руладное, с запа­хом свежего янтарного пива, сваренного в славном городе Вильне?

К счастью, Прантиш сумел удержаться от позорных для шляхтича про­явлений испуга, потому что когда Лёдник целиком снял покрывало и глазам открылась красивая паненка в придворном наряде, только совсем необра­зованный человек мог продолжать нелепицу насчет забальзамированных трупов. Паненка была восковая. Вырвичу, однако, пришлось преодолевать некоторую жуть, чтобы прикоснуться к нарумяненной щеке подарочка от гетмана: воск, конечно. Белый воск. Но серые стеклянные глаза будто бы недовольно сверкнули.

Вырвич прошелся вокруг куклы. Она сидела за маленьким столиком из красного дерева, в тонких восковых пальчиках зажат карандаш, которым паненка, кажется, собиралась что-то писать на немного пожелтевшем листе бумаги. Из-под водопада тончайших — как паутинки и снежинки — кружев нижней юбки виднелся клювик зеленого башмачка, расшитого камешками. За корсетом алела шелковая роза. Невероятно тонкий стан был затянут в голу­бую парчу в розовые цветочки. Студиозус осторожно взял руку куклы, что лежала на столе: та не поддалась безвольно, ее можно было только немного приподнять, и была она тяжелая — похоже, внутри железные кости. Вырвич наклонился ниже: пальчики составлены из отдельных деталек, в щелях бле­стел металл, но на суставах даже морщинки обозначены — ясно, что моделью для отливки из воска послужила рука живой женщины. Прантишу на мгнове­ние показалось, что ноготки, накрашенные розовым лаком, сейчас царапнут по его коже, вонзятся в тело до крови. Он аккуратно положил руку куклы на стол, с чувством, будто только что подержал сонную гадюку.

Зачем великий гетман заказывал неизвестно где, и очевидно за немалые деньги, эту зловеще-красивую куклу и какого рожна завещал ее доктору Балтромею Лёднику, Вырвич понимал не более, чем трактат сэра Ньютона о дина­мике небесных тел. А Лёдник между тем, закусив губу, как ребенок, который готовится поймать особенно красивую бабочку, ходил вокруг своего наслед­ства, ощупывал его, что выглядело немного фривольно, и темные глаза горели на худом лице, а нос напоминал клюв хищной и очень голодной птицы, так что Вырвичу вспомнилось, что Лёдника за непреодолимую жажду знаний, не всег­да безопасных, в его родном Полоцке когда-то прозвали Фаустом.

Проблема со стеклодувом Пузыней, его хорошенькой дочуркой и распу­щенным поведением студиозуса Вырвича была забыта, профессор вцепился в тайну, как породистый пес-медиалан в бок кабана.

Полоцкий Фауст встал за спиною куклы, задумался и вдруг резким дви­жением расстегнул ее платье. И застыл со страшно довольной миной, будто созерцал марципаны небесные. Вырвич тут же нарисовался рядом, и глаза студиозуса полезли на лоб: в обнаженной спине куклы открывался сложный механизм со множеством колесиков и шестеренок, пружинок и шурупчиков. Будто наполнение часов разрослось подобно кусту лозы. Вырвич протянул было руку потрогать блестящие колесики, но сразу же получил от профессора по пальцам. Лёдник опустился на колени и едва не носом влез в кукольное железное нутро.

— Подобные механизмы, насколько мне известно, могут создать два человека на свете: швейцарец Жан Жак Дроу и Вокансон из Гренобля. — задумчиво промолвил профессор. — Каждая такая штуковина делается не один год и не из одной тысячи деталей. И о ней известно всему миру. А об этой я никогда ничего не слышал.

Вырвич фыркнул — конечно, Бутрим уверен, что знает все на свете, и если он чего-то не слышал, то оно либо засекречено, либо нестоящее. Годы профессорства на докторову самоуверенность подействовали, как теплая вода на цветок, и расцвела она во все стороны, как куст розмарина.

— Это всего только кукла. С чего бы это трубить о ней во все рога?

— Кукла? — загадочно и до обидного покровительственно проговорил Лёдник. — Ты думаешь, над простой игрушкой такие мастера, как Вокансон, работали бы годами? Не удивлюсь, если со временем такие автоматы на неко­торых работах заменят людей. Надеюсь, хотя бы не в брачной постели.

— Автоматы? — недоуменно переспросил Прантиш. — Что за холера?

— Ты, конечно, не читал трактат Жюльена де ля Метри «Человек-машина»? — со всегдашней невыносимой фанаберией снова начал лекцию профессор, не ожидая ответа. — Де ля Метри — последователь Декарта, он исповедует «ятромеханизм», согласно которому человек — всего только животное или сопряжение пружин. В трактате утверждается, что люди, как бы сильно ни хотелось им возвыситься, воспарить, по сути своей не больше, чем животные или прямоходящие механизмы. Ну, а из этого исходит, что такой механизм можно попробовать. сделать.

Прантиш в ужасе глянул на восковую дамочку и перекрестился. Лёдник снисходительно кивнул головой:

— Да, эта паненка должна уметь многое. Во всяком случае, на этой бумаге точно что-то отразит. Воплощал идеи Жюльена де ля Метри уже упо­мянутый мною мастер Вокансон. Вначале он сделал механического флейти­ста, который играет на флейте менуэты и ригодоны — он действительно дует в инструмент, пальцы нажимают на клапаны. Посмотреть на чудо собира­лись целые толпы! Потом мастер сделал железную утку, что могла не только крякать, ходить, хлопать крыльями, но и есть, переваривать пищу и отправ­лять естественную надобность. Это я уже сам однажды наблюдал. И наконец, в академию Лиона Вокансон подал проект искусственного человека — авто­мата, чьи движения, кровообращение, пищеварение, сокращение мышц могли бы имитировать человеческие, даже трупы нам, медикам, не нужно было бы выкапывать, чтобы изучать анатомию.

Прантиш хмыкнул, потому что проблема с материалом для анатомиче­ского театра была настолько острой, что пахла пусть не костром, но тюрь­мою — точно. Отцы-иезуиты и так следили за каждым шагом профессора-схизматика, а когда тот заводил разговор насчет практических занятий для своих студентов, улыбались так вежливо, что можно было скорее отравиться их доброжелательностью, чем получить согласие на очередной эксперимент. Тем более что медицинский факультет, как было обещано, так и не основали, кафедра Лёдника была скорее факультативной. Так что бывший алхимик все время серьезно рисковал. Но представить, что нужно вскрывать желудок автомату? Что кто-то мог попробовать сам создать живое существо, замах­нуться на роль Господа?

— И сделал Вокансон это чудовище? — спросил Вырвич.

— Навряд ли, — мрачно ответил Лёдник. — Академики в Лионе боятся обвинения в богохульстве. Приравнивать человека к механизму — значит отрицать существование вечной души, упаси нас Бог от таких исследовате­лей. Муравей не может сделать муравья.

Вырвич насупился.

— А не обвинят ли нас за эту тварь в колдовстве?

Лёдник хмыкнул.

— Кукла — это не страшно. Я видел гораздо страшнее. — Профессор поколебался и неохотно продолжил. — Был у меня в Праге один. учитель. Он очень хотел изучить настоящую душу. Подстеречь, когда она отделяется от тела, взвесить, если удастся — перехватить. Возможно, вселить в другое тело. Вот такие эксперименты — чудовищны. Это — уже за гранью дозво­ленного человеку.

Студиозус почувствовал, как по коже побежали ледяные мурашки. Лёдник никогда о своей алхимической юности не рассказывал, а из путешествий по Лейпцигам-Прагам-Лионам-Парижам-Лондонам и где там еще он успел побывать — тоже озвучивал не все. И Вырвичу вдруг показалось, что он совсем не знает мужчину с хищным профилем, который стоит рядом в черном камзоле и аккуратном парике.

— Вы что, людей ради экспериментов убивали?

Лёдник глухо ответил, всматриваясь куда-то в пространство:

— Я — нет. Но мой учитель, боюсь, ни перед чем не останавливался.

Умолк, опустив голову, и тени в углах комнаты потемнели.

— Каждый день напоминаю себе, какое счастье, что Господь вовремя меня остановил, не дал дойти до бездны. Пусть и позволил, чтобы я сам себя сделал рабом, потерял все, что ценил. А ты думал — я неизвестно почему раскаивался, от алхимии отказывался? — Лёдник горько улыбнулся. — Да, я только наблюдал. Делал вид, что не догадываюсь о безбожных стадиях экспериментов. Но где-то же, на краю сознания — знал! Любопытство перевешивало все. Даже боязнь погибнуть духовно. До конца жизни теперь вымаливать.

Встряхнул головой, будто сбрасывая тяжелые воспоминания.

— Так что автомат — это ничего, это интересно и может иметь практическое применение. Потому что Вокансон и новые ткацкие станки придумывает.

Прантиш тоже отогнал ужасные картинки, кои рисовало воображение о чернокнижном прошлом его бывшего слуги, взлохматил русый чуб.

— И ты думаешь, что эта кукла может есть и. ну. отправлять надоб­ности?

— Это навряд ли! У Пандоры органов пищеварения не предусмотре­но! — улыбнулся Лёдник.

— Почему Пандоры?

Профессор показал на деревянный щит от ящика, прислоненный к стене, с выжженной надписью.

— Надеюсь, не требуется напоминать, что согласно античным мифам красавицу Пандору создала богиня Гера, которая хотела отомстить людям, и прелестница из-за своего любопытства открыла сосуд с запечатанными болез­нями и бедами.

Вырвич только отмахнулся:

— Да ну их, мифы. Давай лучше автомат этот включим, посмотрим, что он делает!

— Если бы его можно было включить, я бы это сделал, — недовольно объяснил Лёдник.

— Сломан? — разочарованию Вырвича не было границ.

— Конечно же.

— Вот бы Якуба Пфальцмана сюда, он бы разобрался! — мечтательно промолвил Прантиш, рассматривая сероглазую Пандору. — Пфальцман — настоящий мастер.

Как студиозус и рассчитывал, упоминание бывшего однокурсника, отмен­ного изобретателя, который придумал двигатель нового вида и сделал желез­ную черепаху — боевую машину по чертежам великого Леонардо, подейство­вало на профессора, как свежая кровь на ворона. Лёдник поджал надменные губы, аккуратно снял камзол, повесил на высокую спинку кресла, напомина­ющую силуэт готического храма, стянул парик, и черные волосы, перетяну­тые на затылке шелковой лентой, упали на спину, решительно засучил рукава ослепительно-белой рубахи. Если бы кукла, ради исследования которой происходили эти подготовительные процедуры, могла мыслить, то, несмо­тря на высоту, выпрыгнула бы в окно: полоцкий Фауст принял вызов и не отступит, даже если нужно будет разобрать подарок до последнего винтика. Вырвич тоже радостно закатал рукава. Может быть, возиться с механизма­ми и не совсем шляхетское дело, но Прантиш твердо усвоил, что в науке свои баталии и дуэли, которые требуют смелости не меньшей, чем военное дело.

Металлический соловушка снова зашуршал, защелкал на циферблате часов, но на него обратили внимание не большее, чем на залетевшую муху. С восковой Пандоры бесцеремонно и неделикатно стащили голубое в розовые цветки платье, и оскорбленная красавица напрасно всматривалась грозным взглядом лучистых серых глаз куда-то в пространство, из которого приходят призрачные мстители за честь восковых дам.

Профессорский слуга Хвелька, курносый добродушный толстяк, несколь­ко раз стучал в дверь, почтительно просил сообщить, когда пан профессор появится дома, потому что пани Саломея волнуется. Но был отправлен назад очень непочтительно — даже губы у бедняги от обиды задрожали. Хвелька достался профессору полумертвым от желтухи — хозяин, известная пьянь, приехал в Вильню на соймик, ну и загулял, слуга тоже нализался как грязи, печень и не выдержала. Лёдник случайно заметил его в углу пировального зала скрюченным в узел. Хвелькиному пану было не до забот о больном, и он предложил доктору, если ему так уж интересна судьба пожелтевшего неудачника-холопа, выкупить его за десять талеров. Лёдник холодно сказал, что его самого в свое время продали за шелег, но Хвельку за названную цену выкупил, выходил и стал для спасенного земным божеством, грозным, всемо­гущим и милостивым. С единственным пороком — запрещает бедняге слуге намочить усы даже в пиве.

Богатый пациент несколько раз присылал лакея. Стремились в каби­нет проштрафившиеся студиозусы. Приходили от профессора Франтишка Попроцкого, который уже несколько лет выпускал в Вильне «Политические календарики», для коих Лёдник писал статьи по медицине. Но все получали из-за запертых дверей довольно резкие предложения появиться в другой день и, напуганные подозрительным лязгом в кабинете, считали за лучшее уйти.

Тем более, было чем себя занять: славный город Вильня начинал много­дневное горевание по умершему великому гетману Михалу Казимиру Рыбонь­ке, тело которого должны были перевозить в Несвиж. Погребение и другие траурные церемонии с личностью такого ранга занимали люд честной не менее, чем военные действия. К тому же и побоища могли случиться. В Вильню должен был приехать сын и наследник Михала Казимира, Кароль Радзивилл по прозвищу Пане Коханку. Следовало решить судьбу освобожденной после смерти Михала Казимира должности воеводы виленского. И Кароль твердо рассчитывал ее унаследовать. А этого желали далеко не все, потому что многие почитали князя за безумца и рассказывали, как даже покойный ныне отец нередко приказывал подымать мосты перед своим замком, дабы не пустить пьяного в мякину сыночка с его «албанской бандой», предлагая протрезветь детинам за ночь на морозе. Однажды даже приказал в воздух из пушки стрельнуть, чтобы отогнать оголтелых. Из такого, порченого, — что за повелитель? На соседей наезды устраивает, в конторах окна бьет. А на должность виленского воеводы уже претендует представительный пан Михал Богинский, представитель Фамилии — могучего объединения магнатов во главе с Чарторыйскими. И когда соберется сойм. Уже сейчас под окнами гудят-шумят волны фанаберии людской, а буря вся впереди. И кто знает, где восстанет нерушимая скала, о кою то море разобьется, или где строится спасительный ковчег — не здесь ли, в кабинете профессора Виленской акаде­мии, из покрытых красным лаком досок, на одной из которых написано имя «Пандора»?

Вдруг рука куклы шевельнулась — это было даже страшно. И начала водить карандашом туда-сюда. Все остальные части куклы оставались омерт­велыми. На листе бумаги возникли ровные полукруглые линии.

— Здорово! — обрадовался Прантиш. Но Лёдник выглядел недовольным.

— Этого очень мало. Будто кто-то специально поставил на механизм ограничитель «для дураков». Чтобы включили и успокоились. А я не люблю, когда меня считают дураком. Нужно задействовать эту паненку целиком.

И Лёдник с новыми силами взялся за ремонт, как мороз на ночь.

— Бутрим! Тебя в алхимическое золото переплавили? Ты зачем Хвельку прогнал?

В комнату стремительно вошла женщина с гибкой и стройной фигурой, ее волосы были забраны под скромный чепец, но огромные синие глаза смотре­ли так, что истинный мужчина под взглядом этих глаз сразу же мечтал убить дракона или совершить хоть какой-нибудь подвиг, лишь бы посмотрела более ласково, лишь бы улыбнулись эти совершенно очерченные губы.

— Прости, Саломея, но у меня интересная научная загадка. — про­бормотал Лёдник, который стоял на коленях перед восковой панной, сунув за ее спину руку, даже не взглянув на живую красавицу. Но пани Лёдник не обиделась. Она как завороженная смотрела на Пандору.

— Ого, какая у тебя новость! Действует?

— Нет. — буркнул Лёдник. — Рисует каракули, но я уверен, это только для отвода глаз. Сначала были отсоединены несколько деталей, и похоже, это кто-то сделал нарочно. А какой-то важной детали просто нет. Мне нужно понять, как она должна выглядеть.

Гостья сразу же присела рядом с мужем, всматриваясь в механизм.

— Я не очень разбираюсь в машинерии. Но, возможно, вот это колесико должно быть сочленено вон с тем?

— А я думаю, нет, — рассеянно ответил Бутрим. И понеслось. Дис­кутировать семейная пара Лёдников умела в совершенстве, с использова­нием десяти языков и множества научных словечек, от коих у нормального студиозуса сводит челюсти, как от черемуховых ягод. Вскоре нежные белые ручки пани были также выпачканы смазкой и оцарапаны острыми зубцами шестеренок, как и у Прантиша и профессора, и все присутствующие, кроме сероглазой Пандоры, успели три раза поссориться по поводу назначения той или иной детали. И Вырвич в очередной раз подумал, как же повезло Лёднику с женой.

Лёдник начертил гипотетический вид детали, которой не хватало, после чего они с Прантишем пробовали что-то похожее сделать из латунной прово­локи. Установить на нужное место.

Только колокол, который просигналил, что время гасить огни, заста­вил прервать работу. Тут же защелкал металлический соловушка, восковая рука Пандоры вздрогнула, и зажатый в ней карандаш провел по бумаге еще несколько линий, потом черта немного искривилась. Но дальше дело не пошло.

— Ну, почти закончили! — удовлетворенно промолвил Лёдник, разма­зывая по щеке жирное черное пятно. — Нужно только заменить пружинку. Завтра закончим, и барышня нам что-то напишет.

— Бутрим, — неожиданно серьезно заговорила Саломея, заглядывая в мертвые глаза Пандоры. — Мне почему-то неспокойно. Не нравится мне эта кукла. С чего бы это такой странный подарок от гетмана? Не прячется ли здесь какая-то интрига, и мы снова по самые уши встрянем в кровавые при­ключения?

— Прекрати, Залфейка, — покровительственно промолвил утомленный Лёдник. — Это всего только интересный дорогой автомат для развлечений богачей. Уверен — если бы не хворь, князь просто пригласил бы меня помочь запустить эту штуку. У пана Кароля Радзивилла вон золотой павлин есть, который ходит и хвост распускает. Какие тут могут быть тайны, кроме меха­нических?

— Возможно, и так. — тихо промолвила Саломея. — Но ты сам расска­зывал мне историю пражского Голема. И я чувствую, что лучше всего было бы тебе взять топор, порубить эту куклу вдребезги да утопить в Вилии.

— Нервы у тебя расшатались, Залфейка! Сделаю тебе на ночь отвар льви­ной травы. — Лёдник прижал к себе жену, поцеловал ее в лоб.

— Все, идем. А ты, кот мартовский, — сурово взглянул на Прантиша, — пойдешь с нами. И переселишься с этих пор в наш дом. Теперь ежедневно, как стемнеет, — чтобы был в комнате! Ясно?

— Ясно. — пробурчал Вырвич. Пани Саломея нахмурилась.

— А что случилось? Почему ты так с мальчиком строго? Пан Вырвич чего-то натворил?

— Потом расскажу. — недовольно ответил профессор, застегивая кам­зол.

А под окном ревели пьяные голоса, будто грешные потомки Адама проси­лись к праведному Ною в ковчег, который вздымается на волнах Всемирного потопа все выше и выше:

— Умер его мость князь Радзивилл! Оплачем великого гетмана! Гуляем, паны-братья, в память щедрого князя нашего!

В опустевшем кабинете смотрела во мрак серыми мертвыми очами вос­ковая кукла в белом парике, украшенном жемчугами, и никто не видел, кроме металлического соловушки, как дернулась ее рука с зажатым в пальцах каран­дашом.

Глава вторая

Рисунок Пандоры

Когда древние греки хотели почтить память умершего, они ставили на его могиле не обычный памятник, а так называемый курос. Обнаженную глиня­ную фигуру эдакого идеального, усредненного покойника. С соответствую­щими пропорциями, со слепоглазым улыбчивым лицом, длинными кудрями, широкими плечами. И правильно, смерть всех уравнивает, зачем потомкам помнить, что были покойники на момент ухода с этого света лысыми, хро­мыми, горбатыми, с отвислыми животами, а годами созерцая надмогильный курос, даже тот, кто когда-то вкладывал в некрасиво разинутый беззубый рот с синюшными губами медный обол — плату Харону, начинал верить, что покойный был именно вот такой — уверенный в себе, улыбчивый красавец и силач.

Ради великого гетмана, виленского воеводы не нужно было лепить гли­няного болвана, чтобы все и каждый представили его сарматским рыцарем без единого порока. Ибо прославления качеств умершего приобретали все большую силу, шляхта друг перед другом состязалась в изобретении витие­ватых определений, чему, ясное дело, способствовала река медовухи, которая щедро лилась за поминальными столами. Сын покойного, его мость Кароль Радзивилл, даже мычать не мог, так упорно топил свое горе. Говорили, что даже подписал, не читая, подсунутую ему ушлым приятелем Богушем дар­ственную на имение Дубинки, ну и много еще чего с погруженным в траур добросердечным князем разные стяжатели вытворяли.

Правда, если бы и поставили в эти дни посреди Вильни князю Михалу Казимиру Радзивиллу согласно античным обычаям глиняного идола, его бы сразу же неосторожные в горе своем поклонники в щебень превратили.

Так что никого не удивила живописная группа, которая среди крупно­звездной сентябрьской ночи мерила все углы на Остробрамской улице: двое шляхтичей, в распахнутых кунтушах и жупанах, со сбитыми набекрень шап­ками, и кургузый, но объемный слуга, пытающийся придать своим панам более-менее прямое направление движения. Правда, шляхтичи не ревели и не пели. Старший, который повыше, только ругался сквозь зубы, но как-то странно, на нездешних языках, сразу нескольких, да время от времени сокру­шенно повторял:

— Три лекции! Три лекции завтра!

Тот, что помоложе, который раскачивался маятником не меньше, утешал спутника непослушным языком, будто во рту пчелы похозяйничали:

— Плюнь ты, Бутрим, на эти лекции! Ты теперь шляхтич, а не клистирная трубка!

Старший резко остановился, едва не опрокинув всю компанию, и грозно зарычал низким голосом:

— Я — сын кожевника! Не собираюсь забывать о своем происхождении! Мой герб — мои знания! Я — доктор! Я учу и лечу, и в том предназначение мое! Апостол Петр был рыбаком и этого не стеснялся! А Господь наш — сын плотника!

Где-то рядом завыла собака, ее жалобный вой охотно подхватили хвоста­тые соплеменники во всех дворах до самого базилианского монастыря.

— Тихо ты, сумасброд крученый! Хочешь, чтобы за кощунство да оскор­бление рыцарства в острог законопатили? — сердито одернул спутника молодой шляхтич, чей русый чуб прилип к потному лбу. — Могу снова тебя в слуги взять, если паном быть не хочешь! И вообще. сейчас пошлю Хвельку за пани Саломеей!

Хвелька, почти трезвый и измученный, второе исходило из первого, встрепенулся, его круглое курносое лицо просветлело надеждой, как полная луна, с которой сползла тучка.

— И действительно, пан Прантиш, давайте я сбегаю, позову пани, здесь уже недалеко, а вы его мость пана доктора постережете! Ишь, как его разо­брало — никогда таким не видел. С непривычки, наверное. Он обычно не пьет совсем, одно лишь свои отвары. А это вредно! — голос Хвельки стал менторским, хотя его прозрачно-серые глаза все время пугливо косили в сто­рону хозяина, беспомощно свесившего голову, так что шапка едва не падала. Эдакий непривычный вид доктора придал слуге отваги.

— Нельзя мужчине совсем без вина да горелицы. Горелица червецов убивает, и сало без нее в животе застревает. — продолжал бубнеть Хвелька. — Вот прежний мой хозяин, пан Адам Малаховский, пристрой, Боже, его душеньку в небесной корчемке, единым духом мог кварту медовухи выпить — и ничего! Даже ясновельможного пана нашего короля, Августа Саса, однажды перепил, из двух кубков, имя которым было Иван да Иваниха. — Хвелька ностальгически вздохнул. — Ах, пане Прантиш, а как же пышно хоронили гостей на кладбище у панской усадьбы! И каждый день служили в костеле мессу за умерших от панского угощения! Да за такие похороны можно полжизни отдать. А у вас что. Ги-ги-ена одна, тьфу! После доброго шляхетского застолья гости не должны на своих ногах домой идти! Позор это! А самое недоброе — не давать честному слуге своему выпить в гостях ни глоточка доброго винца.

— Язык отрежу! — рявкнул вдруг Лёдник, подняв голову, и слуга испу­ганно взвизгнул:

— Так, может, я за пани Саломеей?..

Имя Саломеи подействовало на доктора, как жбан рассола. Он снова выругался по-чужеземному, на этот раз на старогреческом, сердито зыркнул темными страдальческими глазами на Хвельку и молча побрел дальше. Прантиш, взбодренный тем, что наконец оказался в чем-то более искушен­ным, чем Лёдник, — правда, доктора на гетмановских поминках спаивало намного больше уважаемых гостей, чем пана Вырвича, — вознамерился поддержать профессора. Но это благородное намерение, к сожалению, про­пало втуне, ибо Прантиша пошатнуло так, что он на мгновение перепутал, где мостовая, где забор, где звездное небо, и только неожиданно твердая рука бывшего слуги удержала его от объятий с мокрыми камнями. Лёдник даже в таком состоянии продолжал защищать былого хозяина. В итоге оба прекло­нили колени на виленских кошачьих лбах перед стеклянным богом, признавая его победу.

— Три лекции! У меня завтра три лекции! И кон... кон... суль... тация п-печени!

— К хромой свинье твои лекции, Бутрим! И печень тоже.

Где-то далеко послышались выстрелы и пьяные выкрики.

— Вечная память славному гетману!

Мудрая пани Саломея не сказала ни слова. Передоверив Прантиша забо­там Хвельки, не особо довольного такой честью, потащила мужа в опочиваль­ню. Отваров ради такого случая было уже наварено два кувшина.

Утро было тяжелым. Примерно как пушечное ядро. Во всяком случае, если бы над ухом Прантиша выстрелила пушка, гудения в ушах не могло быть больше.

— На, пей.

Чья-то рука поднесла ко рту студиозуса железный кубок с горячим души­стым отваром. Прантиш даже глаза как следует не разлепил. Отвар попал в горло, сухое, как пустыня, где сорок лет бродил Моисей со своим народом, и оживил этот бесплодный пустырь. Глаза, наконец, открылись. Ну да, перед студиозусом возвышался профессор Лёдник, суровый, как скала, из которой только Моисей и смог выбить жезлом воду. Несмотря на огненных кузнечи­ков, прыгавших в глазах, Прантиш хихикнул: ситуация до боли напоминала утро трехлетней давности, когда Вырвич молодецки напился токайского вина в придорожной корчме под громким названием «Рим», и только что приоб­ретенный слуга — этот самый доктор — подавал ему похожий отвар с таким же самым кислым выражением на лице.

— Лекции отменили. — проворчал Лёдник, которому по логике должно было быть ныне аки снопу на току после хорошей обработки цепами, и уж никак не до лекций. — Траур по всему городу.

Прантиш со вздохом облегчения упал назад на подушку и тут же засто­нал от головной боли. Память возвращалась обрывками, отматываясь назад, как цепь на колодезном вороте. Вот они возвращаются домой, обивая углы и вытирая мостовую, вот во дворце Радзивиллов в память умершего великого гетмана подымается кубок за кубком, кто-то орет: «Подлейте еще уважаемо­му пану Лёднику!» Вот на багровом лице наследника, Кароля Станислава, остекленело блестят глаза, и молодой князь в своем любимом белом жупане, унаследованном от предков и запятнанном во все цвета усилиями тех же предков, да и самого Кароля, в очередной раз валится под стол, его подхва­тывают многочисленные руки прилипал, один из них украдкой стаскивает с пальца сюзерена сигнет. Вот Прантиш с Лёдником подъезжают ко дворцу. Выходят из университета. Вот запирается помещение, в котором остается кукла с серыми глазами.

— Пандора! — Прантиш забыл о головной боли и вскинулся на крова­ти. — Бутрим, пошли куклу чинить!

Лёдник потер лоб, который, очевидно, все же трещал немилосердно.

— Ad res portandas asini vicitantur ad aulam (Ослов зовут во двор для пере­возки тяжестей). Позавтракаем, оклемаемся, приму писаря с больной пече­нью, тогда можно будет и автоматом заняться.

Прантиш встал на ослабевшие после вчерашнего ноги, нетерпеливо вздохнул. Докучный все-таки этот доктор.

— Паны будут трапезничать, или хватит рассола? — с легкой насмеш­кой прозвучал голос хозяйки, неслышно зашедшей в комнату, и Прантиш улыбнулся: когда смотришь на пани Саломею, которая любезно улыбается, нужно быть бездушным автоматом, чтобы не ответить тем же. У пани ямочка возникала почему-то только на левой щеке. И хозяин дома, если не было посторонних, эту ямочку тут же стремился поцеловать. Сегодня, похоже, ему было не до того. Странно даже, что как обычно фанаберится. Лекций непро­читанных жалеет. Да страшно представить, как бы он сегодня на тех лекциях студентов школил!

Пани Саломея одета была в скромное коричневое платье, блестящие чер­ные волосы убраны под белый чепец, изящная рука сжимала четки. Прантиш знал, что больше всего на свете пани мечтает подарить мужу дитя, но Бог не дает. И пани беспрестанно молится о такой милости. Вот и сегодня, видимо, успела уже слетать в Свято-Духову церковь.

Где-то на ратуше часы пробили полдень. Ничего себе заспался студиозус! В профессорском доме тут же отозвались напольные часы из черного дерева, что стояли в столовой, — приличные черные часы безо всяких украшений да безделиц, без искусственных соловушек, нездешних пейзажей в эмалевом окошке, танцующих фигурок. Эти часы, как и хозяин, были строги и упрямы: двенадцать часов пополудни — и все, имеете научный факт.

Но как и хозяин, они хранили в себе множество тайн, ибо время — наи­большая тайна, которую нельзя осознать, но страшно хочется взнуздать. По крайней мере, Прантишу очень хотелось немного обогнать его и заглянуть в то светлое будущее, где он с гетманской булавой в одной руке другой обнимает очаровательную паненку Полонею Богинскую в ослепительно-белом платье, расшитом настоящими диамантами! И смотрит Полонея на него так, как. как пани Саломея на клювоносого хмурого Лёдника, когда тот не видит.

Прантиш не прекратил воображать свои будущие подвиги даже когда сел за стол, от сладких картин едва ложку в крупяник не уронил, отчего и словил с другого конца стола строгий взгляд Лёдника. Эх, где те времена, когда слав­ный шляхтич Вырвич своего бесправного слугу Лёдника, который за долги отдал себя в пожизненное рабство, одним взглядом мог заставить молчать, имел право поставить его на колени и даже голову безродную отсечь за оскор­бление. Не то чтобы Прантиш желал для своего учителя рабской доли, но сохранить немного власти над этим Фаустом не повредило бы.

Вырвич тоскливо вперился в картину в тяжелой золоченой раме, укра­шавшую столовую: на ней уважаемый философ Аристотель, худой старикан с длинными седыми кудрями и бородой, степенно приложив руку ко лбу, занимался мудрствованием на фоне мраморных колонн, увитых виноградом и вьюнками. Картину Лёднику подарил один из пациентов, рисовальщик, выпи­санный из Италии для росписей в костеле. Доктор ловко вправил худенькому, лохматому, как черный баранчик, италийцу локтевой сустав, поврежден­ный во время падения с лесов, заодно подлечил его больные легкие. И вот вам — Аристотель. Если присмотреться, то древний грек имел определен­ное сходство с профессором. По крайней мере, в старости последний мог бы выглядеть как-то так. Прантиш еле сдержал смех, представив Лёдника с длиннющей седой бородой, в сандалиях и белой простыне.

— Рубец с анисом, как ты любишь, — сказала хозяйка профессору, осторож­но ставя на стол тяжелую миску. Запах был такой соблазнительный, что Прантиш, который, садясь за стол, был уверен, что пара ложек крупяника — это все, что сможет этим утром принять его несчастный желудок, невольно облизнулся.

Но получить наслаждение от вкуснятины, приготовленной Саломеей Лёдник, студиозусу была не судьба. На улице отчаянно залаял рыжий Пифа­гор, в ворота настойчиво постучали, послышался тонкий испуганный голос Хвельки.

Гость в дом — Бог в дом, как утверждают блюстители сарматских обы­чаев. Но блюстители иногда ошибаются. На этот раз гостей было двое, но весьма опасных. Оба одеты в мундиры банды альбанцев — особого войска, которое еще юношей создал Пане Коханку в своем имении рядом с Несвижем, торжественно именованным Альбой. В банду отбирались самые отчаян­ные, дюжие и до конца преданные своему пану. Канцлером у них был в свое время недоброй памяти Михал Володкович, расстрелянный два года назад в Менской ратуше за особенные буйства — после его смерти князь неслыханно горевал, говорили, что он даже призрак Володковича еженощно видит.

На плечистых усатых гостях были жупаны из голубого атласа, саетовые кунтуши соломенного цвета, серебряные пояса, желтые сафьяновые сапоги, красные шаровары и голубые шапки с околышем из крымской мерлушки. Пуговицы блестели диамантовыми буквами — инициалами Кароля Радзивилла.

— Приносим извинения его мости пану хозяину за внезапность нашего визита, но пусть его милость пан Лёдник милосердно простит убитых горем рыцарей, кои потеряли своего ясновельможного властелина.

Альбанец с черными аккуратными усиками и пронзительными узкими зелеными глазами, который представился паном Домиником Богушем, бли­жайшим другом уважаемого пана Кароля Радзивилла, изрекал витиеватые скорбные слова по всем правилам этикета. Прантиш с удивлением отметил, что оба шляхтича были почти трезвыми, их лица не опухли от рыданий и перепоя. А пристальный взгляд черноусого так и совсем не понравился. Прантиш тихо-тихо переместился к стене, где в специальных подставках дре­мали сабли, шпаги и палаши. Лёдник не собирался забрасывать благородное мастерство фехтования, и в доме, хоть и небольшом, кроме кабинета и лабо­ратории было выделено специальное помещение для муштры и регулярно пополнялась коллекция оружия.

Между тем пан Богуш наговорил, будто на скрипке наиграл, необходи­мую, и даже с лишком, порцию извинений и перешел к делу. В соответствии с его словами, его мость Пане Коханку для наилучшего сохранения памяти отца готов за любую сумму выкупить ту восковую куклу, кою Михал Казимир Радзивилл на смертном одре завещал доктору Лёднику.

Звучали рулады насчет вечной сыновней памяти, но Прантиш, который и сам природную способность имел пыль в глаза пускать да языком мягко стелить, даже затылком ощущал какое-то мошенничество.

— А нельзя ли нам, многоуважаемые паны, лично встретиться с его милостью князем, чтобы выразить свое соболезнование и договориться насчет лучшего исполнения завещания великого гетмана? — благонравно спросил Вырвич. Злые угольки, на мгновение загоревшиеся в глазах пана Богуша, сказали о многом. Пан заверил, что обременять его мость князя какими-то заботами непочтительно.

— Ну вот и подождем, паны-братья, пока законное горе ясновельможно­го князя не войдет в берега. Потому что он сейчас той куклой заниматься не станет.

Гость от злобы едва зубы не стер. Потом с мнимым безразличием спро­сил, работает ли установленный в кукле механизм. И услышав, что он испор­чен, даже изменился в лице. А его товарищ, седоватый и длинноносый, не постеснялся и пригрозить. Глаза Лёдника запылали черным огнем.

— Великий гетман оказал мне честь своим последним подарком. Я буду свято беречь его и не отдам ни за какие деньги, даже если придется заложить последнюю рубаху. Такая была воля его милости Михала Казимира Радзивилла, а его воля для меня важнее надобности всех иных многоуважаемых панов!

Пан Богуш не желал, похоже, доводить дело до дуэли. Он успокоил това­рища, у которого уже глаза начали наливаться кровью, и почтительно распро­щался. Но яснее ясного дал понять: не отступит. Пандору придется отдать.

Когда на улице стих лай разозленного Пифагора, Саломея печально вздохнула:

— Говорила я вам, недобрая эта кукла.

Лёдник молчал, и в этом молчании была гроза. Потом горделиво вскинул голову, стремительно подошел к стене с оружием и решительно взял свою саблю турецкой работы с простым эфесом, украшенным только строгой сере­бряной чеканкой, тоже когда-то подареную великим гетманом.

— Вырвич, двигаем в академию! Я не позволю всяким фанфаронам отби­рать у меня из-под носа интересный научный прецедент!

— Фауст, остынь! — схватила мужа за рукав Саломея. — Отдай им куклу и забудь! Снова хочешь по самую шею в неприятности вляпаться?

Но глаза профессора горели упрямым холодным огнем, хорошо знакомым Вырвичу. Если Лёдник эдак в чем-то упорствовал, его можно было убить, но не отговорить. Профессор, как черный вихрь, прошел в прихожую, молча нахлобучил шляпу, запахнулся в плащ и даже не взглянул на жену, которая, в отчаянии прикусив губу, смотрела ему вслед.

Прантиш еле поспевал за доктором, рассекавшим воздух, как пиратский корабль. Прохожие, боязливо косясь, уступали ему дорогу, кто-то, наверное, и перекрестился вслед. Первые сухие листья падали на мостовую, будто о чем-то предупреждали — о грустном, естественно: смерть, тление, неизбежный переход от надежной веточки к холодной почве, приукрашенный нескольки­ми мгновениями свободного полета.

Пандора, прекрасная и недвижная, все так же смотрела перед собою в пространство серыми лучистыми глазами, только Прантишу почудилась в них злая насмешка. Даже зловещая. Потому что на пожелтевшем листе бумаги, который лежал на маленьком столике перед куклой, красовался рису­нок — карандаш, зажатый в руке автомата, застыл в его последней точке. После некоторого оцепенения оба исследователя бросились изучать послание механического духа. Обычный пейзаж: сложенное из крупных камней стро­ение, похожее на склеп, на полукруглой арке над входом надпись на латыни «Здесь добудешь победу огня над железом». Внизу рисунка был ряд мельчай­ших цифр, поделенных на группы черточками, и столбцы букв, из которых никак не желали складываться знакомые слова.

Рисунок, если присмотреться, был несовершенный — он весь состоял из отдельных прямых черточек, отчего казался шероховатым. Но никто бы не догадался, что рисовал не живой художник, а бездушный автомат. Лёдник и так и сяк крутил лист, смотрел на свет, едва не пробовал на вкус.

— А что это за место? — не выдержал Вырвич. Профессор пожал пле­чами.

— Не знаю. Правда, надпись над входом заметная, о ней может быть известно. «Победа огня над железом». Victoria ferrum luce... Что-то сим­волическое, эзотеричное. Может, там тайная лаборатория? — в голосе профессора послышалась мечтательность — так ему, похоже, возжелалось в ту лабораторию, за новыми знаниями. — Тайну происхождения ее, уверен, раскрывают эти буквы и цифры. Эх, есть один способ. Если бы это мне раньше в руки попало, я бы провел некий ритуал. — лицо Лёдника сдела­лось таким жадно-хищным, что Прантиш перепугался — понял, что доктор вспомнил о своих занятиях черной магией и вот-вот возобновит практику. Но тот опомнился, встряхнул головой, сбрасывая одурь, виновато перекре­стился, пробормотал короткую молитву.

— Нужно включить наш автомат, пусть еще порисует.

Лёдник принес со своего стола лист бумаги, положил под руку Пандоры. Прантиш, не ожидая приглашения, с радостным предчувствием нажал на маленький рычаг в спине куклы. Послышался легкий шум, будто скользили по хрусткому снегу санки, потом что-то внутри восковой фигуры стукнуло, Пандора резко подняла лицо, и ее глаза встретились с глазами студиозуса. Вырвич еле удержался, чтобы не отскочить от дьявольской фигуры. Кукла посмотрела направо, налево, причем поворачивалась не только голова, но также и глаза, а грудь взволнованно вздымалась. Потом шевельнулась рука с карандашом. Черточка за черточкой на листе начал возникать знакомый рисунок. Пандора внимательно всматривалась в него, поворачивая голову, а по коже Вырвича бегали ледяные мурашки. В том, что происходило, было нечто мерзкое, безбожное. Злая пародия на жизнь.

Лёдник держал рядом два листа бумаги: изображения ничем не отлича­лись, разве что второе было более резким, будто у разбуженной ото сна куклы прибавилось сил и она теперь сильнее нажимала на карандаш.

— За этим рисунком непременно должно скрываться нечто важное! — твердо сказал Вырвич. — Недаром его мость Пане Коханку хочет заполучить этот автомат!

— Думаю, это князю ввели в уши другие, тот же его конфидент Богуш, — рассеянно проговорил Лёдник, всматриваясь в рисунки, будто они были двумя прорвами, в которые упало что-то ценное. — Его милости Каролю Радзивиллу, на наше счастье, сейчас не до каких-то кукол, поэтому за меня всерьез и не взялись.

Лёдник скрутил листы в трубку. Его лицо потемнело, складка меж бровя­ми углубилась.

— И те, кому нужна Пандора, не отступят.

Вырвич тоже нахмурился.

— Надеюсь, ты не собираешься отдавать свое наследство?

Профессор помолчал.

— Отдавать не собираюсь. А вот отнять — могут. Я с альбанцами один не справлюсь. Даже с твоей помощью. Так что пока никому не говори о том, что механизм отремонтирован. Может, пока Богуш с компанией будут увере­ны, что автомат сломан, ничего предпринимать не станут? А я распоряжусь, чтобы куклу завтра же перенесли в мою тайную лабораторию.

Это означало — в подвалы. В придачу к официальной лаборатории выпросил там Лёдник у ректора уголок для рискованных опытов. Ключ от тех апартаментов был только у профессора, а допущенными туда — несколько доверенных учеников, которые твердо решили стать медиками, и конечно, Вырвич. Через подземный ход, что тянулся до самых королевских конюшен, удобно было приносить трупы для исследований. Прантиш подозревал, что лабораторию периодически обыскивают иезуиты — нельзя же допустить до непоправимого богохульства, но Лёдник алхимией более не занимался, золота не варил, духов не вызывал. А вскрывать трупы в европейских университетах давно не было запрещено — наоборот, это делали в анатомических театрах перед сотнями глаз, последнее время стало модным приводить туда титу­лованных дам, которые повизгивали на галерее и красиво теряли сознание в объятиях своих спутников. Смерть переставала быть таинством, делаясь балаганным зрелищем. В любой книжной лавке продавались подробные ана­томические атласы, в любой аптеке Италии, Франции, Швейцарии изготав­ливали раскрашенные восковые муляжи вскрытого тела. Но здесь, в Вильне, даже заведующий кафедрой мог позволить себе подобные упражнения только в подземельях.

Теперь туда отправится и восковая кукла.

Лёдник, который никак не мог заставить себя оторваться от «прецеден­та», ковырялся во внутренностях автомата так страстно, будто каждое мгно­вение его могли вырвать из алхимических рук. Вырвичу даже надоело. Нако­нец профессор, довольный, будто кот, добравшийся до хозяйской колбасы и украдкой ее уговоривший, утомленно вытер взопрелый лоб и объявил, что принцип действия он в общих чертах уяснил.

— И вот еще какая странность: тот механизм, отвечающий за появление рисунка, — он небольшой, с множеством мельчайших деталек, — выглядит старше, чем остальные части автомата, похоже, его встроили в куклу, создан­ную значительно позднее. На кой ляд великий гетман приобретал этот авто­мат? И почему отписал именно мне?

Лёдник потер свой многомудрый лоб, утомленный от думания, надвинул глубже шляпу и едва не пожелал кукле на прощание доброй ночи.

Перед тем как покинуть помещение, Прантиш задержался, подошел к Пандоре, быстренько расстегнул на ее спине платье, сунул руку в механизм и ловко вынул ту детальку, которую они с профессором изобрели. Так, на вся­кий случай. Кукла — собственность профессора, значит не должна служить другим!

Глава третья

Страшная тайна Лёдника

Человек, говорящий просто и понятно, может, конечно, показаться умным и даже мудрым, как древний грек Сократ. Хотя господин, который покорно принимает на полысевшую голову помои, выплеснутые женушкой из глиня­ной миски, — а именно такое случилось с паном Сократом, — вряд ли может называться мудрым. Иначе либо миска в его доме была бы золотая, и дело с помоями устроила прислуга, а не хозяйка, либо женщина десять раз подумала бы о последствиях, кои мудрый человек может организовать, даже не пере­считывая обидчику зубы.

Нет, самый мудрый человек — это тот, у кого из десяти слов простак поймет хотя бы два. И обязательно вся речь пересыпана латынью, как сало — тмином. А если оратор еще и вид имеет фанаберистый да грозный, на голо­ве — аккуратный белый парик, на плечах — бархатную мантию, а на груди посверкивает золотая докторская цепь, — все, мудрость здесь переливается через край и никак не может поместиться в непрочные сосуды студенческого сознания, занятого незаконченной на перемене игрой в кости. Вот бы еще раз кинуть, точно бы Венера выпала!

— Вырвич! О чем я только что рассказывал?

Русый студиозус выглядел настолько честно и добросовестно, что хоте­лось сразу ему выдать диплом и коленом под зад придать направление из академии, потому что достанет до печенок, прокудник, всех профессоров, пока доучится.

Эх, сошел однажды хоробрый шляхтич Прантиш Вырвич герба Гиппоцентавр со славного пути сарматского рыцарства — вместо того чтобы шесто­пером головы врагам пробивать, штудирует Платона да Блаженного Августи­на, и вот результат — надобно после лекций, когда все честные студиозусы растекаются в стороны от Академии, как воды Черного моря во время бегства евреев из Египта, тащиться в подвалы к вредному пану Лёднику. А между тем астрогалы — кости для игры — просто жгут сквозь карман, так хочется пустить их в дело. А теперь, если не спасет святой Франтасий, снова при­дется вскрывать диафрагму очередного трупа, добытого в тюремном или больничном морге, да пересчитывать вслух латинские наименования мышц и костей — Лёдник взял себе однажды в голову, что со временем сможет сде­лать Вырвича своим преемником и в медицинском деле.

Как жаль, что у Лёдников пока нет наследника! Балтромей, наверное, вместо погремушки положит в колыбель с одной стороны микроскоп, с дру­гой — лейденскую банку, чтобы с рождения изучал наследник природовед­ческие науки.

Правда, был в наказании один соблазн — где-то там, среди колб и хирур­гических инструментов сидела таинственная Пандора, и можно, попросив профессора или улучив момент, заставить ее ожить.

Двери в лабораторию оказались распахнутыми, посреди помещения со сводчатым потолком стоял Бутрим, как верстовой столб. Восковая панен­ка исчезла. Зато погром — как после победного похода гуннов через Рим. Шкафы распахнуты, все с полок сброшено на пол. Колбы и пробирки хрустят под ногами, будто сухие кости. Столы и стулья перевернуты, бумаги рассыпа­ны по полу, словно с потолка бумажный дождь прошел.

Тот, кто это сделал, ничего не искал — просто давал понять: знайте, уче­ные крысы, свое место.

Прантиш разъяренно выругался.

— Пан Богуш, не иначе! Я вызову его на дуэль!

— Успокойся, юноша. Все равно ничего не докажешь, — мрачно про­говорил Лёдник. — Сам подумай — без разрешения ректора кто бы сюда пробрался, эдакий бедлам учинил да здоровенный ящик вынес? Я не говорил тебе. — Лёдник сделал паузу. — Вчера профессор Попроцкий уговаривал меня показать ему интересную машину, которую я изучаю в своем кабинете. Мол, он в механике дока, автоматами интересуется, несколько студентов есть, могут помочь. А я отказался, боюсь, резковато. И возможно, напрасно.

Лёдник виновато отвел взгляд.

— Ну, зажадничал я тайной делиться. А если бы показал — может, не было бы этого нападения. Хорошо, успели мы все же изучить интересный прецедент. И получили рисунок.

Прантиш злорадно усмехнулся:

— Зато воры его не получат!

И показал Лёднику деталь со шпиндельком, забранную из Пандоры. Про­фессор только головой покрутил и пробормотал что-то насчет того, что волка хоть с золотой ложки корми, к каше не приучишь. Но деталь забрал.

Вырвич еще раз оглянулся кругом.

— Послушай, почему бы не обратиться к тем панам, что завещание при­возили? Его мость Михал Казимир точно же хотел, чтобы именно ты куклой занялся.

Профессор толкнул ногой поваленный железный подсвечник, и тот загре­мел на камнях, как низверженный Голиаф.

— К кому ты сейчас обратишься, если все пьяные в лоскуты? Пане Коханку постановил, что два года будет по отцу поминки справлять, безумец несчастный. Тело еще здесь, а около Несвижа шляхетные любители попить-поесть на дармовщинку уже целый город из шатров ставят. Нет, защитников у нас здесь не найдется. И Саломее не говори. Волноваться начнет. А я ее сегодня и так обидел. Она попросила если не отдать куклу князю Радзивиллу — так хоть коллег к ней допустить. А я ее обругал.

Бутрим вздохнул, обвел глазами разгромленную, как московцы на Уле, лабораторию.

— Ну что, Вырвич, приведи сюда еще двух проштрафившихся недоучек, Недолужного да Горового. Хватит вам в кости играть. Лучше приберите здесь собственными ручками, ясновельможные паны. Лакеев в свою лабораторию все равно не допущу.

Бедняга Недолужный только и сказал в адрес профессора:

— Чтоб он облез неровно!

...Интересно, какие существуют единицы для измерения злобы? Собачий лай, ругань торговки, плевок мытаря? Какими бы они ни были, у Прантиша, возвратившегося из Академии, злости было на десять перебранок, сорок плевков и мешок собачьего лая. Даже любимая тыквенная каша с изюмина­ми и орехами во время ужина не лезла в горло. Пандору украли, профессор принудил к позорной мужицкой работе, и никаких подвигов не предвидится. Лёдник вон и сам сидит злой, водит длинным носом над бумагой, будто в надежде вынюхать, что за место нарисовано автоматом, покрывает лист стол­биками цифр, а рядом нагромождены стопки фолиантов, с которыми время от времени что-то сверяет. Второй рисунок Пандоры лежит на коленях у пани Саломеи, но она его не изучает, а сжав тонкие пальцы, посматривает груст­ными тревожными глазами то на образа, то на мужа. Боится, что ее Фауст снова сорвется в мистику, забыв обо всем. И такой упрямый — не подойди, ужалит.

В комнате стояла непривычная тревожная тишина, нарушаемая только шелестом страниц. Даже Хвелька зашился в своем чулане и не осмеливал­ся показаться хозяевам, хотя обычно от его болтовни спасал только приказ Лёдника помолчать. Один Пифагор, допущенный в помещение по причине дождя и странности хозяев, которые неслыханно баловали своего сторожа, вилял себе рыжим пушистым хвостом, тыкался холодным носом в ладони, заглядывал в глаза умоляюще-вопросительно: что притихли, мудрые чело­вечки? Вас же никто на цепь не привязывает? Вы же можете еще кусочком сала ради бедной собачки пожертвовать? Поднимал настроение и пылающий камин — Лёдник настоял, чтобы в доме кроме обычной печи, обложенной мстиславским зеленоватым кафелем с ангелочками, был камин, живой огонь, созерцание коего споспешествует гармонии стихий в человеке.

Действительно, в камине очень удобно жечь неуклюжие вирши, которыми Прантиш, начитавшись Яна Вислицкого и куртуазных французских поэтов, начал втайне заниматься. Бросил тихонько смятую бумагу в пасть красного дракона — и все. Никакого осмеяния.

За окнами послышался грохот экипажа, запряженного несколькими лошадьми. Пифагор рыжей тенью метнулся в сени и заполнил их звонким лаем. Экипаж остановился перед домом Лёдников, кучер прикрикнул на коней, потом в ворота застучали.

— Дома ли пан доктор?

Сразу же затараторил что-то Хвелька, встретивший гостей, потом сунулся в комнату спросить хозяев, можно ли впустить посланца от пациента — бога­того пациента, как можно было судить по почтительным ноткам в Хвелькином голосе.

Что же, неожиданные посетители — даже в такой позний час — в доме лекаря не новость. Сколько раз Лёдник среди ночи собирал котомку и отправ­лялся спасать чью-то грешную душу, не забыв перед выходом помолиться святому Пантелеймону-целителю, своему древнему коллеге, которого укоря­ли за то, что лечил бесплатно и сбивал другим докторам цену. Пифагор добро­совестно отрабатывал свой собачий долг, страстно облаивая двери. А в них вошел коренастый крепкий мужик лет за сорок, тиская в руках мерлушковую шапку, судя по одежде — слуга из богатого дома. Обычный такой мужик, упрямый, хитроватый, не очень гибкого ума, со светлыми невыразительны­ми глазами, которые сейчас смотрели на Балтромея Лёдника настороженно и — невероятно — с насмешкой. Так и мерили пана профессора во весь нема­лый рост.

— Пан. Лёдник, я от ее мости пани Гелены Агалинской с нижайшей просьбой.

Поклон гостя был достаточно низкий, но с мгновением невежливого про­медления, чего иной, быть может, и не заметил бы, но Прантиш, сын дотла обедневшего шляхтича-посконника, привык защищать свою шляхетскую честь и в родном Подневодье, и в Менском иезуитском коллегиуме, и научил­ся примечать наименьшие проявления неуважения.

А Лёдник вел себя тоже странно. Тот, кто хорошо его знает, догадался бы, что доктор потрясен. Он стоял перед гостем с гордо поднятой головой, но на худых щеках горели пятна, а глубокий низкий голос едва заметно дрожал.

— Чем могу помочь ее мости пани Гелене?

Гость еще раз окинул оценивающим взглядом фигуру профессора, будто проверял, как сохранился за зиму летний возок.

— Ее мость вместе с мужем и шурином приехали на поминки по ясно­вельможному великому гетману князю Радзивиллу, — объяснил мужик. — Пан Агалинский с братом теперь во дворце за поминальным столом. А панич Алесь Агалинский, младший сынок, совсем занемог. А он и так квелый, от рождения. Неизвестно отчего покроется болячками да обмирает. Вот пани и послала меня за тобой. за вами, пан доктор.

И снова едва припрятанная насмешка и неискренний поклон. Доктор задумчиво проговорил:

— Значит, у твоих хозяев родился еще один сын. Надеюсь, роды не повредили здоровью пани. Что же, для меня честь помочь пани Гелене.

— Пани очень просила тебя. вас не медлить. Карета ждет у дома, док­тор.

Гость закончил обшаривать глазами профессорский дом и бросил взгляд на пани Саломею, естественно, взгляд сразу стал очень заинтересованным. Прантиш не стерпел, выскочил вперед и толкнул наглеца в грудь.

— Ах ты, хамло! Ты как со шляхтичем разговариваешь? Порублю саблей на солому!

Лицо мужика сразу изменилось и приобрело виновато-заискивающее выражение, слуга проворненько упал на колени, старательно поцеловал руку Вырвича, потом его башмак, начал проситься.

На плечо Прантиша легла тяжелая рука Лёдника, тот проговорил глухо, будто ему было больно.

— Не укоряй этого человека, пан Вырвич. Не так легко кланяться тому, кого целый год лупил плетью. Правда, Базыль?

Невыразительные светлые глаза мужика зыркнули из-подо лба на про­фессора.

— Что его милость Циприан Агалинский, мой пан, мне приказывал, то я и делал.

Вот оно как! Прантиш встретился взглядом с Саломеей. У той задрожали губы. Что ж, прошлое догоняет даже тех, кто взрывает за собой воздушные замки. До того как попасть в руки Прантиша, известный алхимик Лёдник стал собственностью пана Агалинского, своего кредитора, с которым не сумел расплатиться. О том, что было с Лёдником в имении Агалинских, тот никогда не рассказывал, и вообще этой темы не любил. Но ясно, что настра­дался там сегодняшний профессор порядком. Сам пан Циприан Агалинский, продавший Лёдника по дороге на Воложин первому встречному, выбросив из кареты просто в грязную лужу и посоветовав воспитывать его дрыном, сим­патий у Прантиша, тогдашнего школяра, не вызвал. Толстенный, злой, крас­номордый. Состояние тихого отчаяния, в котором тогда находился Лёдник, и шрамы на его теле тоже свидетельствовали о многом. Вот и объяснение. Если в Прантише, несмотря на его молодость, Базыль без колебаний признал высшего, вельможного пана, то доктору и теперь был не против по-свойски посчитать ребра.

Огоньки прыгали в камине, будто зрители в балагане радовались необыч­ному спектаклю, в котором кто-то из героев должен умереть насильственной смертью.

— Иди, Базыль, к карете, жди меня. Я сейчас соберусь, — проговорил Лёдник своим обычным высокомерным тоном и стремительно пошел в каби­нет. Прантиш догнал его, задержал за рукав:

— Бутрим, что с тобой? Неужели послушно пойдешь служить тем, кто превратил тебя в раба?

Пифагор прижался рыжим боком к Прантишевой ноге, требуя, чтобы погладили, — нашел время, глупая животинка.

— Там страдает маленький мальчик. — тихо проговорила Саломея. — Все остальное — чепуха.

Лёдник с благодарностью поцеловал жену в щеку.

— Спасибо, дорогая. И еще. Я вам не рассказывал, — голос про­фессора стал совсем тихий. — Пани Гелена спасла мне жизнь. Если бы не она — навряд ли я дотянул бы до встречи с паном Вырвичем.

И зашел в кабинет, загремел там инструментами и бутылочками, собирая свой лекарский саквояж. Потом послышались слова молитвы. Саломея при­близилась к Прантишу:

— Пан Вырвич, пожалуйста. Я боюсь отпускать его одного. Не могли бы вы?..

Прантишу не нужно было ничего объяснять и просить. Он молча надел шапку и взял саблю с выгравированным на эфесе гербом «Гиппоцентавр». Теперь Вырвич — не какой-то школяр, он и себя защитит, и своего учителя! Хочет тот или нет.

Редкие фонари превратили мокрую мостовую в застланый лунным ков­ром сказочный путь, каменные дома застыли, будто заколдованные великаны, с горы Гедимина сползал призрачный туман. Прантиш сидел в карете напро­тив доктора, одетого в немецкий наряд, смотрел на его профиль — прафессор молча уставился в окно — и догадывался о безумной карусели из невеселых воспоминаний, крутящейся сейчас в профессорской голове. Хоть ты снова иди за Крестовую гору на могилу Кашпара Бекеша, приказавшего написать на надгробии, что ни во что не верит. При созерцании этой могилы Лёдника всегда пробивало на вдохновенную лекцию о вечной надежде и спасительном пути души через страдания.

Молчание, наполнившее карету, было таким густым, что заставило бы онеметь целый сойм. Колеса громыхали и поскрипывали, будто жаловались на холод, осень и дождь.

Дом, где остановились Агалинские, не был особенно шикарным — шлях­та, понаехавшая из Княжества и Королевства, позанимала все приличные строения, так что кому уж какой достался. Свет фонаря отражался на мокрой черепице крыши. Можно было рассмотреть только крыльцо с двумя деревян­ными колоннами и окна из настоящего стекла, за которыми тускло светили огоньки свечей. Один из огоньков плыл в сторону двери — гостей ждали.

— Сюда, пан доктор! — служанка в белом чепце и переднике, как ни была встревожена, бросила жадно-заинтересованный взгляд на Лёдника. Вырвич понял, что она тоже видела его в ином положении.

В прихожей доктор строго потребовал воды — вымыть руки перед тем, как идти к пациенту, затем аккуратно вытер чистым льняным полотенцем каждый палец отдельно, влажную ткань рассеянно бросил на руки слу­жанке. За его действиями наблюдали, как за черномагическим ритуалом, после которого у всех вырастут рога. Ну и репутация здесь была у алхи­мика! После визитов лиц с такой репутацией лихорадочно ищут в доме подброшенный «расскепенный желудь» или завязанную узлом тряпочку. Профессор презрительно поджал губы и с поднятым подбородком двинулся вперед, на его левом боку блестела сабля. Вырвич тоже принял, насколько смог, надменный вид и демонстративно положил руку на эфес сабли, весь такой авантажный да с политесом, готовый мгновенно покарать за любую непочтительность.

Покоев оказалось неожиданно много, лампа в руках служанки плыла по темному коридору, как чья-то светлая душа, что из жалости решила проводить неофита через подземное царство. Чувствовалось, что дом съемный — через открытые двери помещений видно было, что мебели маловато, портретов так и вовсе нет, кроме толстой физиономии Августа Саса в золоченой раме. Но, похоже, нынешние постояльцы привезли с собою кое-что для уюта — там стояли ширмы из китайского шелка, тут поблескивал на столике серебряный сервиз. Наконец распахнулась последняя дверь, и перед гостями оказалась хозяйка. Конечно, до пани Саломеи ей было далеко. Никто бы не смог при­нять эту женщину за Сильфиду неземной красоты — а Саломее однажды пришлось исполнять эту роль. Но ведь Саломея Лёдник, в девичестве Ренич, была единственной и неповторимой. Женщина, встретившая ночных гостей, тоже по любым земным меркам была красивой. Стройная фигура, горделивая посадка головы, большие светлые глаза, тонкий, с горбинкой нос, рот, навер­ное немного великоват, с нервной складкой, русые непослушные волосы зачесаны в высокую прическу, и отдельные легкие прядки выбиваются, будто легкий дымок. Светлые глаза смотрели на Лёдника с необычным напряжени­ем, будто на далекий парус долгожданного корабля: какого он цвета, траура или надежды?

— Приветствую, Бутрим!

Лёдник снял шляпу, отвесив церемонный поклон, и поцеловал руку жен­щины.

— Мои искренние поклоны ее милости пани Агалинской. Позвольте представить — его мость пан Прантасий Вырвич из Подневодья, мой благо­родный друг.

Прантиш отвесил поклон не хуже Лёдника и тоже приложился к ручке хозяйки. Но та смотрела только на доктора. Они будто вели молчаливый раз­говор о чем-то грустном, горькая улыбка скривила уста доктора, а глаза пани заблестели от непролившихся слез.

— Как я рада, что у тебя все хорошо, Бутрим, — тихо проговорила жен­щина. — Ты заслужил это.

— На все воля Господня, Он дает, Он и отнимает соответственно грехам нашим, — негромко ответил доктор. — А как вы, пани?

— Соответственно грехам моим, — печально улыбнулась Агалинская. — К счастью, муж в радзивилловском дворце днюет и ночует. Он бы не позво­лил тебя пригласить. Старший сын Андрусь, ты его помнишь, в Варшавском шляхетском корпусе. И я специально поехала в Вильню. Ради Алесика. Если ты ему не поможешь, то кто?

Пани провела Лёдника за ширму, которой был отделен угол помещения, поставила на столик лампу. В кровати спал ребенок лет трех. Худенький, черноволосый. Свет от лампы разбудил его, и на гостей глянули темные глаза, блестящие от лихорадки.

Ошеломленный Лёдник молча смотрел на ребенка, потом перевел взгляд на пани, та, подтверждая его догадку, прикрыла веки, слегка улыбнулась. Доктор пылко поцеловал ее руку и снова уставился на мальчика, как на неслыханное чудо, невольно улыбаясь. Прантиш, разинув рот, тоже смотрел на темноглазого малыша, наблюдавшего за пришельцами не по-детски стро­го, эдаким очень знакомым пристальным взглядом. Наконец студиозус не выдержал и воскликнул:

— Ну, доктор, ну, пройдоха!

Пани покраснела, а Лёдник как не слышал. Присел на край кровати, погладил руку пациента:

— Приветствую юного пана!

— Ты кто? — голос ребенка был немного осипшим, но уже сейчас власт­ным, а в глазах не было заметно страха.

— Я — доктор, ваша мать попросила меня вылечить вас. Что у пана Алеся болит?

Пани со светлой улыбкой наблюдала, как Лёдник возится с младшим Агалинским. Осматривает, выслушивает, задает вопросы. Мальчик старался держаться мужественно, как его учили, как пристало шляхтичу, — но от горь­кого лекарства беднягу едва не вырвало.

— Если пан выпьет эту микстуру, он обязательно выздоровеет, а тогда я приглашу вас в гости в академию. Там есть огромная труба, через которую видны звезды — близко-близко, и можно посмотреть, что делается на Луне! Пан хочет посмотреть на звезды? — серьезно спрашивал Лёдник.

— Хоцу! А их мозно снять с неба?

Прантиша в этой ситуации больше беспокоило, что скажет пани Саломея, когда узнает об этаком материальном воплощении мрачного прошлого своего мужа. И что еще более важно, не прибьет ли доктора пан Агалинский, кото­рый, похоже, имеет на это законное право. Неужели даже не догадывается, в кого уродился его темноволосый сын? Не было ли в своем доме у пана еще более важного основания избавиться от алхимика, чем злоба на непокорность и страх быть отравленным?

Лёдник качал мальчика на руках, что-то шептал на ушко — и был таким счастливым, каким Прантиш его никогда не видел.

Но украденное счастье долгим не бывает. Когда больной задремал, доктор осторожно, как хрустального, положил его в кровать, накрыл одеяльцем.

— У него аллергия. Это. врожденное. Некоторых веществ его орга­низм не переносит. Лекарства оставлю и сделаю еще. Отвары — пить, мази — смазывать высыпания, если появятся. Но главное — дам список, от чего ему может стать плохо. Избегать определенной пищи, запахов. Он это перерастет. Лет в одиннадцать, думаю.

Прантиш вспомнил, что у Лёдника в детстве тоже была такая болезнь, — отец-кожевник не мог приспособить его к наследственному ремеслу, так как сын от запаха сырых кож покрывался болячками и терял сознание.

— Я могу еще его увидеть? — прошептал Лёдник. Пани склонила голову, светлые прядки, выбившиеся из прически, колыхнулись.

— Не знаю. Разве что мужу будет не до нас. Ты слышал, в Вильну даже Богинские приехали, хотят место воеводы для пана Михала. Тот оставил российскую императрицу ради такого случая. Пока неизвестно, чью сторону примет муж, — Богинские сейчас шляхту перекупают. Но ясно, что ожидает­ся возня.

— Пришлете за мной, как только получится. Или ко мне мальчика при­везите. За ним нужно наблюдать. И для вас я тоже лекарств передам. Мне кажется, вы совсем запустили свою болезнь. Помните мои рекомендации?

Лёдник что-то объяснял насчет снадобий, диеты и прогулок, а у Вырвича от известия, что Богинские здесь, даже дыхание сперло. А вдруг и панна Полонея приехала? Там, в Варшаве, она еще больше ввязалась в политику, каких только интриг не приписывали юной красавице. Прантишу, понятно, иные слухи рвали сердце. Но вот он, шанс, — если паненка здесь, не пона­добится ли ей, как когда-то, отважный и ловкий рыцарь, способный выпол­нить любое, самое сложное поручение?

На прощание пани Агалинская спросила:

— Твоя жена красивая, Бутрим?

— Красивая, — ответил бывший слуга.

— Ты ее любишь?

— Очень.

Пани промолчала.

— Дай Бог вам счастья.

— И вам также, моя пани. И вам также.

Базыль проводил гостей до кареты, подсвечивая фонарем. Когда под коле­сами снова оказалась мостовая Старого Города, Прантиш въедливо-утверди­тельно спросил:

— Пани Саломее ничего не говорить?

Профессор вскинул голову:

— Почему же не говорить? Я сам ей скажу. Думаю, она все поймет.

— А кое-кто собирался меня в карцер сажать за невинные ухаживания за простой девицей. — не преминул упрекнуть студиозус, все еще кипев­ший от возмущения. Известно, прелюбодеянием грешили многие, при вар­шавском дворе так вообще считалось неприличным не иметь официальных любовников. Во время балов на площади перед дворцом стояли кареты, в которых можно было уединиться со своими амаратами от любопытных. В весях под Несвижем во многих семьях воспитывались им потомки кня­зей Радзивиллов, иногда выплачивались небольшие пенсии. Но доктор, который исповедовал самоограничение, дисциплину и презирал разврат­ных богачей, не имел в глазах студиозуса права на грехи! К тому же, одно дело — куртуазные интриги между аристократами или когда благородный пан обращает внимание на хорошенькую крестьяночку и пользуется пра­вом первой ночи. И иное — когда слуга, холоп — в постели своей замуж­ней хозяйки! Разбавляет мужицкой кровью кровь рыцарского рода! Пусть Лёднику присвоили шляхетское звание, по рождению же он — никто, обычный мещанин. Не так плохо доктору у Агалинских жилось, одна­ко. Поимел своего счастья. Отвращение отразилось на лице Прантиша. Лёдник помрачнел.

— Не смею отрицать — я грешник. Окаянный грешник. Но она. Пани Гелена. Нет, это был не каприз и не похоть, Вырвич. Не прихоть аристократ­ки и месть слуги — тебе же это пришло в голову, да?

— А что же это было?

Колеса постукивали по мокрым камням, будто перемалывали минуты, неумолимо и старательно.

Лёдник поднял вверх худое лицо, зажмурил глаза. В тусклом свете фона­ря он выглядел, как готический барельеф в старинном храме.

— Что это было. Не думал, что буду кому-нибудь об этом рассказы­вать. У нас с вами, пан Вырвич, карета вместо исповедальни.

Прантиш хмыкнул, вспомнив, как когда-то они ехали в тюремной каре­те — Лёдника заграбастали в корчме из-за того, что он якобы занимался там колдовством, и раскаявшийся алхимик рассказывал по дороге, как довел себя до холопского состояния, распродав имущество, чтобы делать опыты по добыче философского камня. Что ж, пусть исповедуется снова — не все же мучить бедняг студентов.

— Я плохо помню, как мне объявили приговор суда и привезли в имение Агалинских. — тихо говорил алхимик, опустив глаза. — Когда за мной пришли в мой заложенный дом, выломав дверь, я как раз заканчивал выпари­вать одну интересную субстанцию. А потом — потом туман. Одно я решил, что Божью кару нужно вынести достойно. Пусть терпит тело — стоит попро­бовать спасти душу. Никакой алхимии, астрологии, опытов над бестелесными субстанциями! Даже декумбитуру больных больше составлять не стану. Да, переломало меня тогда изнутри хорошо.

Поначалу пан Агалинский был со мной даже вежливым — мы не раз за одним столом сидели, он любил послушать мои «ученые разговоры». А заиметь собственного дипломированного доктора — это же лучше, чем породистую гончую! Мне отвели комнатку, я оборудовал небольшую лабора­торию, потянулись пациенты — слуги, дворовые люди. У панича Андруся Агалинского — рыжий такой мальчик, веселый, непоседливый — кроме цара­пин и синяков случилась пневмония, намерился было форель руками ловить в соседней речушке, стремительной, холодной как лед. Вылечил. Пришлось подбирать снадобья и пани Гелене, она страдает болезнью сердца. И не было того, что ты подумал, молокосос. Я давал клятву Гиппократа. Я никогда не позволю себе подойти к постели больной с похотливыми намерениями. И пани Агалинская просто была со мной уважительной. Честно говоря, я еще и раздражался из-за ее сострадания, страшно раздражался — ни за что не хотел, чтобы меня жалели. Пусть лучше боятся, ненавидят, презирают. Только не жалость.

А потом пан Агалинский приказал мне составить гороскоп — собирался на сеймик, хотел узнать, каких хлопот ждать. А я отказался. Хотя раньше рас­писывал ему по таблицам Эфемерид почти что путь в уборную. И тогда пан сказал, что мне время уяснить, кто я есть такой.

И выписал мне первую записку к Базылю.

Нет, Базыль — не простой палач, мужиков наказывал другой человек. А на этого была возложена обязанность следить за поведением в панском доме — лакеев, горничных, кучеров, поваров. Если кто проштрафился — пан писал на бумажке цифру и отправлял виновного с ней на конюшню, где был особый уголок — там можно было удобненько разложить человека и всыпать ему столько плетей, сколько написано в бумажке.

Когда очередь дошла до меня, вся прислуга была счастливой — они до сих пор не могли понять, как ко мне относиться: будто бы пан, будто бы стро­гий. А сам такой же, как они.

И пошло колесо поперек колеи. Каждое утро я подавал пану Агалинскому его лекарства для лучшего пищеварения — он переедал жирного. Пан требовал гороскоп, я отказывал, получал записку, шел на конюшню, и Базыль имел заботу выдать мне то, что прописал пан. Сначала старался, даже слиш­ком: а вот тебе, выскочка в напудренном парике.

Вскоре это превратилось в какой-то турнир: люди гадали, что случится раньше — пану надоест меня воспитывать или сломаюсь я. Агалинский ярил­ся все больше и больше — ясное дело, не привык встречать сопротивления от более низких. Несколько раз под пьяную руку срывался и лупил меня соб­ственноручно чем попало. К счастью, временами он уезжал, и я мог немного залечить спину. Выручало и докторское мастерство — я иным серьезно помог, и мне начали сочувствовать. Однажды разбудил Базыль — у его дочери был приступ крупа, девочка задыхалась, мне едва удалось ее спасти. После этого рука Базыля стала легче, он начал каждый раз уговаривать меня прекратить злить пана — лбом стену не пробить, доктор, ну что тебе стоит нарисовать те предсказания? Бедняга искренне не понимал, зачем я создаю себе эдакие страдания.

Иногда меня сажали в холодную — что-то похожее на наш университет­ский карцер. Бывали просто комичные случаи — к пану приезжают важные гости, не хватает партнера для игры в вист, меня вытаскивают из холодной, одевают рубаху с кружевами, камзол, парик, и я целый вечер веду остроумную светскую беседу и играю в карты. Пока все не напиваются. Тогда я снова снимаю все панское и возвращаюсь в холодную. Короче, не жизнь, а лондон­ский Бедлам, приют для умалишенных. Ну, а у пани Гелены у самой жизнь не сладкая. Этот оболтус, ее муж, с ней тоже руки распускал. Правда, и пани не кроткая овечка, но куда ей деваться? Я, как мог, защищал ее — объяснял Агалинскому, что у жены больное сердце, что ей необходим покой. Она была мне благодарна за это, и что сына вылечил, и что есть ей с кем поговорить о французских романах, до которых пани большая охотница.

Заступалась и она за меня, конечно. Уговаривала приложить какие-то усилия, чтобы выкупиться, — но я не хотел ни к кому обращаться. Хоть, воз­можно, кто-нибудь из однокурсников по Праге или Лейпцигу откликнулись бы. Пани, не предупредив даже, пробовала тайно продать ради моего выкупа свои диамантовые серьги, но воли у нее не намного больше, чем у слуги. Ростовщик доложил пану Агалинскому о своеволии жены — побоялся ссо­риться с грозным соседом. Была гнусная сцена, пани Гелена, естественно, не призналась, зачем ей понадобились деньги, что-то выдумала. И в имении стало еще хуже. Потому что Агалинскому ввели в уши, что я — знаток ядов и черной магии и могу ему отомстить. Чем больше он меня истязал, тем боль­ше меня боялся. И вот однажды, в начале апреля, пан особенно разозлился и приказал бросить непослушного раба в холодную на ночь. Как раз были заморозки, в моем узилище снег не таял. И до утра я бы не дожил — в одних портах, избитый, как горькое яблоко. Пани Гелена пришла ко мне, выкрав ключ. Отдала свою шубу. Вот тогда и случилось между нами. Грех? Да, грех. Может быть, поэтому Господь и не дает мне наследника от законной жены. Может быть. Но той ночи я никогда не забуду. Я вдруг поверил, что стоит жить и не сдаваться. Вот и вся история.

Прантиш перевел дыхание. Что тут скажешь — судьбы человеческие не прямые, как тракт. И единственный выход здесь — молчание. Лёдник никог­да не сможет забрать своего сына, пани Гелена никогда не заменит в сердце Лёдника волшебную Саломею, а маленького панича, если распространятся слухи, что он байстрюк, ждет самое печальное будущее. Ну а что ждет в таком случае пани Гелену. Все проблемы с появлением и исчезновением восковой Пандоры блекли перед простыми и жестокими отношениями между людьми.

Но профессор смотрел на тусклые отблески на мостовой и невольно улыбался, — и Вырвич знал, что он вспоминает маленького черноволосого мальчика, который сейчас сладко спит в кровати за китайской ширмой.

Глава четвертая

Как Прантиш познакомился с доктором Ди и встретился с Полонеей

Люди очень любят придумывать сказки о большом и страшном: драконах, великанах, рыбах Ремор да ледяных Гримтурсах, о провалившихся под землю или на дно озера храмах или целых городах. А мелочей, мизерных сущно­стей замечать не хотят — хотя они, возможно, более значимые и опасные для человеческого существования, чем великаны и драконы, которых честный рыцарь с помощью архангела Михаила да Пресвятой Богородицы с одного удара может свалить. Есть, правда, малюсенькие альрауны, живущие в корнях мандрагоры, но и те принимают образы огромных страшных чудищ, иначе кто же их испугается. А в каждой капельке воды спрятан целый мир — недаром доктор Антоний ван Левенгук, который изобрел микроскоп, едва не сомлел от потрясения, когда ту каплю увидел увеличенной. Целый зоопарк удиви­тельных существ — анималькулей — суетился перед глазами! А для человека мудрого и самое большое, и самое малое создано по единому образцу.

Доктор Лёдник припал к окуляру немецкого микроскопа, но изучал он не инфузорий, а железный шпинделек, похожий на блестящую букашку, — тот, что ловкий студиозус Прантиш Вырвич вынул из куклы-автомата. Студиозус был тут же — развалился на диване и делал вид, что готовится к занятиям по риторике. Но толстенный том с примерами красноречия всех времен и народов валялся корешком вверх, развернутый на случайном месте. Какая риторика, после того как Лёдник целый час упрямо гонял своего персональ­ного ученика на занятиях по фехтованию, едва не прыгая по стенам. Прантиш догадывался, что такой бешеный ритм получился потому, что доктору нужно было сбросить нервическую аффектацию, он всегда говорил, что самое лучшее для сего средство — физические практикования. Но доктор как железный. Прантиш молодой — и лежит, а этот вымылся, переоделся — и за работу. Сидит вон, спокойный такой, детальку пинцетом ворочает. А какое уж тут спокойствие, если вот-вот из Академии попрут, — высокопоставлен­ный покровитель умер, а в окружении его наследника врагов и завистников полно, и в ректорате некоторые давно живьем бы охальника доктора сожрали. Тут не до снисходительности — страна на грани войны. На российский трон императрица Екатерина села, бывшая принцесса София Анхальт-Цербстская. Личность амбициозная, коя захочет и литвинские земли контролировать. Основание есть: здесь живут единоверцы, которых преследуют за православ­ную веру. В правах ограничивают, храмы закрывают, насильно заставляют переходить в Унию. Как не заступиться? А чтобы заступиться — ясно, нужно войска вводить. Поэтому на православных в Короне смотрят как на потенциальных предателей. Вот, братчиков из Свято-Духова монастыря снова камнями забросали. И кто? Старшекурсники родной Виленской академии. Прантиш ввязался было с одним таким воякой со схизматиками в драку, за что снова наказание от начальства схлопотал. И Вырвич совсем не был уверен, что удастся завершить образование в этих стенах. А если разгорится война, на какой стороне воевать придется — снова неизвестно. Ведь вот-вот и корона польская начнет разыгрываться, как стопка талеров в кости. Август Сас на ладан дышит, сидит безвылазно в своих покоях да бумажных чело­вечков вырезает. С бумажными, ясное дело, справиться легче. Князь Михал Богинский бодается со своим другом-соперником Станиславом Понятовским за внимание российской императрицы — и за возможность в будущем стать королем. Радзивиллы на себя пышный ковер власти тянут. А что будет с должностью воеводы виленского — страшно представить, ибо Михал Богинский в прошлом году с влиятельной пани оженился, вдовой подканцлера Сапеги, Александрой из Чарторыйских, покорив сердце пани игрой на кларнете и флейте. А пани Александра — личность в политике искушенная. Объединившись с многочисленными сестрами пана Михала, создала целую политическую ложу. Но ведь и за Радзивиллами сила! Правда, с женой Пане Коханку не повезло — персона легкомысленная, за мужем ни на поле боя, ни в высылку не поедет, зато любимая сестра Теофилия способна и на дуэль, не хуже Полонеи Богинской. И кому дело среди этих злоключений до какой-то куклы?

— Нет, только не это! — отчаянный выкрик Лёдника заставил студиозуса вздрогнуть, хрестоматия полетела на пол, а пани Саломея едва не уронила поднос с кружками кофе, что несла для утомленных жнецов интеллектуаль­ной нивы.

— Зачем я только поддался любопытству. Снова — на те же грабли! Не хочу иметь ничего общего с подобным! — разъяренный профессор мерил нервными шагами кабинет. — Я столько усилий приложил, чтобы отречься от всяческого магического морока, такую цену заплатил — и вот!

— Да что такое, Бутрим? Что ты там нашел? — пани Саломея поставила поднос с кружками на стол и заглянула в микроскоп. Пожала плечами. Ее сразу же отодвинул от окуляра Вырвич. На детальке виднелись микроскопи­ческие буквы «VOO».

Саломея и Прантиш недоуменно переглянулись и посмотрели на нервоз­ного профессора.

— И что это значит? — спросил Вырвич. — Ты трех букв испугался?

Лёдник резко остановился.

— Что значит? Что нечистая сила снова пробует столкнуть меня в ту тря­сину, откуда я едва вылез! Это подпись доктора Ди!

Удивленное молчание слушателей профессора так разочаровало, что он едва удержался от обидных слов.

Саломея подошла, положила руки на плечи рассерженному мужу.

— Не злись, а объясни! Ты с возрастом делаешься все больше нетерпи­мым, тебе кажется, то, что знаешь ты, понятно всем. Дорогой, даже орехов двух одинаковых нет, а не то что умов. Errare humanum est (Человеку свой­ственно ошибаться).

Лёдник отвел взгляд, глубоко вздохнул, по своей же успокаивающей методике, которой учил Прантиша.

— Это тот самый доктор Ди, астролог и алхимик, после прочитания трак­тата которого по элективной астрологии «Иероглифическая монада» я совсем поехал умом, точнее — нырнул в эзотерические науки. Ди жил в Англии во времена королевы Елизаветы. Еще студентом Кембриджа он сделал механи­ческого скарабея и выпустил на сцену студенческого театра. Народ, удирая, устроил в дверях давку, Ди выгнали из университета. Он изобрел много чего еще. Навигационные приборы, телескоп, бинокль, рассчитал, где должен быть Гринвичский меридиан. Много экспериментировал с кристалла­ми и зеркалами. И все это было бы хорошо, если бы не эксперименты с духами. Связался с проходимцем и фальшивомонетчиком Эдвардом Келли, предложившим доктору заняться связями с иным миром, а он, Келли, будет посредником между Ди и «ангелами». Ну, и занялись. Если верить самому Ди, духи слетались к нему, как мухи на мед. Особенно прописался при нем некий Уриель. Который не только показывал доктору в специальном зеркале картинки будущего, но и учил языку, на коем разговаривают ангелы. Можете себе представить, я читал эти трактаты на «енохианском языке», пробовал его усвоить. Прости Господи.

Лёдник перекрестился и, наконец, сел.

— А почему ты решил, что Пандору сделал доктор Ди? — не понял Прантиш.

— Потому что он подписывался так — Voo. Никто не знает, почему. Я думаю, доктору принадлежит только «сердцевина» автомата. Я заметил микроскопические следы пепла на детальке — можно представить, что когда-то подобную куклу — не знаю, в виде кого она была сделана, может, самого доктора Ди или того Уриеля, — бросили, как дьявольское творение, в огонь. А потом кто-то забрал что уцелело в огне, спрятал. И уже в наше время автомат восстановили. И он снова рисует то, что заложил создатель. А если знать его личность, то становится ясным, что тайна может быть очень ценной. Конечно, в сооружении, нарисованном Пандорой, доктор Ди мог заниматься любовью с красивой девицей, поэтому этот пейзаж и захотел увековечить. Там может быть могила его друга или место для связей с духами. А может скрываться одно из изобретений Ди.

— То зеркало, которое показывало будущее? — даже захлебнулся от вос­хищения Прантиш.

— То зеркало хранится у графов Питерборо и представляет собою хорошо отполированный кусок черного угля в круглой оправе, с ручкой из слоновой кости, — скептически пояснил Лёдник. — Лежит под стеклом, как редкость, рассказывают о нем любопытным гостям всякие чудеса, а духов, ясное дело, никто не видит. Кому охота тревожить нечистую силу из-за дурацкого любо­пытства. Была у доктора еще зеркальная камера — для тех же встреч с духами, и я точно знаю пару балаганов в Европе, где подобные камеры используют на каждом представлении. Был перстень с бериллом, что вызывал видения. Кстати, его и еще кое-что доктору будто бы привезли аж из Америки, как свя­щенные предметы ацтеков. А лично меня вот что заинтересовало.

Лёдник полез в шкаф с книгами, покопался, перекладывая с места на место томища, наконец выискал маленький томик ин-кварто с золотым обре­зом «Духовные дневники доктора Ди», полистал, зачитал:

— «Нетрудно сделать зеркало, кое силой солнца, даже спрятанного за облаками, превращает в пепел все разновидности камня и металла. И я могу легко добыть огню победу над железом». Понимаете, здесь ничего не гово­рится ни о духах, ни о предсказаниях, ни о видениях. Конкретное физиче­ское явление. Превращение одной энергии в другую. Архимед тем же самым занимался, когда с помощью зеркал жег римские корабли, плывшие покорять его родные Сиракузы. И подходит смысл надписи над входом! — голос докто­ра стал виновато-неуверенным. — Если бы вдруг оказалось, что Пандора дает ключ именно к этому изобретению, его стоило бы поискать.

— Фауст, ты снова увлекаешься невозможным! — напряженно заметила Саломея. — Никакой огонь не может превратить в пепел камни и металл.

— Когда-то утверждали, что повозка сама по себе никогда не поедет. А мы сами видели машину Пфальцмана с водяным двигателем, — упрямо прого­ворил Лёдник. — Лет триста назад никто не мог представить, что часы могут быть такими маленькими, что их станут носить на шее, что ткать и прясть будут станки, что за океаном откроются новые земли, населенные народом с древней культурой. Какой-нибудь барон или маркиз сидел в своем замке и был уверен, что ни один король его за каменными стенами не достанет, — но появляются пушки, и земли барона становятся частью великой державы. В индийском эпосе есть описание «дротика Индры» — смертельного оружия в виде луча света. Луч выходил от круглого отражателя, возможно, зеркала, и целился по звуку. Может, это и есть оружие доктора Ди?

Прантиш представил, что ему достался такой огненный меч: на что ни наведи его луч — спалит, испепелит. Вот добыл бы славы с такой силой!

А с другой стороны — какая же это слава, коли победа добывается не смелостью, не стратегией, не умелым владением оружием — а просто пото­му, что тебе в руки попала смертоносная штуковина, какой больше ни у кого нет. Ты можешь быть слабым, трусливым, жадным, подлым. Главное, быть честолюбивым. Направил луч, и перед тобою гекатомба. Чем же здесь гор­диться? Отец Прантиша даже огнестрельное оружие презирал, говоря, что от него упадок в Речи Посполитой благородного искусства фехтования.

Сомнения студиозуса озвучила Саломея:

— Допустим, Бутрим, ты добудешь секрет зеркала, от которого испепеля­ется железо. И кому ты его отдашь, и что из этого будет? Война, какой еще не случалось? Не с тысячами, а с миллионами жертв? Твое любопытство стоит этого, Фауст?

Лёдник сидел, обхватив голову. Глухо заговорил:

— Вы просто не понимаете, как это привлекает. Все эти тайные науки. Потому что не узнали, на свое счастье, их яд, что я пил полными кубками. Как это. волнует, кружит голову — новые знания, новые открытия, недоступные «обычному» человеку. И как тяжело удержаться, когда видишь перед собой очередного малограмотного богатого хама, от того, чтобы сбить с него фана­берию какой-то простенькой демонстрацией магии. Вот властитель, над­менный, довольный жизнью, который почитает тебя за червя. А тебе звезды сообщают о его жалком будущем, и от тебя зависит, не направить ли спесивца к бездне. Этот сатанинский морок очень силен. Понимаешь, что это морок, только когда начинаешь гибнуть. Нет, не хочу!

Лёдник решительно встал, подошел к окну, распахнул и изо всех сил швырнул в темноту хитрый шпинделек с тремя зловещими буквами, а вслед за ним, предварительно сломав, восстановленную деталь. До канавы, грязной и глубокой, как раз, наверное, добросил. В комнату ворвался свежий осенний воздух вместе с запахом дыма и тоски. Профессор взял оба листа с рисунком Пандоры и отправил их в пылающий камин. Вырвич вскочил с места с воз­мущенным вскриком, но было поздно. Огонь крутил уже в желтых пальцах черные бесформенные комки, которые рассыпались на глазах, вспыхивая синими лепестками.

— Все, — Лёдник с облегчением вздохнул. — Выбросим же из головы проклятую куклу. Ну, полюбовались, поинтересовались, механизм изучили. И спасибо на этом.

Саломея подошла, поцеловала мужа в щеку.

— Аминь.

Прантишу было что возразить, но он промолчал.

Следующие дни были такими обычными, что Вырвичу казалось, будто он находится в центре вихря — вокруг что-то кружится, пролетают схваченные стихией предметы, а здесь, на маленькой площадке, укромное место. Но очень ненадежное и временное. Прантишу даже сделали послабление — пара визитов в кабачок, а также одна симпатичная драчка с подмастерьями уважа­емого цеха золотарей как должно подняли настроение.

В четверг после занятий Недолужный подлетел к Прантишу с вытара­щенными глазами:

— Твой профессор, он что — черные мессы служит? Дитя какое-то на астрономическую башню поволок!

Прантиш, конечно, помчался понаблюдать и ловко приладился вместе с приятелем к дверной щели на пятом этаже обсерватории: солидный профес­сор посадил себе на плечи маленького панича в аккуратном камзольчике и носит по помещению, малыш хохочет и трогает интересные блестящие пред­меты, которых в звездном кабинете предостаточно. Но что в этом странного: к славному лекарю привезли на консультацию больного наследника богатой семьи, и тот развлекает капризного пациента.

А Вырвич видел, что Лёдник аж млеет от умиления и заходится от тоски, что этот ребенок с темными любознательными глазенками навсегда останется для него чужим.

А потом была еще пани Саломея. Потому что профессор посчитал нуж­ным познакомить ее с младшим Агалинским. И Прантиш не сомневался, что пани готова отдать все на свете, чтобы этот мальчик был ее сыном.

Юный панич Алесь не хотел уходить от интересного клювоносого докто­ра и учинил целый скандал, когда его передавали на руки няньке и усаживали в карету. Только обещание Лёдника, что следующий раз покажет, как создает­ся просто в лаборатории радуга, успокоили малыша. Так же, как и подаренная книжка с красивыми рисунками о всех странах мира — на рисунках шество­вали пятнистые жирафы с длиннющими шеями, подымали топорики пата­гонцы с перьями в длинных волосах, красовались огромные слоны с носами, похожими на змей, около японского императора стояли слуги с гигантскими веерами. Пан Алесь уткнулся в книжку (всепоглощающая любовь к книгам была у панича, конечно, предсказуемой) и позволил отвезти себя к матери.

Пани Саломея остаток дня просидела, запершись в комнате. Из-за дверей слышались только тихие слова молитв.

«Бездна бездну призывает во гласе хлябий Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне преидоша.»

А потом было письмо. Обычное письмо в конвертике, запечатанном сур­гучом с оттиском знака, который знатоками шляхетских гербов — а таким должен быть каждый настоящий шляхтич — читался сразу: ворота с крестом наверху, что ведут к военному шатру. Часть герба Огинец, коим пользуются князья Богинские.

Посланец, молодой шустрый парень в кавалерской одежде, сунул Вырвичу конвертик прямо у выхода из университета и исчез в толпе, не отвечая на вопросы.

Напрасно Лёдник винил Прантиша в нетерпеливости! Студиозус не стал разрывать конверт прямо на улице. А добежал до своего любимого места на Замковой горе, у руин замка, в котором сто лет назад держал блокаду неболь­шой российский отряд и орудия превратили стены в гравий.

Ласковое солнышко, с уже заметной осенней тревогой о своем скором охлаждении, пристроилось за спиною расчувствованного студиозуса, кото­рый сидел на прогнившей балке под охраной седого репейника и прижи­мал к лицу маленький конвертик, от коего исходил невероятно волнующий запах вербены, мускуса и лучшей, полной блеска и приключений, жизни. На маленьком листочке в конверте, конечно, не могло поместиться все, что нафантазировал себе студиозус, но главное наличествовало: Полонея Богинская, придворная дама, красавица, магнатка, назначала свидание загонному шляхтичу Вырвичу! Правда, в знакомой манере: загадочно, ничего толком не объясняя и приказным тоном. Сегодня, на закате солнца, в доме за домини­канским костелом, тайно.

И естественно, Вырвич сильно подозревал, что расплатится за эту честь, как и в прошлый раз, очень дорого, рискуя собственной шкурой ради магнат­ских интриг.

Но чем приключение опасней, тем больше чести для рыцаря!

В репейнике зашуршал ветер, белые мохнатые семена теплыми снежин­ками закружились, полетели сеять новую жизнь, увеличивать Великую Дер­жаву Репейника. Ерунда, что кто-то считает это растение сорняком, — а оно просто злит всех тем, что имеет и нежные яркие цветы, и острые шипы, чтобы защищать свою красоту, и крепкий стебель — не сорвешь голыми руками. Житель здешней земли, которого не так просто вытоптать, уничтожить или переделать в фиалку.

Естественно, вечером Вырвич нацепил на пояс персиянский кинжал с диа­мантом, полученный когда-то от Полонеи как извинение за то, что посылала юношу в полоцкие подземелья на верную смерть. Красные сапоги сверкают, шапка лихо заломлена набок, русые кудри аккуратно причесаны, жаль только, усы еще маленькие, так себе, не усы, а усики, и не топорщатся воинственно, а только свидетельствуют, что есть.

Если бы фащевский олух, памятник святому Симплициану около дерев­ни Фащевка, мог двигаться, он не смог бы делать это более степенно и тор­жественно, чем пан Прантиш Вырвич, следовавший за лакеем по темному полупустому дому — ясное дело, съемному — в комнату к панне Полонее Богинской.

Но пану понадобилось все его мужество, чтобы сохранить хотя бы спо­койно-вежливое выражение лица. Ибо панна решила сразу точно указать бедному шляхтичу, кто есть кто в этом не лучшем из миров, и для дерзкого, осмелившегося претендовать на сердечное благоволение самой Богинской, venit summa dies et ineluctabile fatum — пришел последний день и неумо­лимый фатум. Помещение, где его принимали, было, как и у Агалинских, спешно украшено привезенным — китайские ширмы, ковер, столик с серви­зом, только все подороже. Зато хозяйка помещения была убрана, как на коро­нацию, безупречно и ослепительно. Куафюра паненки представляла собой средних размеров облако, в коем с помощью искусственных цветов и малень­ких фигурок была устроена галантная сценка «Селадон соблазняет Галатею». Причем дела у мизерного Селадона очевидно не ладились, потому что Галатея убежала от него на три вершка вверх по напудренным локонам. Платье с кринолином было похоже не на облако, а на остров, заросший розовыми цветами. Кружев для отделки платья было использовано столько, что хватило бы похоронить не одного фараона, запеленав его мумию. А за сокровища, что сверкали на руках, шее, в ушах паненки, можно было развязать небольшую войну. Трупов эдак на сотню.

За всей этой роскошью в самую последнюю очередь виднелся облик их владелицы. Личико Полонеи с немного вздернутым носиком и широко рас­ставленными голубыми глазами было набеленным и нарумяненым так, что казалось обличьем еще одной восковой куклы. Мушка у правого уголка рта, губы, нарисованные сердечком так хитро, что кажутся совсем маленькими. Голубые глаза посматривают. непонятно, с каким выражением посматрива­ют. Ясно, что при дворе прежде всего нужно научиться прятать чувства. Куда-то исчезло милое плутовское выражение, шаловливые искорки в глазах. И неужели эта кукла когда-то помогала Прантишу залезть в окно базилианского монастыря, таскала с Саломеей бочонки с порохом в подземелья под Полоц­ком и дарила Прантишу Вырвичу на прощание довольно пылкие поцелуи? Не может быть!

Прантиш склонился в низком поклоне, проговорил положенные цере­монные слова приветствия, чувствуя, как внутри что-то перегорает, будто некачественный фитиль. Мечты Вырвича о свидании со своей дамой на более равных правах оседали, как плохо взбитые сливки. Он сидел в аудито­риях, горбатился над учебниками — и ничего за эти три года не добился. Он достоин только презрения! Проклятый Лёдник! Это бывший слуга увел юношу со славного пути, Вырвич мог сейчас быть в военном мундире хорун­жего или поручика. Да святой Франтасий знает, кем мог быть! А он — всего только недоученный студиозус.

Полонея Богинская склонила голову в знак приветствия — хорошо если на вершок. Хотя с таким украшением на голове особенно не покиваешь. Запах eau de lavande, модной лавандовой воды, в которой паненка, очевидно едва не купалась, сделался еще сильнее, даже голова кружилась.

— Добрый вечер, пан Вырвич. Рада видеть вас в добром здравии. Наде­юсь, вы сможете ответить на некоторые вопросы, что у меня имеются.

Речь у панны Богинской была вежливой и надменной, как холодное зерка­ло, и почему-то каждое слово звучало как приказ, которого нельзя ослушаться. Но Вырвич вдруг почувствовал не покорность, а отчаянное веселье, кое в тяже­лые моменты всегда приходило ему на помощь и было причиной всегдашних проказ. Лёдник ворчал, что это следствие перевеса в организме огненной и водяной стихий одновременно: у молокососа временами пар из ушей.

Конечно, паненка, что сидела перед Прантишем на особой скамье, обтя­нутой сафьяном, была упакована, как золотая луковица, но ведь под всеми этими оболочками из пудры, кружев да бархата у нее находилось то же самое, что и у Агнешки Пузыни с улицы Шкельной. Вырвич ловко подскочил, поце­ловал паненке ручку — от такой смелости в ее голубых глазах даже появилась растерянность, стал рядом, куртуазно склонившись:

— Ваша мость не должна сомневаться, что мое сердце давно принадле­жит ей, и на любой вопрос из этих волшебных уст я постараюсь сейчас же найти ответ.

Дело было не в словах, а в том, что Прантиш говорил, будто ворковал, с той долей загадочности и нежности, которая заставляла виленских меща­ночек краснеть и отдавать русому студиозусу свои сердца. Полонея отвела глаза — Вырвич понял, что ей не нравится эдакое вольное обхождение, но ничего, потерпит — сама пригласила, сама напустила на себя важность.

— Я хочу спросить пана об одной вещи. О подарке его мости князя Михала Казимира Рыбоньки доктору.

Прантиша как холодной водой окатило, и будто колокольчик зазвенел где-то в голове, предупреждая об опасности.

— О каком именно подарке хочет спросить ясная панна? — не меняя кур­туазного тона, уточнил студиозус. — Его мость великий гетман был милостив к нам и одаривал щедро.

Полонея снова отвела взгляд.

— Так, одна безделица. Механическая кукла, умеющая рисовать. Понимаете, мой брат в своем Слонимском дворце собирает коллекцию таких кукол — у него есть арап, бьющий в барабан, лев, который рычит, ходит, вра­щает глазами. Искусственных птиц целая дюжина. И очень хотел бы присо­единить ту куклу-рисовальщицу. Естественно, пану Лёднику будет выплачено щедрое вознаграждение.

Прантиш снова поднес к губам ручку панны, пользуясь тем, что не оттол­кнет же она его, пока не домоглась ответа.

— А почему наияснейший пан Богинский не узнает об этом у самого пана Балтромея Лёдника?

Голубые глаза от резонного вопроса на мгновение стали растерянными, потом в них блеснул гнев, но паненка смогла снова изобразить вежливое спо­койствие:

— Пан брат сейчас занят, он поручил это мелкое дело мне. А мне, может быть, приятней поговорить с паном Вырвичем, чем с доктором, его бывшим слугой. Лёдник по-прежнему такой мрачный? Где он держит куклу? Не рас­крутил еще на винтики?

И тогда Прантиш, так же нависая над паненкой и целуя то одну ее ручку, то другую, с удовольствием сообщил, что кукла была — да сплыла. Украли куклу воры.

Богинская от потрясения даже вскочила, довольно грубо вырвав свою ручку из рук Прантиша.

— Как это украли? Кто?

Вырвич с удивлением заметил, что паненка заметно подросла. Стала почти одного с ним роста. А на ее куафюру так вообще надо смотреть задрав голову. И сразу же осадил себя: тьфу, дурень, какое там подросла — это же ботинки на каблуках в шесть вершков, которые, к возмущению почитателей сарматских обычаев, понапривозили в Речь Посполитую из Парижа.

Услышав про мглу неизвестности, в коей потонула кукла, Полонея нервно заходила по комнате, подтвердив подозрения Вырвича насчет каблуков: они громко цокали, а походка паненки стала шаткой и неуклюжей.

— А хоть один рисунок она успела нарисовать?

Полонея резко остановилась перед Вырвичем, и ее глаза уже не были холодными, а просто пылали нетерпением и тревогой. Будущий философ заверил паненку, что кукла так и не включилась. Не успели ее починить.

Разочарование, которое не смогла скрыть Богинская, заставило тревож­ный колокольчик в голове студиозуса зазвенеть еще громче. Но не успел Вырвич похвалить себя за мудрость, как лицо магнатки вдруг переменилось. Как будто в темную комнату внесли яркую лампу. На губах заиграла ласковая усмешка, глаза заулыбались, обласкали студиозуса:

— Ах, пан Вырвич, что мы все о каких-то механизмах говорим. Мы же не виделись три года. Вы так возмужали за это время — настоящий рыцарь. И, наверное, много знаний получили. Давайте. нет, перейдем, как когда-то, на ты — давай вспомним нашу юность. Ах, какие были события! Пом­нишь корчму под Раковом? А монастырь?

Паненка позвонила в серебряный колокольчик, обвязанный розовой лен­той под цвет ее платья, и приказала слугам, что прибежали на звук, немедленно накрыть на стол и принести самого лучшего вина. Полонея Богинская желает поужинать со своим давним добрым другом, паном Прантишем Вырвичем!

— Ты какое вино больше любишь, токай или мадеру? — теперь голос Полонеи звучал тоже интригующе, Прантишу даже как-то неловко стало — так сильно послышалась фальшь, но студиозус сейчас же выбросил опасе­ние из головы. Конечно, не помешало бы посмотреть в волшебное зеркало доктора Ди, которое предсказывало будущее. Но почему бы не включиться в игру — еще неизвестно, кто кого переиграет, у студента тоже жаба на языке не изжарится. Наконец его Прекрасная Дама сошла с пьедестала, приблизи­лась к нему, Прантишу Вырвичу, вплотную, сама протягивает руки. Недо­тепой последним надо быть, чтобы такой шанс не использовать! И Вырвич бодро взял хрустальный бокал, до краев наполненный красным напитком.

Глава пятая

Как Лёдник и Вырвич очутились между наковальней, молотом и... еще одним молотом

Вредные маленькие альрауны, покинув родные корни мандрагоры, ска­кали по голове Прантиша Вырвича, и от их пронзительных голосов просто закладывало уши. Между альраунов, уродливых, коричневых, морщинистых, похожих на мельчайшие корешки, только что выкопанные из земли, суети­лись бело-розово-голубые Селадон и Галатея, убежавшие с парика панны Полонеи Богинской. Но вместо того чтобы разыгрывать любовные сцены, эти пасторальные персонажи подпрыгивали и кривлялись так же, как альрауны, и несомненно были той же самой мерзкой породы. Ведь мандрагора известно где вырастает — под виселицей, из семени, которое извергается на землю из умирающего тела висельника.

Шкодливые создания заверещали еще громче, просто в ухо Прантиша. И тот открыл глаза, в которых летали золотые пчелки.

— Чего пан бревном лежит в чужом доме? У пана, что ли, своего нет, или хлебнул из ковша, что не видит ни шиша? Стражу позвать, или пан своими ножками уйдет?

Перед Вырвичем стояла, уперев руки в бока, дородная женщина в сером салопе, по виду — экономка, так как держала в руке связку ключей. В доме слышалось громыхание, в помещениях что-то перетаскивали, звучали гру­бые голоса. А вот ничего из того что украшало комнату вчера, не было. Ни обтянутой золотистым сафьяном скамьи, на которой сидела панна Полонея в своем невероятного объема роброне, ни резного столика, на котором для студиозуса Вырвича выставили хрустальный графин с токайским вином и много чего вкусного, даже свежий виноград, доставленный из теплых стран или выращенный в магнатских оранжереях. Естественно, не было ни самой панны Полонеи, ни ее слуг. Зато альрауны из головы никуда не исчезли.

Не то чтобы Прантишу впервой было продирать глаза после лобызаний со стеклянной свинкой, но ощущения на этот раз были какие-то особенно мерзкие: горло дерет, будто дегтем закусывал. Где этот Лёдник со своим чудо­действенным отваром.

Вспомнив о Лёднике, Прантиш застонал, чем вызвал целый град насмеш­ливых замечаний от гнусной бабы, которая, ясное дело, отречется от любых упоминаний о панне Богинской, и кто сюда вечером заселялся, куда подевал­ся, лисица хвостом замела, волк языком зализал.

Подманили, как щенка шкуркой от прошлогоднего сала! Дубина, молоко­сос, дурень — три штуки вместе, и имя всем Прантиш Вырвич. Ибо Вырвич, постанывая, вспомнил, что вывалил коварной красавице между пылкими поцелуями все, о чем запретил рассказывать Лёдник. О Пандоре, о ее рисунке, о надписи «Здесь найдешь победу огня над железом», даже о догадках Бал­тромея насчет доктора Ди и его огненном мече.

Единственное, что смягчает обиду, — обошлись со студиозусом доволь­но вежливо, под голову заботливо положили шапку, а вот и кружку с водою оставили.

Но студиозус, как ни мучила жажда, пить ту воду не стал — хватит, наугощали. Timeo danaos et dona ferentes. Бойтесь данайцев, дары приносяших.

Пошатываясь, он потащился из проклятого дома, куда сейчас въезжали другие временные хозяева, а может, возвращались владельцы. В голове пульсировала боль, будто альрауны принялись забивать в мозг Прантиша железный прут. Из затуманенного сознания всплывали все новые и новые подробности недавнего разговора с хитрющей Полонеей. Все-таки и она кое о чем кавалеру проговорилась. Например, известие о связи куклы с доктором Ди ее не удивило.

Гос-с-поди, он же панне свои стихи читал! Те, что счастливо сжег в камине, но, к несчастью, запомнил. Голосил, как Орфей перед голодными волками! Вот посмеялась ее мость Богинская над влюбленным мальчишкой-стихоплетом.

Вырвича перехватил на улице взвинченный Хвелька, его жирные щеки даже тряслись от волнения — по случаю исчезновения подопечного, который даже занятия прогулял, профессор учинил грозу.

А потом было еще хуже. Пришлось рассказывать Лёднику о том, что про­изошло. Вырвич понимал, что здесь не до хитростей, — так как последствия его ночного приключения ударят в первую очередь по Бутриму. Язык еле ворочался, слова путались, как водоросли в омуте.

Вдруг Лёдник обхватил Прантишеву голову, раздвинул пальцами веки, внимательно заглянул в мутно-голубой глаз.

— Дурман! И порошок одного редкого грибочка. Знаток работал — только ошибись с концентрацией, жертва умрет. Благородный способ раз­вязать язык, популярный в Венеции. Во рту горчит? Горло дерет?

Прантиш мрачно кивнул головой. С одной стороны, стало легче: значит, позорная болтливость вызвана отравой. Но и горько стало: не пожалела, не постыдилась Прекрасная Дама этой отравы подсыпать! Знала же, что может к Адаму на пиво кавалера отправить. Не любит нисколечко, ни на зернышко! Эх.

Лёдник пошел варить противоядие, приказав ничего не рассказывать пани Саломее. Даже ругаться не стал. Сделанное не отменишь, теперь оставалось ждать, когда придет беда и с какой стороны.

Беда случиться не спешила. Вильня печалилась о своем воеводе. Пане Коханку, в припадке горя (а кто-то говорил, чтобы добыть себе голосов шлях­ты), ходил в костел, где раздевался до пояса, и придворных своих заставлял, и искупал во имя памяти отца свои и его грехи честным бичеванием. Причем все должны были сечь один другого. Пане Коханку, естественно, драл всех и больше всех, его же особенно не осмеливались. А он еще и за покойного Михала Володковича удары раздавал — чтобы душеньке дружка легче на том свете было, а то слухи пошли, будто призрак Володковича часто выгля­дывает из окон Менской ратуши, где нашел суд и смерть, и к патрону своему по ночам является так же регулярно, как лакей за ликером. Во время таких святых процедур участники, подкрепив, естественно, дух красным вином, визжали, вскрикивали, подбадривали друг друга, кто-то и сквернословил. Шум, гам. Curavimus Babiloniam (толчея Вавилонская). В храм лучше не соваться. Добрые христиане украдкой плевались от брезгливости. Сделать из таинства покаяния эдакий балаган!

Объявился пан Михал Богинский, который ради борьбы за виленское воеводство от парчового подола российской императрицы оторвался. Оста­новился он не в доме, где его младшая сестра принимала наивного кавалера. Неподалеку от ратуши неплохой дворец занял, балы не стихали, шляхте еже­дневно, наверное, целого вола скармливали и вина добрую бочку спаивали. Из Полоцка даже бочонок невероятно ценного баторина привезли — меда, что в год закладки королем Стефаном Баторием иезуитского коллегиума отцы-иезуиты поставили. Бочка меда висела в подземельях монастыря, под­вешенная на железных цепях, мед, конечно, доливался — так как за столько лет его бы до остатка высосали. Но заиметь хоть бы кувшинчик баторина ради важной церемонии — честь была неслыханная. Вот тем драгоценным напитком и покоряли сердца шляхты в доме Богинских. Сам пан не очень на питие налегал, говорили, запирался в покоях от отчаяния из-за несчастной любви к императрице и часами играл на флейте и им самим усовершенство­ванной арфе с педалью. Зато жена его, бывшая Чарторыйская, в отчаяние не впадала, не уставала интриговать, в партию Фамилии людей привлекая. О сестрах Богинских в городе не говорили.

Осень понемногу превращалась из золотой в коричневую, серую, влаж­ную, пропахшую дымом и плесенью. Деревья отдавали земле свои последние листья-монеты, будто надеялись выкупить еще один теплый день. Прантиш старательно посещал лекции, даже не прятался от дополнительных занятий в тайной лаборатории. Вот-вот получит диплом магистра философии и воль­ных наук! Усвоил тривиум — грамматику, риторику и логику, а также квадривиум — музыку, арифметику, геометрию и астрономию, что составляло семь искусств. Потом можно браться и за изучение будто бы более низких, но куда как интересных, на взгляд Прантиша, естественных наук, которые отцами-иезуитами пока не очень уважались. Химия, физика, анатомия. Всем этим он и теперь занимался под руководством Лёдника, и тот заверял, что второй диплом Вырвич при желании получит быстро и в какой-нибудь интересной стране. Как сам Лёдник. И приводил в пример магистра Мартина Почобут-Одленицкого, который проявил незаурядные способности к астрономии и едет в Пражский университет.

Вот только никакие дипломы не приблизят простого шляхтича к сестре магната. Острое лезвие невозможной любви, однажды неосторожно допу­щенное к самому сердцу студиозуса, от таких мыслей начинало поворачивать­ся, прибавляя боль к боли, и Прантиш злился сам на себя за такую слабость. Шляхтич сам должен быть как лезвие — беспорочное, крепкое, достойное!

И в камин летел очередной сентиментальный стишок.

Нет, лучше вместо еще одного университета повоевать!

Вырвич начинал уже верить, что история с куклой закончена.

Но однажды, воротившись после долгих и приятных блужданий под окна­ми красотки, на этот раз с улицы, где жили оружейники, Вырвич увидел, что дом Лёдников нараспашку, перед воротами валяется чья-то шапка, будто раздавленная кошка, а Пифагор лает-скулит, как раненый. Вырвич выхватил саблю и бегом бросился в покои.. В зале все было перевернуто, книги валялись на полу, последний номер Лейпцигского научного журнала со статьей профессо­ра Виленской академии Балтромея Лёдника разорван пополам и припечатан грязными подошвами. Сходство с полем боя усиливали брошенные на пол две сабли, к счастью, не окровавленные. Лёдник, побледневший и мрачный, при­жимал к себе Саломею, которая отчаянно всхлипывала, правая рука доктора сжимала саблю. Из-за шкафа слышалось испуганное причитание Хвельки:

— Разве это по-людски — среди белого дня. Вламываться в дом к чест­ным профессорам. Святые угоднички, что же это делается.

Лёдник перехватил вопросительный взгляд Прантиша.

— Не представились гости. Незнакомые, и не самого высокого полета, так, прихлебатели панские. Но не Богинских — потому что требовали, чтобы или рисунок куклы отдал, или куклу починил. А когда присягнул им, что рисунков нет, а автомат починить невозможно, так как утеряна важная деталь, хотели меня с собой утащить. Залфейке угрожали, ироды.

— Ну, и?.. — не выдержал Вырвич. Лёдник скупо улыбнулся.

— Пришлось вспомнить кое-что из бывших навыков. Не убивал, только погнал.

Прантиш хмыкнул, представив, как разъяренный Лёдник учинил напада­ющим маленький Грюнвальд.

— Может, заявить в городской суд? Ты же судью лечишь, вдруг поспо­собствует? — с надеждой спросила Саломея. Лёдник погладил ее по голове и вздохнул:

— Они же не сами по себе приходили, за ними — магнатская сила. Забыла, как Володковича пробовали осудить? Со всего княжества пришлось союзников собирать, да не нашего ранга. Стрелою камень не пробьешь.

Прантиш поднял утерянные злыднями сабли, рассмотрел:

— Гербов нет. Обычные августовки.

— Ой, что его мость пан Балтромей здесь творил! — заныл Хвелька. — Гонял ясновельможных панов, как тараканов. Ой, придут теперь мстить, порубят на кусочки. Вот же пан мой бывший, его мость Малаховский, когда его многоуважаемый сосед.

— Умолкни! — обрубил слугу Лёдник. — Каждому его час Богом опреде­лен, не спрячешься, как мышь под миской. Прибирай лучше в доме.

Прантиш сердито бросил на пол чужие сабли.

— Вот что, Бутрим, давай я скажу своим парням — поселятся здесь со мной. Будем стеречь, как бы чего не вышло! У нас банда — ого! Винцук Недолужный один четверых разбросает.

— А может, съехать в Полоцк? Или в Корабли? — подала голос Сало­мея. — В Полоцке отцовский дом еще не продали. И в Кораблях, гетманом подаренных, домик есть, где эконом живет. В конце концов, тебе же предла­гали место в Пражском университете.

— Чтобы я прятался за спинами студентов? Или сбежал из Вильни, из академии, бросил кафедру? — Лёдник презрительно скривил губы. — Не дождутся. А вот вы, ваша мость пан Вырвич, завтра же переселяйтесь в кон­вент. А тебя, Залфейка, я, пожалуй, и правда отправлю в Полоцк. Посетишь и Корабли — как там твои республиканские реформы действуют у наших подданных в количестве целых двенадцати дымов.

Что на такие предложения ответили Саломея и Прантиш, можно было предвидеть.

Следующий день Прантиш потратил на то, чтобы укрепить профессорский дом на манер настоящего замка. К тому же, если подняться по деревянным лестницам на чердак, в каменной стене были небольшие амбразуры, обычно затыкавшиеся деревянными чурочками. Через амбразуры открывался отлич­ный вид на весь двор. Студиозус подготовил на чердаке ружья, пули, и писто­леты зарядил, и железный штырь приволок, дополнительно запирать ворота. Пифагор очень серьезно выслушал наставления студиозуса насчет более суро­вого обхождения с ворами и весело лизнул молодого хозяина в нос.

— Держали бы тебя, как иные люди посполитые, на цепи, в голоде, да палкой воспитывали — более пользы было бы. — проворчал Прантиш.

Вечера делались все длиннее и темнее, свечей, к возмущению Хвельки, уходило все больше, и Лёдник все дольше задерживался в своей домашней лаборатории, — но не для того, чтобы разгадать загадку восковой куклы, а чтобы наготовить лекарств — и для академической аптеки, и для своих пациентов, и для Хвельковой печени. А еще — от болезни сердца и от аллергии. Прантиш знал, для кого доктор готовит специальные пузырьки с микстурами: для пани Агалинской и ее младшего сына. Профессор, как толь­ко мог часто, встречался с малышом, даже научил грамоте, точнее, заставил нацарапать на бумаге едва читаемое «Александр». И ту бумажку тайно носил при себе, в чем ни за что не признался бы, потому что высмеивал же сенти­ментальность у других.

И снова несчастье случилось, когда немного отпустила тревога. Какой-то батлейщик дернул за веревочки, и куклы подпрыгнули, засуетились в отча­янных танцах. Лёдника и Прантиша переняли по-наглому, просто перед профессорским домом. На этот раз шестеро, у них были безразличные физио­номии наемников, которым не впервой убивать незнакомых людей, к коим у них ничего личного. Но дело есть дело, и они его исполняют хорошо.

Одинокий фонарь создавал совершенную сцену для кровавого действия. Правда, кровь почему-то не пролилась, хотя сабля Лёдника снова мелька­ла взбесившейся ветряной мельницей, а нападавшие не были трусливыми. Несколько царапин — для шляхтича это как паутина прилипла.

Вдруг все окончилось: наемники так же безразлично отступили, разо­шлись. Лёдник застыл с двумя саблями — своей и чужой, обманчиво спо­койный, как черная змея, стремительного броска которой не уследить, Прантиш — спиной к спине профессора — держал обеими руками палаш и даже трясся от желания всех искрошить.

Живописность сцены была оценена: демонстративно хлопая в ладоши, к жертвам нападения подходил приятной внешности молодой пан в немец­ком наряде. Диамантовые пуговицы на модном сером камзоле и перстни на пальцах сияли даже в тусклом свете фонаря, а белые шелковые чулки свиде­тельствовали, что пан не тащился пешком по мокрым виленским улочкам, а приехал сюда в карете.

А насчет приятной внешности — так есть такие лица, которые тяжело описать, они будто предназначены, чтобы вызывать доверие. Таких людей первыми вспоминают, когда прикидывают, кого пригласить на ассамблею или кому поручить что-то деликатное. Внимательные серые глаза под тяжелыми веками могли мгновенно становиться наивно-восхищенными, высоко при­поднятые брови выказывали то хитрость, то фанаберию, то радостное удив­ление. Лицо худое, лоб высокий, с уже наметившимися морщинами, узкие губы с притаенной в уголках рта всегдашней усмешкой. Пан церемонно поклонился:

— Искренне прошу прощения за этот маленький спектакль, но он был необходим по причинам, о которых мы с вами поговорим, надеюсь, в более приятной и безопасной обстановке. Позвольте представиться: генерал-фельд­маршал армии Ее Величества российской императрицы Екатерины Второй князь Николай Васильевич Репнин.

Доктор и студиозус опустили сабли. Племянник всемогущего россий­ского канцлера Панина Николай Репнин был в Речи Посполитой личностью чрезвычайно известной и влиятельной. Несмотря на сравнительно молодой возраст — около тридцати лет — искушенный дипломат, политик и воена­чальник, личный друг Михала Богинского, Станислава Понятовского и мно­гих иных. И коварный, хитрый враг — тоже для многих.

Пифагору российский гость не понравился.

Под злобный лай возбужденного пса его мость генерал-фельдмаршал Репнин потягивал из фарфоровой чашки душистый кофе — сами Лёдники модный напиток не пили, потому что занудный доктор утверждал, будто кофе вреден для сердца, но для любителей держали. Что это за шляхетский дом, где нет ни кофе, ни табака? Табакерка, кстати, тоже присутствовала: золотая, круглой формы, усыпанная изумрудами, с вензелем новой российской импе­ратрицы: гость демонстративно вынул ее из кармана. Такими драгоценными безделушками Екатерина одаривала особо приближенных. Репнин окинул острым взглядом Саломею Лёдник, которая принесла конфетницу с марци­панами:

— Слухи не врут. Ах, как жаль, что вам не пятнадцать лет, моя пани!

Саломея недоумевающе вскинула брови, и гость объяснил:

— Тогда я бы обязательно устроил ваше похищение, научил светскому обхождению и продал вас за бешеные деньги какому-нибудь королю, вы стали бы фавориткой и помогли мне в моих небольших интригах.

Пан Николай умудрялся говорить с такой веселой, добрейшей легкостью, что невозможно было ни возмущаться, ни обижаться, — хотя сказанное не было шуткой. Саломея улыбнулась:

— Значит, мне нужно благодарить Бога, что я достаточно стара.

По лицу Лёдника, такому достойно-каменному, пробежала незаметная для посторонних опасная тень. Репнин, хотя и никакой не красавец со своим худым вытянутым лицом, был удачным охотником на амурном фронте, о его романе с пани Изабеллой Чарторыйской, в девичестве Флемминг, много бол­тали, так что профессор с удовольствием обошелся бы без его комплиментов в адрес жены.

— Может быть, мы все-таки перейдем к делу, Ваша светлость?

Репнин непринужденно отхлебнул кофе, отставив мизинец с длинным

полированным ногтем, и мечтательно уставился на нарисованного Аристо­теля, будто в позолоченной раме красовался не мрачный старый философ, а полуобнаженная Диана.

— Ах, эти дела. И серьезный подход к ним. Юмор — вот что спасает человечество от взаимного уничтожения, ибо невозможно убить того, кто тебя рассмешил. А вы такой серьезный, пан профессор. Я долго собирал о вас сведения.

— Зачем, ваша мость? — вежливо поинтересовался Лёдник, которому не впервой было поддерживать светский разговор, напоминающий путь корабля между смертельно опасными рифами.

— Вы мне нужны, — весело пояснил Репнин. — Вы православный, при­чем не боитесь исповедовать свою веру. Не связаны по сути вассальной клятвой ни с каким магнатом. Владеете достаточными знаниями и проницатель­ностью, чтобы выполнять деликатные поручения. Мне оставалось проверить, можете ли вы защитить себя, — извините, но в рассказах о вашем фехтоваль­ном мастерстве можно было заподозрить большую долю сказочности. Что ж, то, что я увидел, впечатляет — вы на пару со своим учеником представляете собою достаточно грозную силу. При том, что она не бросается в глаза, что при. деликатных поручениях является важным качеством.

— С чего вы взяли, что мы будем на вас работать? — не выдержал Прантиш, которому один из наемников генерала порезал рукав новехонькой свитки.

— А куда вы денетесь? — обаятельно усмехнулся посол. — Сами поду­майте — времена терпимости здесь заканчиваются, вас, пан Лёдник, не оставят в стенах академии, коя контролируется иезуитами. Свято-Духов монастырь, куда вы ходите, и госпиталь при нем скоро закроют. Как и другие православные храмы. А схизматиков начнут преследовать как преда­телей, врагов. В стране есть люди, которые не хотят подобного допускать, и думаю, совесть заставит вас к ним присоединиться. У вас есть и личные могущественные враги, к тому же вы снова оказались посвященным в очень опасную тайну. Ну и кроме того — я знаю вашу маленькую слабость, пан Лёдник. — Репнин поставил чашку на стол и побарабанил пальцами по столешнице из черного дерева, отбивая такт мазурки. — Вы не можете удер­жаться перед возможностью заиметь новые уникальные знания. Тем более, если это будет оплачено и обосновано благородной целью.

— И что вы мне хотите поручить, Ваша светлость? — Лёдник по-прежне­му был совершенно спокоен, но от его усмешки тянуло холодом.

— Ну, скажем, прокатиться по окрестностям Лондона — вы же там быва­ли, не так ли, имеете полезные знакомства? И поискать там одну вещь. Вы знаете, о чем я говорю. Вы видели рисунок, исполненый одним красивым автоматом. На нем отображено сложенное из каменных глыб строение с над­писью над входом «Victoria ferrum luce». И вы догадались о наследии таин­ственного доктора Ди.

Лёдник бросил уничтожающий взгляд на болтливого студиозуса, тот покраснел. Значит, пан Михал Богинский был не менее болтлив, нежели сту­диозус, и все, что выведала для него сестра, передал российскому приятелю.

— Вы действуете в интересах его мости князя Богинского или в интере­сах Ее Величества императрицы, Ваша светлость? — с заметной язвительнос­тью уточнил профессор.

— Какая вам разница, дорогой доктор? — ответил князь не менее колко. — Вы, извините за сравнение, щепка, попавшая в сильное течение, хоть, возможно, и считаете себя могучим кораблем.

Лёдник не обратил внимания на обидные слова.

— В любом случае, должен предупредить, что многие чудеса, связанные с именем доктора Ди, не более чем миф.

— Шарлатанство, мой друг! Чистой воды шарлатанство! — весело согла­сился Репнин. — Все эти зеркала, в которых показывается будущее, волшеб­ные кристаллы, язык ангелов — только средство содрать деньги с доверчивых дураков и сделать карьеру при дворе. «Волшебное оружие», если не нахо­дится в руках фокусника, будет абсолютно бесполезным, подобно зеркалу, хранящемуся у графа Питерборо. Да, я держал в руках то зеркало — уверяю, что это простой кусок угля.

— Тогда зачем вам добывать артефакты, Ваша светлость, если они всего только инструментарий фокусника? — резонно спросил Прантиш, который изо всех сил стремился перенять суховато-насмешливый светский тон собе­седников.

Репнин фыркнул, как кот, выпачкавший нос в сметане.

— Имеют силу не вещи, а вера в эту силу. Давайте я расскажу вам одну сказку, мои друзья. — Князь откинулся на спинку кресла, хитро прижмурил глаза. Где-то во дворе наконец утих Пифагор, будто и он захотел послушать.

— Один большой вельможа, власть которого была не меньше, а возможно, и больше королевской, навестил Краковский монастырь. — мягким голосом начал князь. — Приняли там вельможу лучше, чем короля. Показали все реликвии монастырской сокровищницы. Среди них даже тайный экспонат, к которому не допускали никого, считалось, что с ним связана какая-то дья­вольщина. Это были рыцарские латы — тяжелые, стальные. И разрезанные точно пополам, как кусок масла ножом — начиная от шишака шлема. Срез ровнюсенький и оплавленный, как от высокой температуры. Вельможа очень заинтересовался, где бы достать такой меч, способный легко разрезать зака­ленную сталь. И выяснилось, что это сделано совсем и не мечом — в нашем обычном понимании. А двести лет назад приехал в Краков ангелец, ученый доктор, вольнодумец и алхимик, который некоторое время прятался в Польше от неприятностей. Тот ангелец был выдающимся ученым и даже давал коро­лю Жигимонту уроки математики. А еще любил поражать публику разными фокусами, показываемыми с помощью зеркал. Привидения вызывал, застав­лял предметы исчезнуть. А однажды заявил, что ангелы подсказали ему, как сделать огненный меч. Доктор сделал из нескольких зеркал разной формы и деревянных щитов специальный большой ящик, поместил туда рыцарское снаряжение. Направил солнечный луч в специальное отверстие, и. раз! Из ящика достали разрезанные пополам латы. Публика охает, доктор горделиво объявляет, что если ему дадут возможность и деньги, он создаст такое оружие, что вражеское войско срежет, как косою. Но вместо восхищенных криков и кучи золота встретился с обвинениями в колдовстве. Собрал свои манатки, зеркала и съехал в Ангельщину. На прощание, однако, пообещал, что придет время, когда его изобретение оценят, а ради этого он спрячет его в надежном месте и обязательно передаст врагам польского короля.

— Почему вы думаете, Ваша светлость, что тот доктор в действитель­ности не изобрел чудодейственного оружия? — поинтересовался Лёдник. — Если было эмпирическое доказательство — рассеченная сталь.

— Вы лучше меня знаете, пан профессор, как можно заранее располови­нить латы и как с помощью системы зеркал подменить ими целые, — про­молвил князь. — Почему, кроме этих лат, огненный меч не испытан боль­ше ни на чем? Почему не упали все ниц перед его владельцем? Но наш современник, вельможа, с которого началась сказка, этими вопросами не заинтересовался, а просто захотел получить волшебное оружие. Золото доведет и до покинутого Эдема. Вот только вход туда не купишь. Вельможе доложили, что есть завещание создателя меча ангелов. Но доктор ничего не делал просто и по-людски. Он создал куклу, которая умела рисовать. И перед смертью отладил ее так, чтобы рисовала место, где покоится его изобретение. Куклу вместо документа завещал шведскому королю. Но король от дьявольского подарка отказался, и тогда куклу сожгли. Остался только механизм, который, как чудесный экспонат, показывали в шотланд­ском замке. Наш вельможа не пожалел денег, механизм выкупил и заказал, чтобы куклу восстановили в Швейцарии. Вот только увидеть результат своих хлопот не успел — умер.

— Так ведь великий гетман успел получить автомат! — уточнил Прантиш.

Репнин постучал пальцами по своей табакерке.

— А кто вам сказал, ваша мость, что герой моего рассказа — великий гетман Михал Казимир Рыбонька? В действительности я говорил о его брате, Герониме Радзивилле.

Лёдник и Прантиш нахмурились, а Саломея закрыла лицо тонкими рука­ми: в слуцком замке Геронима Жестокого им всем пришлось немало пере­жить. Заключенная в башне Саломея по приказу князя вынуждена была выдавать себя за Сильфиду. Лёдник и Прантиш, отправившиеся выручать ее, сами стали узниками подземелий.

— Значит, его мость Михал Казимир Рыбонька выкупил заказанный бра­том автомат. — пробормотал доктор. — Но, как я наблюдал, он очень не любил всяческих ведьмарских штуковин. Видимо, и не хотел, чтобы кто-то воспользовался подозрительным оружием. Особенно сын. А может, просто значения этой штуковине не придавал — вот и отписал мне.

Прантиш сердито фыркнул, отметив про себя, что в окружении его мости пана Кароля Радзивилла кое-кто, однако, очень хочет использовать тайну.

— Так вы не пояснили, Ваша светлость, зачем нам ехать за каким-то шар­латанским приспособлением, от коего никакого толку?

Репнин рассматривал свои перстни, будто впервые их видел.

— Повторяю: имеют силу не вещи, а вера в их силу. Пока уважаемый князь Михал Богинский будет ждать, когда ему доставят из-за моря-океана, с острова Буяна чудодейственное оружие, с коим он победит всех и станет королем и мужем императрицы, он будет играть себе на кларнете, рисовать натюрморты с персиками и совершенствовать театральные машины. И это лучшее для нашей ситуации. Дорогу вам оплатят, друзья мои.

— Дорогу куда, ясновельможный князь? — не выдержал профессор. — Мы не установили место нахождения пещеры!

Гость снисходительно улыбнулся.

— Найдете вы что или не найдете, знаете точно, куда ехать, или нет — на вознаграждении это не отразится. Главное, тот человек, которого пан Богинский с вами пошлет, не должен сомневаться в важности поручения и точности ваших сведений и будет регулярно сообщать о напряженных поисках своему сюзерену.

Вот оно что, кто-то от Богинских. Сразу вспомнился светловолосый гигант Герман Ватман, телохранитель князя Михала Богинского, который несколько раз спасал жизни былого алхимика и его молодого хозяина и несколько раз пробовал их убить — в соответствии с полученными приказа­ми.

Лёдник решительно отодвинул пустую чашку, на фарфоровых боках коей мчались синие фрегаты с гордо натянутыми парусами.

— Боюсь, эта миссия для меня слишком тяжела. Очень не хочется разо­чаровывать ясновельможного пана, но я слишком стар и слишком мало знаю о цели нашего путешествия. А его мости пану Вырвичу нужно учиться. Поэтому...

— А вы подумайте, подумайте, пан профессор! — Репнин ни на мгнове­ние не потерял доброжелательного выражения лица. — В не таком далеком будущем академия сделается целиком светским университетом, со всеми положенными кафедрами, с отдельным медицинским факультетом. Пона­добятся новые специалисты, новый ректор. Почему бы вам не занять эту должность? У вас авторитет, прогрессивный склад ума, знания. А насчет схрона — вы же гений, вы догадаетесь, вычислите.

Когда колеса кареты, в которой отбыл неожиданный гость, грохотали по мостовой уже где-то за Острой Брамой, Саломея нарушила угнетенное мол­чание, господствовавшее в комнате:

— Значит, российцы поставили на пана Станислава Понятовского. А мы снова — как пешки. Никуда я не отпущу тебя, Фауст, даже если возжаждешь приключений.

Вырвич подхватился:

— А почему бы не воспользоваться возможностью посмотреть мир?

— Забыл, как пан Богинский посылал нас в полоцкие подземелья? С тай­ным приказом своему наемнику перебить нас по окончании дела? — сурово спросил Лёдник. — Нашел кому верить. Николай Репнин — царедворец, ради своих целей он не брезгует никакими средствами. Сколько наших маг­натов перессорил между собой с такой же доверчивой улыбкой.

Профессор утомленно потер рукой лоб.

— История — сумасшедший, который нарезает круги по периметру своей камеры, не замечая, что ступает по собственным следам. Август Сильный тоже натравливал магнатов на магнатов. Литвинские войска упразднял, штандарты их ломал. Война началась между Короной и Княжеством, епи­скоп Ян Хризостом Желуский писал, что «исчезли в Литве право, справед­ливость, стыд; все подлежит мечу, управляет сильнейший, порядок заменило дикое своеволие. Бояться нужно, чтобы за такое угнетение шляхты, хотя и не быстро, не наступила бы кара Божья.» И теперь, чувствую, что-то подобное созрело. Имел я недавно разговор с одним своим пациентом. Тот искренне меня предостерегал в ближайшее время не примыкать ни к каким полити­ческим партиям. Будто бы этой осенью Чарторыйские с Фамилией готовят государственный переворот. Но в Петербурге на их планы смотрят искоса, хотят своими силами короля нам посадить. Вот и пошли интриги. Завтра отчитаю лекции, проведу сложную операцию, а в воскресенье отправимся с утра в Полоцк. А там видно будет.

Пока что виден был только портрет Аристотеля, три пустые чашки с синими кораблями на столе и перепуганное лицо Хвельки, что выглядывал из приоткрытых дверей.

Глава шестая

Страшная присяга Лёдника

Наверное, каждому случалось увидеть во сне что-то такое, чего он в жизни никогда не встречал, только слышал. А здесь — на тебе, будто бы не сон, а воспоминание.

Прантишу снилась пальма.

Такая, как на рисунке в книге по географии. С длинным мохнатым ком­лем, с пучком листьев наверху, похожих на папоротник.

Вокруг был ровненький песочек. Хоть сейчас могилу копай.

В соответствии с сонником, в который заглянул Прантиш, как только про­снулся, — сонник был потрепанный, с вырванными страницами, и остался в этом доме еще от бывших хозяев, даже не претендуя на место рядом с много­мудрыми солидными томами новых жителей на основательных полках, — пальма в сновидениях означала осуществление самых тайных желаний. Но осуществиться они могли, только если ты отдашься на волю судьбы, как отдается волнам пассажир затонувшего корабля, которому повезло уцепиться за доску.

За окном, однако, не пальма раскачивала желтой головой, а здешний молодой клен — возмущенно отбивался растопыренными ладонями от мокрых поцелуев приставучего осеннего дождя.

Клен виднелся нерезко через запотевшие стекла. Так и хотелось начер­тить на них пальцем магические формулы, запечатывающие покой и счастье в доме, не давая им испариться. В отличие от большинства горожан, которые, чтобы не терять тепло и экономить дрова, конопатили окна намертво, доктор Лёдник приказывал в своем доме все окна периодически распахивать для притока свежего воздуха, полезного здоровью. Но это же доктор, чудак и чародей.

Прежде чем увидеть пальму, Прантиш полночи ворочался и думал о Полонее Богинской. Догадывается ли она, что приятель ее брата, потенци­ального короля, на самом деле действует ему во вред? Прантиш мог бы ее предупредить — но не заслужила коварная красавица! Интересно, где она сейчас. И с кем.

После завтрака — быстрого и мерзко полезного — гречневая каша, отвар­ная говядина, простокваша, — пани Саломея начала упаковывать вещи, под­гоняя заспанного Хвельку. Ему сколько бы ни удалось поспать, всегда было мало, так бы и не вылезал из постели. Разве что подкрепиться. Хвелька оправдывал свою медлительность больной печенью, а Лёдник объяснял при­рожденной ленью, коя возникает от преимущества в организме флегмы. Но разгонять флегму Хвелька был согласен только горелицей, а этого безжалост­ный доктор не допускал, — мол, напьешься здесь — похмеляться будешь у праотца Авраама, так как печень посадил конкретно на службе у щедрого на выпивку бывшего хозяина.

Во время лекции по логике Прантиш на последней скамье аудитории выиграл у Недолужного в кости три шелега, за которые теоретически можно было бы приобрести трех профессоров Лёдников... Но и одного казалось слишком, чтобы он облез неровно, как говорит Недолужный. Временами Вырвич вспоминал своего отца, пьяницу и буяна на весь повет, и думал, что вряд ли он одобрил бы сыновьи занятия. Отец бы сидел сейчас не на лекции, а среди шляхтичей за поминальным столом и спорил, кто более достоин быть воеводой виленским, пан Михал Богинский или пан Кароль Радзивилл, а после спора на словах схватился бы за саблю. К досаде горожан, стычки между шляхтой, съехавшейся в Вильню, делались все более частыми и кровавыми, соответственно количеству выпитого вина. Вот и сегодня студенты передавали друг другу, какая страшная про­изошла вчера баталия прямо на площади перед ратушей — десять вояк погибло, а раненых так втрое больше. Среди последних — несколько горо­жан, которым не повезло проходить рядом. Эх, вот где настоящая жизнь, а не в этих аудиториях!

А потом Прантиш представлял, как он, опьяненный дурманом боя, уми­рает на виленской мостовой. И ради чего, получается, он отдал жизнь, кого защищал, кому показал героический пример?

...Упакованные сундуки стояли посреди комнаты. Лёдник взвешивал в руках тяжелый томик, взятый из «лишней» стопки, прикидывая, может, все-таки хоть его еще втиснуть в котомку.

Вдруг в ворота со всей дури громыхнули. Это уже напоминало древнегре­ческую комедию, в которой пьяные гости никак не могут разойтись по домам, кружат и все равно возвращаются к усталому и объеденному хозяину.

— Не шляхетский дом, а какая-то придорожная корчма! — раздраженно верещал Хвелька. — Вот у его мости пана Малаховского.

Но в ворота загрохотали так, будто кто-то напоил медовухой целое стадо зубров, и теперь они исступленно разбегаются и лупят рогами в дерево. Хвелька тихо пискнул и побежал прятаться.

— Стой! А ну-ка к тому окну, фузею бери! — скомандовал трусу Прантиш, который давно готовился серьезно встретить очередных нападающих, и полез на чердак, к амбразуре. Лёдник также схватил пистолеты. Во дворе Пифагор, похоже, вцепился кому-то в голень — так как послышался крик боли и визг бедной собаки, которой перепало за верность. Это был плохой знак, означало, что незваные гости перебрались через забор. И правда, грох­нуло на этот раз прямо в двери дома. Голоса сливались в угрожающий гул. В окнах мелькали тусклые силуэты, что по одному переваливались через камен­ную ограду, — неужели открыли то место, которым пользовался для таких же целей сам Вырвич?

— Стойте, ваши мости! — звонко выкрикнул Прантиш в амбразуру. — Остановите наезд, или, видит святой Франтасий, угощу пулями!

В доказательство своих слов Прантиш выстрелил. Что-что, а стрелять он наловчился лучше Лёдника, фехтовальщика несчастного. Пуля должна была попасть в верхнюю часть ворот — ее послали не убивать, а попугать. Голоса на улице зазвучали громче. Прантиш еще раз выстрелил, и гости шарахнулись назад. Ничего, не сотня, и даже не дюжина. Пощиплем перья сизоворонкам. Но одна фигура отделилась от толпы и взбежала на крыльцо.

— Открывай, доктор! Имею вести о пани Агалинской и ее сыне! Ты знаешь, кто я! Я войду один, слово чести! Мне нужно только поговорить. Открывай!

Голос был в такой степени ярости, когда звучит на пределе отчаянного крика. Побледневший Лёдник застыл на месте, потом крикнул Прантишу:

— Отведи в дальнюю комнату Саломею. Запри и стереги. Быстрее! Залфейка, поверь, так нужно! Прошу тебя, сиди тихо, не подслушивай и не пробуй вмешаться!

Пани Лёдник хотела возразить, но что-то в голосе мужа было такое, что спорить не приходилось, — таким голосом доктор разговаривал во время сложных операций. Однако Вырвич, как только проверил, что пани Саломея в безопасности, бегом вернулся назад. Лёдник успел уже отпереть дверь.

В помещение ввалился широкоплечий шляхтич лет тридцати с красивым надменным лицом: синие глаза излучали презрение, светлые усы с рыжинкой воинственно топорщились. Но самое устрашающее — на пане была одежда альбанца, а за каждым из банды стояло их грозное братство во главе со все­могущим Пане Коханку. У альбанцев был даже свой внутренний суд — иных они не признавали. И за предательство могли осудить кого-то из своих на смерть — и тот должен был покорно принять это и драться на дуэли по оче­реди с каждым, пока не осуществится приговор.

Альбанец смотрел на профессора Виленской академии, как на вредную козявку, которую можно только брезгливо раздавить. Правая рука сжимала саблю так, что косточки на руке побелели. Нужно было быть Лёдником, чтобы при этом сохранять внешнее спокойствие.

— Чем обязан визиту в свой скромный дом ясновельможного пана Гервасия Агалинского?

Прантиш вздрогнул: вот оно что, это младший брат Лёдниковского кре­дитора! Кто бы мог подумать, что у красномордого толстяка такой воинствен­ный брат! Хотя, если присмотреться, можно заметить фамильное сходство: рыжеватые волосы, широкие нервные ноздри, светлые глаза, в которых легко загорается огонек бешенства, упрямый раздвоенный подбородок.

— Скажи, Бутрим, как бы ты обошелся с человеком, который подло опо­зорил и уничтожил самое дорогое, что ты имел? — голос гостя был устра­шающе тихим. О-ёй, спрятали мельницу за кустом. Вырвич осторожненько оголил саблю.

— Не знаю, о чем вы, ваша мость, — промолвил Лёдник. — Вы говорили, что у вас есть сведения о пани Агалинской.

Пан с ненавистью процедил сквозь зубы:

— Конечно, есть. Нет ясной пани Гелены уже на этом свете. Два дня, как нету.

Лёдник прерывисто вздохнул, будто ему пережало горло, помолчал, пере­крестился.

— Как случилось это страшное несчастье?

Агалинский оскалил зубы в подобии улыбки.

— И ты еще спрашиваешь, мерзавец? Это же ты убил ее! Узнаешь?

И сыпнул на пол из кармана несколько разноцветных пузырьков — в такие Лёдник обычно разливал свои микстуры. Пана даже трясло от презре­ния и ненависти. Профессор выдержал его взгляд.

— Я никогда бы не причинил вреда пани. Я передавал ей лекарства от болезни сердца. Могу присягнуть, что они безопасные, могу сам выпить все, что осталось.

— Не сомневаюсь, что это были хорошие лекарства! — Агалинский, мягко ступая в желтых сафьяновых сапогах, прошел вокруг Лёдника, пре­небрежительно разбрасывая ногами пузырьки. Вырвич внимательно следил за каждым его движением, чтобы не пропустить направленный в профессора сабельный удар.

— Конечно, ты старался угодить своей пани. Такой красивой, такой доброй. Такой доверчивой. Ты убил ее, когда соблазнил!

Выкрикнув последние слова со всей силой гнева, Агалинский толкнул профессора в грудь так, что тот, не сделав и попытки защититься, отлетел к столу, на котором от столкновения все попадало. Лёдник удрученно молчал, опустив взгляд. Вырвич тоже растерялся — здесь дело чести, вмешиваться неуместно. Меж тем Агалинский снова приблизился к Лёднику, не вынимая саблю из ножен.

— Что ты сделал с ней, проклятый ведьмак? Чем опоил? — вдруг пан всхлипнул, голос его задрожал от настоящего горя. — Я же на нее молился! Когда мой пан брат женился, я был не старше этого парня, — Агалинский кивнул в сторону Прантиша. — Я смотрел на свояченицу, как на Мадонну, прости меня Боже! Какую борьбу я вел с собой, чтобы отогнать греховные мечты, чтобы даже в мыслях не оскорбить святое таинство брака собствен­ного брата. И мне не в чем себя упрекнуть! И тут появляешься ты, холоп, мерзкий чернокнижник, и склоняешь ее, свою пани, к смертному греху! И теперь наш шляхетский род воспитывает твоего выродка! Который носит наше имя!

Агалинский еще раз толкнул Лёдника. Тот глухо проговорил:

— Я был бы счастлив сам воспитывать его и дать ему свое имя.

— Мерзвец! — губы Агалинского кривились от презрения, а глаза побе­лели от гнева. — Ты смеешь ставить себя рядом с Геленой Агалинской из Агареничей! Мало тебе было всего этого — так надо появиться сейчас, вва­литься в опозоренный тобою дом, возиться с ребенком, слать свои паршивые бутылочки! Неужели ты думал, что моему брату не расскажут об этом? Не знаю, почему он до сих пор ни о чем не догадался, бедняга — доверчивая натура, да еще все время страдал глазами, не по твоей ли милости почти ничего не видел, иначе давно бы и сам убедился, что в его гнездо подкинули чужого птенца. Когда мой пан брат узнал о позоре — он пошел к жене. И никто не осудит его за гнев. Потому что свершился Божий суд — ее сердце не выдержало справедливых упреков.

Прантиш представил, какими могли быть те «упреки» от гневливого толстяка Агалинского, пьяного как извозчик. Вспомнил светлые прядки, что выбивались из прически пани Гелены, будто легкий дымок. Ее плавные движения, горделивую шею, горький рот.

— Думаешь, это все, что ты наделал? — пан Гервасий цедил слова сквозь зубы. — Мой благородный брат, увидев смерть преступной своей жены, в отчаянии пошел сообщить мне, что произошло, и попал в большую драку у ратуши, где проявил достойное рода Агалинских геройство, но был коварно убит. Конец славной шляхетской семьи из-за безродного похотливого слуги!

Агалинский страшно захохотал, и Прантиш на всякий случай подвинулся ближе со своей саблей.

— Я готов расплатиться с паном, как он пожелает. — глухо промолвил профессор, опустив голову. — Только пусть из-за того ужаса, что произошел, не страдает ребенок. Мальчик ни в чем не виноват. Стоит ли кричать всем о его происхождении и пятнать память пани Агалинской и вашего брата?

— В этом я с тобой соглашусь, паршивец, — проговорил гость. — Позор моего брата должен остаться тайной. Но я, как опекун своих племянников, позабочусь, чтобы твой выродок впредь жил в месте, которое больше соот­ветствует его происхождению.

Губы Лёдника задрожали, но голос был ровным.

— Можете сделать со мной все что угодно, только не вымещайте гнев на ребенке.

— Значит, ты соглашаешься, чтобы я убил тебя выбранным мной спосо­бом? — весело-ненавидяще переспросил пан Гервасий.

— Да, ваша мость, — холодно ответил профессор. — Как и когда вам удобно.

Тут Вырвич не выдержал.

— Ваша мость пан Агалинский, вы имеете право на сатисфакцию, и никто вам в этом не возражает, но пан Лёдник — шляхтич, и вы должны вызвать его на дуэль. Свои оскорбления шляхтичи смывают с помощью сабли!

Агалинский взглянул на Прантиша, как собака на отруби.

— А ты кто?

— Прантасий Вырвич из Подневодья, герба Гиппоцентавр! Потомок Палемона! — с вызовом ответил Прантиш. Гость вежливо поклонился.

— В более приятных обстоятельствах сказал бы, что рад познакомиться с паном. Но сейчас приятностей быть не может. Паршивец Балтромей должен ответить за свое страшное преступление. Драться с ним? — альбанец фыр­кнул. — Чтобы я скрестил дедовскую саблю с саблей в руках холопа, слуги моего брата? Ни за что! Но кроме его мучительной смерти, иной расплаты я не приму. А я еще жалел его в свое время! Перед братом заступался — ученый человек, нельзя его мучить. Ну почему мой брат не сгноил тебя на цепи в подвале! — гость со свистом втянул воздух сквозь зубы, пытаясь успокоиться. Прантиш не мог понять, почему пан Гервасий себя так сдерживает, — видно же, что в горячей воде купаный, да гнев сквозь уши выливается. Но у пана явно имелся какой-то план.

— Единственное, что ты, Балтромей, еще можешь сделать в своей пога­ной жизни, — решить судьбу младшего сына пани Гелены. На что ты готов ради того, чтобы эта судьба была приемлемой?

— На все! — твердо сказал Лёдник.

— Ну что же, тогда у меня есть для тебя задание. — пан Гервасий неспешно прошелся по комнате, потыкал носком сапога в сундук с книга­ми. — Съезжать собрались? Тогда меньше времени потратите на сборы. Зав­тра мы отправляемся за огненным мечом. И не делай вид, поганец, что чего-то не понимаешь и не знаешь. Приведешь меня к аглицкой пещере, найдем там что-то или нет, — я после возвращения навсегда забуду, что пан Александр Агалинский — не мой племянник, и позабочусь, чтобы никакие сплетни не портили ему жизнь. Он получит все, что должен получить наследник нашего славного рода. Даю слово. Я поеду с вами. И по дороге не пробуй от меня избавиться — если любишь сына. А ты должен присягнуть, что умрешь от моей руки, когда я посчитаю нужным.

— Шляхтичу не к лицу ремесло палача! Ваша мость должен вызвать пана Лёдника на дуэль! — в отчаянии кричал Прантиш, понимая, что его не услышат.

— Даю слово, клянусь перед Богом всемогущим и святыми угодниками отдать себя в руки вашей милости по первому требованию! — твердо вымол­вил доктор и перекрестился.

Прантиш устало уселся на диван, чувствуя свою беспомощность. Конеч­но, Лёдник вел себя как единственно возможно для человека чести, но было во всем этом что-то очень неправильное. Искусственное. События напо­минали пьесу Шекспира, современника доктора Ди, страстей и смертей было даже слишком. Но пан Агалинский приблизил свое лицо к лицу Лёдника, схватив того за ворот, и с жуткой улыбкой весомо и медленно проговорил:

— Ты думаешь, я дам тебе умереть легкой смертью? Ты — подлый холоп. И должен уйти как холоп. Я лично забью тебя плетью.

Лёдник не изменился в лице ни черточкой.

— Как будет угодно вашей милости.

На прощание пан Агалинский так наподдал ногою стопке книг, которые не поместились в сундук, что те разлетелись по комнате, будто хотели спря­таться.

Прантиш боялся глянуть на профессора, который в изнеможении уселся в кресло, а на его ссутуленных плечах будто лежала тяжесть небес. В конце концов, и на Прантише была вина — это же он вывернул деталь из Пандоры и тем лишил других возможности получить рисунок. А потом проговорился Богинской, что они с Лёдником сделались хранителями тайны.

— Ничего не говори Саломее. — хрипло промолвил привычную фразу Лёдник, медленно встал и, как слепой, двинулся в кабинет. Вырвич не решил­ся его задерживать.

Когда доктор заперся в своем научном схроне и в своем горе, в доме уста­новилась тишина, и она показалась Прантишу такой тяжелой, такой гнетущей, что он не выдержал и выбежал из профессорского дома, будто из проклятой пещеры, в которой только что обнаружилось логово дракона. Нужно было все спокойно обдумать. И пускай оконная ниша полуразрушенной стены старого замка — не лучшее укрытие от дождя и холода, но здесь были воля и уединение. Прантиш прислонился спиной к мокрым кирпичам и обхватил голову руками. Так, значит, всем нужно, чтобы профессор Лёдник поехал за каким-то изобретением древнего доктора. И российскому послу Репнину, и пану Каролю Радзивиллу, и князю Богинскому. Вопрос: откуда пан Кароль знает, что доктор почти раскрыл тайну Пандоры? Его посланцы выкрали Пан­дору, убедились, что она не работает. Значит, кто-то рассказал, что кукла перед этим все же нарисовала завещание аглицкого доктора. Ну не пан же Богинский проговорился Радзивиллам и не его сестра. А скорее всего, князь Николай Репнин провернул очередную дипломатическую операцию — ней­трализовать политические фигуры, поссорив их меж собою и подсунув вме­сто реальной и близкой фантастическую и недостижимую цель. Вырвич как наяву услышал голос генерала-фельдмаршала: «Советую вам подождать, мой пан, представьте только, как быстро и победно вы достигнете цели, если в ваших руках окажется всемогущее оружие! О вас сложат легенды! Все короли склонятся перед вами. Зачем же теперь тратить силы?»

А пока Радзивиллы и Богинские выжидают, можно укреплять свое­го кандидата на трон... А когда реликвия не достанется никому, опять же, можно втянуть претендентов в битву, намекнув, что соперник перехитрил, помешал... Еще бы киевского воеводу Потоцкого сюда приплел да коронного гетмана Броницкого, которые тоже на трон целятся. И не забыл заинтере­совать оружием доктора Ди тех, кто ставит на сына Августа Саса. Пусть бы все вообще в Речи Посполитой подрались да перебили друг друга за тот дьявольский меч!

При любом раскладе доктор Лёдник (а заодно и его спутники) сделаются ненужными свидетелями.

Но ведь доктор и так должен погибнуть.

Правда, Прантиш как-то отодвинул мысль о его страшной присяге подаль­ше — пан Гервасий трогать доктора не станет, пока тот не добудет артефакт. А до этого сомнительной вероятности события столько случится!

Прантишу вдруг стало жарко от неприятной догадки: если князь Репнин собирал сведения о Лёднике, конечно же, рассказал и о его визитах к пани Агалинской и маленькому Александру. Среди прислуги точно непристой­ные слухи ходили о пани и ведьмаке-лекаре. А донести эти слухи до пана Агалинского — если уж все ближние до сих пор побоялись — помогли со стороны, чтобы доктора прижать. Ни деньгами, ни страхом смерти его не согнуть, а чувство вины и ответственность за судьбу сына — самая луч­шая цепь.

А дальше Прантишу стало еще более неловко. Потому что пришла в голову еще одна очень простая мысль: а что было бы, если б разъяренный пан Агалинский не погиб в случайной драке? А что, если не к брату он шел, не к властям сообщить о смерти жены, а перся разбираться с доктором, который наставил ему рога высотой с астрономическую башню? А доктор нужен для интриги живым и здоровым. А учинить заварушку среди пьяной шляхты да втянуть туда ошалелого от злобы и вина подслеповатого пана — соломину тяжелее переломить. В исходе судьба доктора и его сына в руках пана Гервасия. Который, правда, не очень похож сам на опытного интригана, — но ведь им же есть кому управлять. Он альбанец, а это значит, до конца предан Пану Коханку, а тот во всем теперь слушается хитроусого пана Богуша, напрасно пытаясь заменить им расстрелянного Володковича. А князь Репнин со всеми приятельствует, всем может тайно «помогать». И валите вы, дорогие литви­ны, искать в странах далеких оружие чудодейственное, что поспособствует вам перебить друг друга да наладить порядок в своей стране, а мы пока его и так наведем. На свой вкус.

Ветер сыпанул в лицо Вырвичу мокрые холодные капли, сбитые с кустов, на которых трепетали только отдельные узкие листочки, как желтые рыбеш­ки. Погано быть маленькой рыбешкой, над которой кружат голодные щуки.

Но всегда есть шанс, что хищники перегрызутся между собою раньше, чем съедят рыбешку.

Прантиш зажмурил глаза: пахнуло ветром дальних странствий. А это наи­лучшее средство победить тоску и забыть обо всех проблемах!

В доме с зелеными ставнями Прантиша встретила встревоженная Сало­мея, ее огромные синие глаза покраснели от слез.

— Бутрим заперся в кабинете, не отзывается. А недавно письмо принес­ли.

Вырвич схватил конверт и подошел к свече, чтобы полуше рассмотреть. На печати красовался герб Агалинских, знакомый Прантишу еще по собы­тиям трехлетней давности: именно такой герб, только забрызганный грязью, красовался на двери кареты, приостановившейся около беглого школяра Вырвича на дороге из Менска в Воложин. И пан из кареты предложил шко­ляру купить у него за шелег ценную вещь, а этой вещью оказался мрачный алхимик, которого теперь нужно было как-то спасать из безупречно подстро­енной ловушки.

Интересно, додумался ли мозговитый профессор до тех же выводов, к коим пришел студиозус, или так углубился в горе и чувство вины, что не спо­собен на логические выкладки? Прантиш приник глазом к отверстию в двери профессорского кабинета. Доктор сидел за столом, уставившись в листок бумаги. Вырвич догадался, что это заветный листок с начертанным на нем детской рукой именем «Александр».

Прантиш для приличия постучал в дверь профессорского кабинета и громко рассказал о письме, подчеркнув, что прочитать нужно немедленно. В ответ — молчание.

— Ну, значит, я сам прочитаю, хорошо?

Молчание. Будем считать, что это согласие.

Содержание письма было простым и лаконичным. Доктору Балтромею Лёднику в следующий понедельник следовало отправиться в путь. Пан Герва­сий Агалинский заедет за ним утром. Пани Саломея Лёдник должна остаться в Вильне и никуда не отлучаться. Прантиш понимал, им нужна была залож­ница, — чтобы доктор обязательно вернулся.

Короче, оставалось снова увидеть во сне пальму — потому что ничего иного, как отдаться на волю рока, не придумаешь.

Глава седьмая

Вырвич и Лёдник на проклятой мельнице

Где дороги, там и ямы. Индусы, кстати, объяснили бы, что Яма — имя бога подземного царства, владельца четырехглавых собак, что невидимыми бродят среди людей, высматривая их грехи. В одной руке Ямы — дубинка, с помощью которой бог индуистским своим способом вынимает душу из тела.

Здешние ямы тоже могли вынуть душу из тела — легко. Однажды в юности пан Михал Богинский, только возвратившись на родину из Франции, кувыркнулся вместе с каретой в такую лужу на литвинской дороге, что едва вытащили, и после этого взялся приводить в порядок тракты в своих владени­ях, так что злосчастная ямища очень даже поспособствовала простому люду. А вот видеть дорожную яму во сне — это значит наяву будешь иметь плохих попутчиков.

Но разве может быть попутчик хуже, чем пан Гервасий Агалинский, кото­рый, сидя в дорожной карете-дормезе без гербов, так презрительно и нена­видяще поглядывал на Балтромея Лёдника, что если бы взгляды имели силу шпаги, проткнул бы доктора, как черного жука шпилькой. Карета то одним колесом, то другим проваливалась в ямы, грязные фонтаны вылетали из-под копыт лошадей, и пассажиров, несмотря на новомодные металлические рес­соры, мотало туда-сюда, как муку, которую просеивают через решето. Но Лёдник сидел, уткнувшись в толстую книжку ин-кварто на немецком языке, види­мо, какую-то научную скукотищу, и выражал эмоций не более, чем осенняя лужа. Ну проехало через нее колесо — а она осталась и снова отражает серое осеннее небо. На Вырвича пан Агалинский совсем не глядел — может, про­сто потому, что, судя по опухшему лицу пана и покрасневшим глазам, сегодня в его голове тоже скакали альрауны, и вертеть ею было больно. Известно, отправляясь в далекое и опасное путешествие, шляхтич должен как следует распрощаться с друзьями. И наутро после прощания лучше его не трогать.

В дорогу отправились в совсем плохое время. Не сухим летом и не зимою, когда реки превращаются в удобные дороги, а осенью, когда впереди самая сля­коть. Конечно, в карете уютно — тем более, карета — дормез, в которой спинки раскладываются для сна. Но если до Полоцка еще кое-как доедут по тракту, то дальше через болота, пущи и лужи на такой колымаге не пробиться.

Направились в Полоцк не случайно, хоть это означало несколько лиш­них дней дороги. Цифирки на рисунке Пандоры были координатами тайной пещеры, записанными на «енохианском языке», которому доктора Ди научил нездешний Уриель. Вот только словаря языка ангелов под рукою не было. Экземпляр, что имелся у Лёдника, доктор под горячую руку сжег в том самом камине, где сгорели Прантишевы стишата, — чтобы не осталось соблазна ввязаться в мистические поиски. А полноценный экземпляр чрезвычайно редкого издания можно было найти разве что у дядьки Лейбы, аптекаря из Полоцка, который дружил с отцом панны Ренич, известным книжником, и от него получил на сохранение много редкостей. Поэтому и отправилась карета к святой Софии на берегу Двины.

Дорога как всегда выметала из головы лишние переживания, как сухую листву с тропы. Неизвестность и опасность. Двести лет назад на королев­ской почте от Вильни до Кракова можно было, при всяческом благопоспешествовании, как свидетельствовал француз де Виженер, доехать за пять дней, а обычные путники тратили не менее двух недель. Папский нунций Луиджи Липман из Варшавы до Вильни добирался двенадцать дней и жалобно писал в Рим: «Бог знает, какие неудобства познали и я, и мои спутники, двигаясь в самые суровые морозы, из-за льда, ветра, поднятия вод, мы плохо питались, с трудом утоляли жажду, спали все время на земле, имея под собой только клочок сена, да и тот найти было нелегко».

С тех времен лошади не стали бегать быстрее, а дороги не улучшились. А если придется отбиваться от грабителей, объезжать поваленные деревья и военные действия. Прусская война никак не закончится, хотя вся Европа от нее устала. Можно было наткнуться на какой-нибудь войсковый отряд, кото­рый ищет дезертиров, новобранцев или просто мародерствует. А в той нераз­берихе все воспринимались прежде всего как враги. Возможно, когда Вырвич вернется на Родину, у него будут вполне приличные шляхетские усы.

Редкие встречные хватались за шапки, и пока не проедет карета с пана­ми, склонялись в покорных поклонах. Лёдник как-то с горечью рассказывал, что в той Ангельщине встречные простолюдины могут даже презрительно свистнуть вслед карете, а в Швейцарии вежливо помахать рукой. Прантиш, посконный шляхтич, который вырос среди мужиков, не мог такой дер­зости с их стороны даже представить. Далеко местному люду, воспитанному розгами да плетями, до пасторалей Жан Жака Руссо и других физиократов. Пусть пани Саломея с мужем и взялись подаренных им крестьян обучать, переводить на оброчную систему да на место управляющего пристроили добрейшего беглого француза, захваченного прогрессивными идеями. А те пейзане толстяка-француза жабой прозвали, панский луг весь потра­вили, а новопостроенная школка так и вовсе сгорела, будто сама собой. Вырвич презрительно фыркал: паны самозванные, разве мещанин поймет, как справиться с деревенским хозяйством? Но когда Лёдник предлагал — езжай, умник, наведи порядок, так же презрительно отмалчивался. Хватит, навозился с землей в детстве.

Прантиш, которому обрыдло молчание, потихоньку рассматривал пана Гервасия: с каким человеком придется делить в ближайшие месяцы хлеб, соль и смертельную опасность? Пока понятно было одно: пан в кипятке купа­ный, смелый вояка, о чем свидетельствуют шрамы на щеке и упрямый лоб, знатный бражник, что подтверждают покрасневшие нос и глаза. Ну, а раз, по его признанию, заступался перед братом за доктора-холопа, то не совсем очерствела его душа. Из кармана пана торчал какой-то странный штырь с нанесенной шкалой и несколькими проволочками, который время от времени пан доставал и, прищурив один глаз, целился им в небо, потом что-то под­кручивал, что-то высчитывал, старательно шевеля губами, и делался в эти моменты похожим на любопытного мальчишку. Поймав взгляд студиозуса, важно объяснил:

— Астролябия! Купил у голландского капитана! Сама показывает путь по звездам! По ней даже до Америки можно путь проложить.

Астролябию Прантиш видел в обсерватории Виленской академии — однако там такие устройства были в виде диска или сферы. Доктор оторвал глаза от книги и поучительно объяснил с легкой насмешкой:

— Инструмент васпана давно устарел. Это линейная астролябия араба ат-Туси, моряки давно пользуются более современными, а в последние годы вообще появились секстанты. Но пользованию каждым таким приспособле­нием нужно долго учиться, ваша милость.

Под конец доктор сбился на неприятный менторский тон, от которого в свое время бесился Прантиш. Теперь настал черед пана Агалинского, тот не то что покраснел, а стал лиловым, как свекла. Вырвич быстренько воткнул реплику:

— Ваша мость говорили об Америке? Вы были в Новой Индии или соби­раетесь?

И вот тут все полилось, как масло на сковородку. Потому что пана Агалинского прорвало: оказалось, что он с детства мечтал об экзотических путе­шествиях, а потом насмотрелся в Несвижском дворце, куда попал в качестве пажа еще мальчишкой, всевозможных заморских чудес — золотые устра­шающие маски со слепыми глазами, головные уборы из перьев, маленькие птички размером с бабочку. И мечта доплыть до земли, где живут красно­кожие дикари, которые в непроходимых дебрях построили города из золота и горного хрусталя, где растут на деревьях кофе и чоколады, стала навязчивой.

Наверное, поэтому пан Гервасий так охотно ринулся в это путешествие, пусть и не в Америку. Потому что на кораблях он плавал только по каналам, проко­панным у Несвижа для реконструкции водных баталий. Пан Гервасий стара­тельно собирал все сведения о дальней стране, скупал предметы, вывезенные оттуда, и шарлатаны хорошо поживились за счет бравого альбанца, продав ему за бешеные деньги посох индианского царя, вырезанный из здешней липы и раскрашенный как писанка, и ржавый топор, которым будто бы жрецы майя убивали несчастных девственниц, прежде чем бросить их в бездонный колодец кровожадному божеству с непроизносимым именем Кецалькоатль. Правда, пан Гервасий был охоч до сказок не только из Новой Индии. Он запи­сывал в специальную книжечку с зеленой кожаной обложкой разные удиви­тельные случаи и слухи. «Сего дня видел жабу с красными щеками, коя могла надувать их так, что они делались похожими на два красных пузыря. Жаба та, как мне рассказали, вылупилась из яйца, снесенного черным петухом, и если бы это яйцо кто-нибудь носил под мышкой, из него непременно вылупился бы дракон».

Прантиш ожидал, что доктор начнет высмеивать суеверного невежду, но в глазах Балтромея мелькнуло даже уважение: профессор почитал людей, которые интересуются чем-то за пределами бытийной суеты и способных на чудачества. А студиозус решил, что с этого времени будет про себя звать пана Гервасия Американцем. К тому же вспомнилось, как с такой же записной книжкой ходил и тоже записывал разные чудеса Вороненок, друг Прантиша по Менскому иезуитскому коллегиуму.

Понемногу темнело, и Американец объявил, что ночевать они будут на водяной мельнице, где есть гостевые комнаты и где, когда надо было избе­гать лишних ушей и глаз, он не раз находил приют. Это намного лучше, чем корчма, тем более мельница находилась на земле, принадлежащей покойному пану Агалинскому, а поскольку пан Гервасий стал опекуном несовершенно­летних племянников, то он сейчас там и хозяин. Имение умершего брата Глинищи тоже недалече, но нужно делать крюк, переться через лес. Да и не хочется лишний раз вспоминать о семейной беде. А в соседней деревне Корытники, которая тоже принадлежала Агалинским, пан Гервасий вообще не был лет двадцать.

Не сказать чтобы студиозусу сильно понравилось место ночлега. Ясное дело, мельник водится с нечистой силой, потому что если с водяным у него дружбы не получится, то хоть разрушай ту мельницу. В родном Подневодье Прантиш мальцом сам бегал вместе с друзьями смотреть, как во время замо­розков торжественно опускают под водяное колесо кусок сала, чтобы водяной не слизывал с того колеса смазку. А временами, обмирая от позорного для шляхтича ужаса, юный Вырвич осмеливался украдкой ловить у мельницы рыбу,— а там можно было подцепить на крючок водяного или русалку. Еще Прантишу рассказывала нянька Агата, что мельники специально держат в доме животных черной масти: если что, принести в жертву. А возможно, не только петух или кот делались подарками для водяного, но и запоздалый путник: заманит его мельник да и столкнет в реку. А что же, мельница все равно нужна людям — пусть стоит на девятом зерне: девятая часть помола остается нечистой силе. Единственно, если мельник добудет траву, называе­мую Адамовой головой, которая даст ему власть над нечистым. Или кто-то мстительный бросит под водяное колесо овечью кость, наполненную ртутью, или свиное рыло — и конец мельнице.

Когда карета остановилась, в тишине и сумерках глухой рокот колеса показался звуком от весел галеры, на которой плывут безжалостные желтоко­жие воины. Вырвич соскочил на мокрую поседевшую траву, с удовольствием потягиваясь. Окошко мельницы светилось желтым тревожным светом, но к приезжим от ворот из крепких бревен никто не спешил. Вскрикивали еще не улетевшие на юг редкие птицы, в поредевших кронах тополей, что подбегали к мельнице, будто занимали очередь на помол, шелестел ветер. Хвелька слез с козел, где соседствовал с похожим на усатого жука мрачным кучером Агалинского Карпом, и тихо постанывал, надеясь, что хозяин оценит его страдания и вознаградит за них хотя бы жбанчиком пива.

Кучер решительно постучал в ворота. Во дворе зашлась тонким лаем собака — Прантиш сразу вспомнил бедного Пифагора, которому досталось от людей Агалинского, хорошо, жив, да не остался хромым.

— Отпирай, мельник! Его мость пан Гервасий Агалинский приехал!

Та быстрота, с которой гости очутились во дворе, а потом в доме мельника, свидетельствовала, что пан Агалинский уважаем здесь не меньше водяного и в жертву может взять что угодно. Мельник, на удивление Прантиша, совсем не был богатырем с каменными плечами, предназначенными для переноски мешков. Он был невысокий, коренастый, перекошенный на одну сторону, с испуганным лицом и слегка прижмуренным глазом. Имел слишком длинные руки с огромными натруженными ладонями — казалось, в таких ладонях камень легко превратится в песок. Мельник двигался как-то неуклюже, а вот руки его будто жили особой жизнью, ловко помогая распрягать лошадей.

Странно, хотя колесо мельницы вращалось, ни одного воза с мешками во дворе не было. Вообще все вокруг как вымерло, хотя в выбитых колеях стояла вода, что значило: сюда еще недавно ездили.

В доме, пристроенном к мельнице, пахло не мукой и не хлебом, а трава­ми. Совсем как в университетской аптеке.

— А то снадобье от головы еще есть? — ворчливо спросил мельника Аме­риканец, который сидел за столом, едва не припав к столешнице. Рыжеватый чуб пана прилип ко лбу, закрывая один глаз. Прантиш мстительно подумал, что навряд ли Лёдник сварит для Агалинского свой чудодейственный отвар для таких вот шляхетских хворей. Но мельник повернулся в сторону кухни и крикнул дрожащим, утомленным голосом:

— Саклета, принеси ясновельможным панам отвара от головной боли!

В кладовой что-то зашуршало, стало даже страшновато — что за существо там прячется, русалка али шишига? Из сумрака вышло вправду странноватое существо — худенькая отроковица с головой, замотанной белым платком так, что видны только опущенные глаза. Девица поставила перед паном Гервасием кувшинчик с ароматным напитком, и сразу шевельнулся, принюхался Лёдник: сам же травник. Пан Гервасий, расплескивая напиток, потому что руки замет­но тряслись, жадно выпил. С облегчением отдышался.

— Мастерица ты, Саклета! Как тебя еще за колдовство не утопили? — Американец не заметил, что при этих словах отец и дочь вздрогнули. А вот Лёдник нахмурился и весомо промолвил профессорским тоном:

— Это всего только отвар коры белой вербы. Я сам такой готовлю. Я не ошибся, панна Саклета?

Девушка испуганно подняла глаза — будто сверкнул черный огонь, — покраснела и тихонько промолвила:

— Да, милостивый пан. А еще. Позволит ли ваша мость, хочу запарить снадобье для слуги, который болеет печенью. Ничего опасного. Осиновая кора, пырей и собачья мята. А то он так стонет. Слуга ваш.

— А крапиву? — сурово спросил доктор.

— Да, милостивый пан! И крапиву добавлю. И. equisetum arvense.

Последние слова на латыни мельникова дочка проговорила совсем тихо, снова понурив голову.

Доктор заинтересованно хмыкнул.

— Ну а хвощ полевой зачем? Он же от почек!

— А у сударя Хведара почки тоже не в порядке. — прошептала Саклета.

— Ну еще бы, столько горелочки высосать за свою недолгую жизнь, — проворчал Лёдник, внимательно изучая облик мельниковой дочери. И вдруг поднялся во весь свой немалый рост, выпрямился, будто готовился идти на лекцию.

— Ну что, показывайте мне свою лабораторию, коллега!

Девушка посмотрела на виленского профессора так благоговейно, будто тот спустился с облаков.

— У меня же так. Только травы.

— Ведьмочка она известная! — воскликнул Американец. — Она мне обе­щала плакун-травы достать, коя помогает по морю плавать!

— Нету такой травы, ваша мость! — с тихим отчаянием проговорила девица. — Это сказки!

— Вот высеку хорошенько, сразу сказка сделается явью! — рыкнул Агалинский, но нестрашно, видимо, ловил наслаждение от того, что перестала болеть голова. Девица упала на колени, сжав тонкие руки.

— Ваша мость. Милостивый пан. Я же только с молитвой. Никакого колдовства. Со святой Параскевой и Пантелеймоном-мучеником. — шеп­тала ведьмарка, бросая на Лёдника умоляющие взгляды, будто призывала не верить злым словам. Прантиш, однако, вполне мог бы поверить, что дело нечистое. Дочь мельника не была похожей на обычную мужичку. Большие глаза, тонкие черты лица, узкие запястья. Совсем не красавица, так, воро­бышек, но что-то такое в ней есть. К тому же, похоже, грамотная и читала ученые книжки. Но когда девушка повернула голову к Лёднику, Прантиш вздрогнул: из-под белого платка, которым девушка упорно прикрывала лицо, показался уродливый ярко-красный нарост — будто пиявка, присосавшаяся к щеке, от подбородка до уголка глаза. «Ведьмарка», — пронизало холодом Прантиша, и все прогрессивные убеждения, воспитанные лично Лёдником и академической наукой, куда-то подевались, и захотелось просто по-детски скрестить пальцы от сглаза.

Лёдник между тем одним властным движением поднял девицу с пола и пошел с нею в кладовку. «Еще одна кукла-автомат с загадкой», — раздражен­но подумал студиозус, знавший склонность Лёдника к «народным талантам». Доктор упорно занимался просвещением всяких подозрительных знахарей — говорил, нужно хотя бы немного уменьшить вред от суеверий и невежества. Читал бесплатные лекции шептухам-повитухам, раздавал лекарства, которые, возможно, выливались на землю за первым же углом.

Пан Агалинский потянулся, как сытый кот:

— Эй, Евхим, готовь постели! И какую-нибудь историю — перед сном послушать. Да пострашнее. У тебя же опыт отношений с нечистой силой богатый, правда? — И безразлично добавил, поглядывая, как испуганно кланя­ется перекошенный мельник: — Да что вы с Саклетой такие пугливые стали?

— Неспокойно у нас здесь, пане, — нерешительно пробормотал мельник, пряча глаза. — Люди у нас в лесу появились. Деревенских с толку сбива­ют. Слухи разные о нас с дочкой пошли.

— Что ты, черную корову под колесом мельницы утопил? — насмешли­во спросил Американец. — Или с водяным такого пива наварил, что пеною пойму залило?

Мельник, однако, даже не пытался улыбаться, молча поставил перед гостями глиняную тарелку с мочеными яблоками и ушел готовить постели. Из кухни доносились голоса: низкий, требовательный — Лёдника, и тонень­кий — Саклеты, в котором все явней чувствовались нотки увлеченности, будто в лесном луче слетались танцевать нежные золотые бабочки. В разго­воре начали встречаться латинские термины — профессор учил, как на языке науки называется та или иная трава, поправлял произношение мельниковой дочки, неизвестно где нахватавшейся медицинских знаний.

— Вот поганец, даже такого страшилища не пропустит, — сквозь зубы с ненавистью прошипел пан Агалинский. — Однажды я с росомахой встретил­ся, черной такой, мохнатой, в волосах — дохлые рыбешки, так этот черно­книжник и на нее бы, наверно, позарился!

Прантиш почувствовал, как зашумело в ушах от гнева. Агалинский и до этого раздражал его, а тут. Пан Гервасий заметил гневный взгляд собеседни­ка и тоже взъярился, как собака, которой в нос попала сосновая шишка:

— Пан не верит, что я встречал росомаху?

И потянулся в угол, где они сложили оружие. На минуту Прантишу страшно захотелось ответить дерзостью — слова так и жгли язык. Но прокля­тый доктор не напрасно столько лет боролся с огненным темпераментом сво­его ученика, поэтому вместо целиком шляхетского поступка — вскинуться и вызвать на дуэль, Прантиш подумал, что будет с пани Саломеей, с маленьким Алесем, с мельником и его дочерью, на глазах которых порешили их пана. О том, что пан может сам его убить, студиозус не задумывался ни на йоту.

— Слово шляхтича — закон, ваша мость, — наконец, уговорив себя, учтиво ответил студиозус. — Пусть пан расскажет о своей удивительной встрече с ужасной росомахой.

Американец подозрительно зыркнул на русого голубоглазого студиозуса и потянулся за своей записной книжкой. В кухне Лёдник читал мельниковой дочке с красным наростом на лице занудливую лекцию о гигиене и объяс­нял, какие средства ни в коем случае нельзя употреблять, хотя бы лечили ими бабушки-прабабушки. В боковой пристройке шуршал мельник, готовя покои для высоких гостей, храпели во все задвижки где-то в чулане кучер и Хвелька — чего ждать, пока паны наговорятся, так что не судьба была Хвельке отведать отвара Саклеты, занятой лекцией виленского профессора. И только мельница молчала. Ее колесо было остановлено волей временного хозяина, и между жерновами мучительно ждали смерти последние недомолотые зерна.

И если бы Прантиш, измученный баснями Американца, случайно не гля­нул за окно, беду заметили бы только когда стукнет в ворота. Со стороны леса приближались-суетились огни.

Мельник судорожно вздохнул, как жолнер, которому попала под сердце стрела, и он осознал, что умирает.

— Конец. — прошептал Евхим непослушными губами и закрестился, зашептал молитву. Его дочь просто смотрела на огоньки большими безна­дежными глазами, и Прантишу казалось в полумраке, что нарост на ее щеке шевелится, как живая пиявка. Огни приближались, послышались отдаленные выкрики. Во дворе, наконец, залаяла собака.

— Что это за гицли? — сурово спросил Агалинский, всматриваясь в тем­ноту. — Разбойники?

— Часть лесных, часть из деревни. — пробормотал мельник. — Гро­зились несколько дней — если мор в деревне не кончится — Саклету убить. А нам куда деваться — не спрячешься, выследят. А доченька только трава­ми лечила.

— Что за мор? — строго уточнил Лёдник.

— Почесун, ваша мость.

Нападающих, судя по факелам, собралось десятка два. А когда Прантиш, кое о чем догадавшись, бросился к другому окну, оказалось, что и с той стороны приближается дюжина.

Теперь стало понятным и отсутствие посетителей на мельнице, и то, что разбежались все мельниковы помощники.

— Да я сейчас этих бунтовщиков, как очерет, положу! — бушевал Америка­нец. — Нас шестеро, если слуг посчитать, пороху хватает — сейчас я им учиню бунт! Евхим, кличь кучера! Оружие доставай какое есть! Перестреляю гадов!

Агалинский с саблей в одной руке, с пистолетом в другой бросился во двор, за ним в осеннюю звездную ночь — звезды почти гроздьями свиса­ли, — вылетели Прантиш и Лёдник. Профессор удержал Агалинского, кото­рый был готов уже стрелять во все, что двигается:

— Ваша мость, это не просто холопы, что разбегутся от выстрела. Это люди, испуганные до такой степени, что перестали бояться смерти. Они во­оружены вилами и косами, против них наши сабли — что лучины. Позволь­те, я сначала с ними переговорю. Мне приходилось во время эпидемий встре­чаться с толпами охотников на ведьм.

Пан Гервасий брезгливо стряхнул с себя руку доктора, будто это был мерзкий паук.

— Без твоего совета обойдусь, трус!

— Это не совет, ваша мость. Это единственный разумный выход, — резко заявил Лёдник и, не ожидая от собеседника гневного взрыва, вышел за ворота и крикнул назад:

— Запирайтесь и не высовывайтесь! Не стрелять, пока не дам сигнала!

Бубнел испуганные молитвы Хвелька, ему помогал мельник. Прантиш припал к щели между досками, целясь из ружья в пришельцев: доктор стоял, скрестив руки на груди, обманчиво спокойный. Люди с факелами, вооружен­ные кто чем, остановились перед ним. Впереди был худой высокий мужик с запавшими светлыми глазами, горевшими фанатичным огнем.

— Отдайте нам ведьмарку!

— Вы знаете, что нападаете на самого пана Гервасия Агалинского, кото­рый остановился в этом доме? — спокойно спросил Лёдник, и Агалинский подтвердил свое присутствие градом изощренных проклятий, среди оных самым пристойным было «дети чесоточной суки».

— Против ясновельможного пана мы ничего не сделаем, — высокий мужик, будто подтверждая слова, стукнул о землю своими вилами, что смеш­ным образом походило на стук жезла мажордома о паркет, как сигнал начи­нать бал. — Но мы не хотим, чтобы ваши мости ту ведьмарку увезли и наши люди от ее сглазов зачахли! А приговор мы выполним!

Толпа за его спиной завыла. Несколько человек, как и предводитель, очевидно отличались от обычных изнуренных холопов — вместо сермяг вывернутые шерстью наверх тулупы, за поясами — сабли. Лесные люди. С этими договориться тяжело.

— Почему вы решили, что Саклета виновата в эпидемии?

— А кто еще? — выкрикнул один из мужиков, вооруженный обычным топориком. — Она колдовством с детства живет! Сам видел, как черного кота под колесо мельницы кидала! А когда дала снадобья моей жене, так та через неделю пятнами красными пошла. А потом и я, и вся деревня!

Мужик ткнул пальцем себе в лицо, где действительно красовалось рас­царапанное до крови пятно.

— Хочет, чтобы все были такими же страхолюдными, как сама. Пан видел, что к ее лицу красный змей присосался? Все знают — Евхим ее мать беременную взял, от Водяного она! Она ведьма!

— Жернов на шею — и утопить! — заревели пришельцы.

— Подождите, судари! — доктор поднял руку, и крики стихли. — Я — доктор. Дайте мне время, и я вылечу всех.

— А она снова на нас хворь нашлет! — выкрикнул кто-то.

— Если я уберу с ее лица «красного змея», вы поверите, что Саклета — не ведьма? Она же, наверное, в церковь ходит, причастие берет.

— Ты, может, сам ведьмак! — выкрикнул кто-то из толпы, и вилы напра­вились на Лёдника, как на загнанного волка.

— Доктор, не молоти языком! Я здесь пан, мне и решать! — выкрикнул Агалинский из-за забора. — Бунта не потерплю, но и колдунов покрывать не собираюсь!

Люди одобрительно загудели. Лёдник властно приказал пришельцам:

— Мы сейчас посоветуемся! Ждите здесь решения! — и зашел в ворота. К доктору тут же подлетел Агалинский.

— Ты что здесь взялся командовать, клистирник проклятый? Кто ты такой? Ведьмак ведьмачку спасать наладился? Да я тебя.

Агалинский выхватил из-за пояса плеть и замахнулся. Лёдник перехватил панскую руку и так сжал, что пан охнул.

— Я, ваша милость, присягу свою вам помню и готов платить. Но пан ошибается, если думает, что я позволю хоть одну плеть от той смертельной дозы заранее испробовать на своей шкуре. И я не позволю отдать на смерть эту несчастную девочку.

Лёдник кивнул в сторону Саклеты, которая даже не плакала, не пыталась спрятаться, а покорно стояла около отца, опустив голову, похожая в белом платке на сломанный цветок.

Прантиш сразу же подлетел к Лёднику, готовый остудить пыл Агалинского саблей.

— Я все улажу сам, ваша мость, — твердо сказал Американцу доктор. — Я видел проявления эпидемии и узнал болезнь. Ничего сверхъестественного. Прошу только ясновельможного пана не вмешиваться — в конце концов, это мужицкое дело, не стоящее ваших благородных хлопот.

Агалинский, которого Лёдник отпустил, отскочил назад и выхватил саблю. Ноздри его раздувались, и он бы бросился на доктора, будь немного более пьяным, но, видимо, еще помнил, что сам связан присягой о добывании наследия доктора Ди, поэтому только презрительно сплюнул.

— Это я тебе тоже припомню, мерзавец!

Кучер и Хвелька посматривали на дочь мельника с ненавистью и страхом, и похоже, готовы были сейчас же перевалить ее через забор.

Доктор строго спросил Саклету:

— Бросала кота под мельницу?

Девушка безнадежно и безучастно кивнула головой:

— Обычай такой, ваша мость. Мельница же без этого крутиться не будет, водяной задвижки поломает.

Лёдник только с досадой махнул рукой.

— Вот он, портрет белорусского духа. Справочник по травам с латин­скими наименованиями — и кот в жертву водяному. А на операцию по удале­нию своего украшения на щеке ты согласна или свято веришь в его необходи­мость для успешной знахарской практики?

Саклета упала перед доктором на колени и принялась пылко целовать ему руку:

— Паночек мой, миленький мой, да если бы только вы смогли сглаз этот прибрать! Да я за вас Богу молиться стану днем и ночью!

— Мельницу продам, все продам, только приберите красного змея с дочки, сиротки бедной! — взревел и Евхим, схватив доктора за руку. — Мать ее рано померла, единственная моя радость — дитятко.

Лёдник раздраженно вырвался.

— Предупреждаю, это больно. А мне еще лишаи у этих дурней лечить. Будете делать, что скажу, без помощи не справлюсь.

И пошел за ворота.

Когда толпа растаяла в темноте, как соль в соусе, Лёдник, к возмущению Агалинского, объявил, что придется задержаться на мельнице на неделю. Ибо он обещал бунтовщикам вылечить от поветрия жителей деревни, а дочь мельника Саклету показать с чистым лицом. Неделя — самый малый срок, за который шрам после операции на лице хоть немного затянется, а также при­готовится достаточное количество мази от заболевания кожи, кое, по утверж­дению Лёдника, возникло не от сглаза, а «мыться чаще надо», и от той мази лишаи начнут сходить.

А чтобы опровергнуть подозрения в собственном ведьмарстве, доктор объявил, что вместе с семьей мельника пойдет в церковь — она здесь оста­лась православной — к исповеди и причастию.

Прантишу пришлось быть ассистентом, когда доктор делал операцию Саклете. Студиозус все время молился святому Киприану, который помога­ет противостоять магии и чародейству, но за время операции уверенность в ведьмарской природе дочери мельника все-таки уменьшилась. Американец тоже было пожелал посмотреть, но быстро потерял интерес к кровавому действу. А девушка даже не плакала — ради избавления от своего проклятия готова была перетерпеть любую боль. Правда и Лёдник взял с собой не только обязательный набор инструментов, но и запас лекарств, среди которых были довольно сильные обезболивающие.

— Еще пара таких операций — и мне можно будет блох подковы­вать, — ворчал утомленный, но втайне довольный собой Лёдник, который потратил целый час, чтобы сделать след от своего скальпеля как можно менее заметным.

А потом начался каторжный труд по подготовке мази. Вонь клубилась невероятная, как в аду. Хвелька и кучер Карп, понурые и сердитые, перетира­ли, толкли и нарезали, мельник таскал, Прантиш варил, Лёдник руководил.

Только Саклете было запрещено вставать — чтобы все зажило быстрее и наилучшим образом.

А Американец либо валялся на тюфяке с книгой о заморских путешестви­ях, либо ходил стрелять птиц в ближайший лесок. Единственная польза — пан выяснил, что за мельницей следят, так что сбежать не удастся, и послать за помощью в Глинищи тоже. Еще одно, на этот раз личное, наблюдение Прантишу не понравилось: Карп и раньше посматривал на доктора как сыч. А теперь и Хвелька изменился. В его взглядах на хозяина мелькали разоча­рование и обида, как у ребенка, которому вместо настоящей живой лошадки подарили вырезанного из дерева болванчика. Доктору некогда было обращать внимание на такие нюансы, но Прантиш после особенно неуважительного обращения того к профессору схватил в темном углу Хвельку за ухо.

— Ты что это, сучий сын, себе позволяешь? Я тебя, хамло, научу, как со шляхтичем разговаривать!

— Так то со шляхтичем. — вдруг с обидой проговорил Хвелька. — А мне Карп рассказал, что пан Лёдник — совсем и не пан, а чернокнижник, и у вас, ваша мость, был слугой, а брат пана Гервасия так и вообще его за холопа держал.

Прантиш для пущей убедительности наградил Хвельку парой пинков.

— Запомни, хамло: даже король может в плен попасть и на цепи сидеть. Если пана Лёдника сам великий гетман уважал, за стол с собой сажал, то не тебе ставить под сомнение его честь. Ясно? Доктор жизнь тебе спас, с того света вытащил, а ты взвешиваешь, достаточно ли твой пан для тебя родовитый!

Хвелька, естественно, заверил, что все понял, и извинялся, и каялся. Но осадок получился из-за такого мелкого события неприятный. Прантиш помнил себя, школяра, которому достался в рабство раскаявшийся алхимик. И как он ставил алхимика на место. И, выходит, Лёдника, сына кожевника, до конца жизни так и будут ставить на место — даже слуги. Для Прантиша, который однажды признал доктора равным себе, это равнялось личному оскорблению. Но ведь и сам пан Вырвич, владелец герба Гиппоцентавр, в глубине души считал Лёдника пусть и выдающимся человеком, но — отлич­ным от потомственной шляхты, так как в его жилах все равно текла грязная кровь. И отец Прантиша, пан Данила Вырвич из Подневодья, загонный шляхтич, который сам вывозил на поле навоз, воткнув в воз шляхетскую саблю, был по сарматским законам бесконечно выше безродного профессора с двумя дипломами, в парике и модном камзоле.

А потом, дождавшись праздника, когда люди дома, пришлось идти в дере­веньку с красноречивым названием Корытники. Перед выходом профессор с котомкой в руках остановился у лежака, на котором, задрав на подоконник ноги в желтых сафьяновых сапогах, лежал пан Гервасий:

— Ваша мость не хочет посмотреть, как живут его подданные?

Доза желчи в голосе профессора была достаточно заметной. Американец сел и враждебно уставился на профессора.

— Что я, мужиков не видел?

Лёдник скривил рот.

— Вы, ваша мость, так желаете узнать, как живут бедные индианцы. Не стоит ли узнать, с чем сравнивать? Заверяю — экзотики и дикарства в глухих белорусских деревеньках никак не меньше, чем в поселениях ацтеков и майя.

Американец подумал и сделал милость заинтересоваться. Все равно от тоски начал мух расстреливать горохом из трубочки, а астролябию, хитро­мудрую и бесполезную из-за этой хитромудрости, забросил так, что забыл куда.

Пожалел пан Гервасий о своем любопытстве уже когда подъезжали вер­хом к Корытникам по такой грязной дороге, что не заслуживала именоваться дорогой — так, непротоптанная стежка в глинистой грязи. Конь пана Агалинского едва не упал в одном особенно скользком и топком месте, комья глины летели на всадников, оседали на одежде орденами осенних странствий.

А когда доехали, да спешились, да пошли по хатам. Хатами эти будоч­ки, полузарытые в землю, могли называться не более заслуженно, чем тропа к Корытникам — дорогой. Люди выползали наружу, почерневшие от недо­едания и дыма. Расчесаные лишаи на лицах кровили. Пан Агалинский хотел было приказать, чтобы всех согнали в одно место, да осуществить за раз раздачу мази и заставить выслушать лекцию профессора насчет гигиены, но

Лёдник только рукой махнул: все равно придется идти по домам, чтобы осмо­треть больных, которые попрятались, как тараканы.

А дышать в хатах было нечем, скот содержался вместе с людьми. Осо­бенно поражало, что вместо столов в полу была прокопана глубокая канавка квадратной формы. На ее край садились, спустив ноги, а центр использовали как стол.

Американцу было достаточно одного посещения. Он с презрительной гримасой оглядывал, сидя на коне, владения недавно умершего брата. Хвелька, которого взяли с собой везти лекарства, посматривал вокруг еще более презрительно и фанаберисто, и явно считал этих грязных людей в лохмотьях бесконечно ниже себя, солидного лакея в добротной шерстяной свитке. Пран­тиш, воспитывавшийся не во дворце, и тот не мог принудить себя к визитам и оставался снаружи. А доктор заходил и заходил в халупы, раздавал банки с мазью, учил, как ею пользоваться, а еще покрикивал на людей, как на самых нерадивых студентов, — чтобы ходили в баню, чтобы мыли посуду, чтобы не отправляли в хате потребности. А еще — Прантиш это видел — оставлял в каждом доме по нескольку монет.

А потом Лёдник подошел к пану Агалинскому и протянул ему на ладони кусок чего-то черного, похожего на торф.

— Как ваша мость думает, что это такое?

Лицо Лёдника было суровым, как зимний ветер. Американец взял кусок, повертел, брезгливо бросил.

— Грязь свою они этим оттирают, что ли?

— Это их хлеб, ясный пан, — глубоким низким голосом сказал Лёдник. — Толченая кора, мякина, сушеная лебеда. А зерно, что мелется на мельнице Евхима, которое они вырастили, в этом году все отвезено в панские клети — был недород, а подушное не уменьшили.

Пан Агалинский с досадой дернул себя за рыжий ус.

— Они просто ленивые. Быдло.

— Разве те люди, что пришли к мельнице ночью, похожи на быдло? — тихо спросил Лёдник. — Если здесь ничего не изменится — подобных им станет еще больше, и сгорит не одно панское имение.

— Да что здесь за вотчина такая? — не выдержал Прантиш. — У нас в Подневодье такой нищеты никогда не видели! Чтобы в хате ни одной метал­лической ложки и ни одного железного гвоздя. Даже в голод — у общины был на всех запас зерна. Когда оно заканчивалось — муки крестьянам одал­живал, а то и дарил, и мой пан-отец, и наш сосед, его мость пан Кривицкий. Коры у нас никогда не ели!

Вырвич с удивлением заметил, что пан Агалинский покраснел.

— Здесь явно эконом мошенник и вор. Я разберусь. Когда вернемся.

Прантиш Вырвич выразительно хмыкнул, и пан Агалинский попра­вился:

— Приедем в Полоцк — дам все распоряжения. Напишу.

Из слепых окошек хатенок смотрели невидимые ненавидящие глаза.

Они отправились не через неделю, прошло десять дней с того вечера, когда основательный дормез без гербов подкатил к водяной мельнице. Саклета больше не прятала свое лицо, хотя шрам через всю щеку был еще очень заметен, но ведь он не пугал, как тогдашний мерзкий нарост, и как заверял Лёдник, со временем сделается совсем незаметным. Эпидемия, благодаря профессорским лекарствам, тоже отступала. И люди из леса сообщили, что мельника и его дочь трогать не станут. Но ясно, выйти замуж несчастной девушке в этих краях будет тяжело.

На прощание Саклета, которая буквально молилась на Лёдника, сунула доктору, уже сидящему в карете, какую-то шкатулку из красного дерева:

— Ваша мость, примите, не откажите, Христом-Богом молю. Чтобы хоть это на память. Дороже ничего не имею. Это мне от матери моей, Альдоны, осталось. Она же была не отсюда, прислуживала в имении в Глини­щах, образованная, читать меня научила, от нее и книжки мои. Я все равно с этим не разберусь, а пану, может, где-то пригодится.

Когда Лёдник открыл шкатулку, мельница осталась уже далеко за лесом. Там лежала отлично отшлифованная линза в серебряной оправе, на тяжелой серебряной цепи, с тонкой гравировкой. Лёдник с удивлением посмотрел через стекло на свет.

— Что-то похожее на очки. Голландской работы.

— Дай сюда! — пан Гервасий вдруг потянулся за линзой, повертел ее, пощупал.

— Это принадлежало моему пану отцу! Вот здесь наш герб выгравиро­ван. Я даже помню, как эта штуковина висела у отца на шее! Он был на глаза слаб — это у нас наследственное, и с помощью стекла читал. Откуда оно у дочери мельника?

Прантиш забрал у пана Гервасия странный предмет, внимательно всмо­трелся, перевернул. На обратной стороне серебряная оправа была обтянута тонкой светлой кожей, а на ней красовалась надпись синими чернилами, кото­рую студиозус с удовольствием зачитал вслух.

— «Моей красавице Альдонке — чтобы рассмотрела свое счастье. С любовью — пан Ладислав». Ваш отец сделал интересный подарок прислу­ге. Наверное, и ей нравилось удивительное стеклышко. А вот и дата.

Прантиш поднес линзу к самым глазам.

— «Глинищи, июнь 1743 года». Насколько я понимаю, где-то через несколько месяцев родилась наша общая знакомая Саклета.

Пан Агалинский недоверчиво глянул на надпись, злобно прошипел что-то сквозь зубы и отвернулся к окну. Только когда Лёдник спрятал стеклышко в сундучок, Американец сухо вымолвил:

— Я был бы очень благодарен пану Лёднику, если бы он продал мне этот подарок. За любые деньги. Пятьдесят, скажем, дукатов. Альдону, ту шило­хвость, я вспомнил, а если пойдут слухи.

— Вот интересно, а зачем пану Лёднику деньги, если ваша мость все равно его убьет? — не преминул поиздеваться Прантиш. Доктор сердитым взглядом остановил Вырвича, который очень обрадовался возможности под­колоть спесивого Агалинского позорной тайной.

— Пусть ваша милость пообещает, что эти деньги панна Саклета, неза­коннорожденная сестра пана, получит в приданое, и сразу же передам вам шкатулку. Вместе с обещанием молчать.

Пан Агалинский скривился, как полтора несчастья, но промолвил, опу­стив глаза:

— Слово чести. Пятьдесят дукатов пошлю девице.

За окнами кареты снова начал накрапывать мерзкий осенний дождь, и индусский бог Яма отозвал своих четырехглавых собак, бежавших за дорме­зом без гербов, в более приветливое, но не менее грешное место.

Глава восьмая

Как Прантиш с паном Полонием познакомился

Переступить через крыльцо — это вам не ложку затирки проглотить. Недаром в новый дом первыми пускают кошку или петуха — чтобы приняли на себя то, что под крыльцом прячется, гнев невидимого стража... Откупиться же от того стража всяк по-разному пробовал. Закапывали под крыльцом моне­ты, каплю ртути, змеиную шкурку, кусок железа, волчью голову или черную курицу, или еще страшнее — хоронили умерших некрещеными младенцев.

На пороге нельзя есть, сплетни притянешь, нельзя через крыльцо выпле­скивать во двор грязную воду — куриная слепота случится. Если что-то будешь на крыльце рубить — напустишь в дом ведьм и жаб. Зато нет более верного средства лечить болезнь от испуга, чем когда шептуха обрызгает тебя через распахнутые двери наговоренной водой или «убьет» перед ними испуг ножом или топором.

На этом крыльце лежала раздавленная ночная бабочка, ее обсыпанные серой блестящей пыльцой крылышки беспомощно прилипли к мокрому камню, и не верилось, что в них когда-то жил вольный воздух.

Доктор Лёдник был не суеверен, поэтому через крыльцо дома Реничей, мертвую бабочку и живые опасения переступил не колеблясь. А вот Пран­тиш Вырвич на его месте хорошо подумал бы, почему это на стук никто не отозвался, а двери отперты. Как говорили латиняне, даже между куском и ртом многое может случиться. Часть дома, который когда-то приналежал отцу пани Саломеи, книжнику Ивану Реничу, Лёдники сдавали в аренду — там, где переплетная мастерская. И по всему выходило, что арендатор или кто-то из его челяди должны быть на месте. Но мастерская на замке. Прантиш достал саблю и заметил, что доктор тоже положил руку на эфес — значит, все-таки не потерял до конца бдительности, и жестом приказал Хвельке оставаться во дворе.

— Эй, есть кто дома?

Тишина. Но Вырвич был уверен, что они в строении не одни.

Так и случилось. В прихожей ждало человек десять — вооруженные до зубов вояки, которым не впервой стеречь в засаде. Посреди помещения, в кресле, неподвижно сидела пани Саломея Лёдник, бледная, напряженная, в больших синих глазах отчаяние. А за ее спиной, привалившись к подоконнику, в свободной позе застыл светловолосый гигант со страшным, покрытым шрамами розовым лицом, с бездонными глазами, казавшимися то прозрач­но-светлыми, то багровыми. На губах богатыря витала ироничная улыбка, будто он присутствовал при легкой застольной беседе.

— Наконец мы вас дождались, ваши мости! Задержались же вы в дороге.

— Пан Герман Ватман.

Когда Лёдник успел оголить саблю — никто сообразить не успел. Но что такое сабля, если на тебя направлены пистолеты, а за спиной твоей любимой стоит искушенный убийца.

— И зачем было трогать мою жену? — холодно проговорил доктор.

— Ну, я же знаю, что в присутствии красоток разговор идет легче, — лени­во-доброжелательно произнес Ватман, потянулся, приблизился вплотную к Саломее. — Конечно, сейчас все предпочитают молоденьких, трепетных, как стрекозки. Но мы же с тобою, доктор, мужчины взрослые, жизнью битые, мы ценим женщин с опытом.

Ватман обвел пальцем, не прикасаясь, очертание лица Саломеи. Лёдник скрипнул зубами.

— Что тебе от меня нужно?

— Ну что ты так спешишь, доктор, это же не кровь пускать. Неужели не рад видеть старого друга?

Вырвич сделал шаг вперед.

— Вызываю вас на дуэль, пан Ватман! При свидетелях, сейчас же!

Наемник не шевельнулся.

— А твой бывший хозяин не изменился, чернокнижник. Мог бы уже и воспитать стригунка. А где ваш спутник, такой рыжий, бешеный? Пренебрег компанией ваших милостей? Знаете, — голос Ватмана сделался доверчиво­интимным, — пан Михал Богинский очень недоволен. Он, можно сказать, оскорблен. Он же вас со всем уважением просил съездить в небольшую перегринацию. А вы носы воротите. А стоило Радзивиллам своего скомороха при­слать — тут же с места сорвались. Нехорошо.

Доктор встретился глазами с Саломеей, его сабля едва заметно дрогнула в руке, как поверхность воды от тополиной пушинки.

— Какие условия князя?

— Условия? Это уже не условия, — голос Ватмана заледенел. — Это при­каз. Когда будешь отъезжать, сообщишь, — прихватите с собой спутника. Все распоряжения которого станете выполнять. Ему и передадите, что добудете. Вернетесь — получишь назад свою красотку.

— А как же пан Агалинский? — высунулся Вырвич. — Он не потерпит, чтобы с нами ехал представитель Богинских!

— Умно глаголешь, студент, — иронично согласился Ватман. — Эту про­блему мы решим! — и выразительно чиркнул пальцем по своей шее. Лёдник нахмурился.

— Я не могу допустить, чтобы с паном Агалинским что-то случилось. Я связан с ним присягой.

Прантиш вылупился на Лёдника, едва удержавшись от реплики. Доктор что, жить не хочет? Такая возможность избавится от злыдня Агалинского! Американец, правда, довольно забавный, и не трус, но доктора не пожалеет! Правда, Прантиш сам в свое время в Менске предупредил о заговоре злей­шего врага — чтобы не допустить позорной расправы пусть и с мерзавцем, но настоящим шляхтичем. Еще Вырвич вспомнил, что от возвращения пана

Агалинского живым и здоровым зависит судьба маленького Алесика, а доктор рисковать сыном не станет ни за что.

Лёдник поджал губы и сверлил взглядом наемника. Ватман недовольно скривился.

— Если тебе так дорог Агалинский, можешь продолжать целовать его в задницу. Тогда сами придумайте, как представить рыжему нашего человека. Но вот если с ним, нашим человеком, что-то случится — все, доктор, распро­щайся с красоткой. А я еще и хорошо проверю, чему ты научил ее в постели за три года. И не обижайся, думаю, мои лекции окажутся более содержатель­ными, чем твои.

Присутствующие вояки заржали, прибавляя сальных замечаний о под­робностях эротических лекций от Ватмана. Саломея в отчаянии прикусила губы. Лёдник, не сводя с нее взгляда, проговорил-прошипел:

— Цел будет ваш человек. Но если, пока я не вернусь.

— Знаю-знаю. Никогда мне не простишь, волос с жены упадет, пальцем трону — по мостовой меня размажешь, и еще три тарелки клецок сверху. Не сотрясай воздух, и так все понятно. Выхода у тебя, Балтромеус, нету. Радуйся, что я с тобой не еду.

— Неужто постыдились дважды посылать к жертве одного и того же убийцу? — проворчал доктор. — А кто с нами едет?

Ватман улыбнулся.

— Спутник ваш ловкач, так что хитрить не вздумайте. Он вам сам все о себе расскажет.

Ватман подал знак, и непрошеные гости повели Саломею к выходу, не дали даже проститься с мужем. Все-таки Ватман знал, на что способен этот типус, и следил, чтобы слишком близко ни он, ни его ученик не прибли­жались.

Последним выходил Ватман, и Лёдник сказал:

— Ты должен понимать, Герман, эти поиски, как соломенный куль на коне. Только видимость.

— А мне это как зайцу клавесин. И не пробуй даже рыпаться, женушку искать. Глаз хватает за вами присмотреть.

Когда за пришедшими закрылись двери, Лёдник дал волю гневу. Но порубленный стул только затупит саблю, а пользы не принесет. Доктор, пону­рившись, стоял посреди испохабленного дома — гости здесь жили, похоже, не один день, и молчал, бессильно опустив саблю. Вырвич обошел его, как столб, отставил подальше потерпевший стул.

— Что теперь делать?

Лёдник заговорил глухо, как с того света.

— А что здесь поделаешь? Или я потеряю жену, или сломаю жизнь сыну. А еще духовник мой перед отъездом посоветовал дьявольское то оружие, если даже найду, уничтожить. Так что, может, лучше всего мне было бы, не откладывая, с паном Агалинским расплатиться. Кстати, я перед отъездом завещание составил — половина моего имущества тебе, полови­на — Саломее.

Прантиш рассердился.

— Пока шляхтич живой и при сабле, ему король — брат, а смерть — при­слуга. Ты собирался к аптекарю идти. Так, быть может, не будем время терять? Раньше поедем, раньше вернемся. С нами же не Ватман отправляется — а мы даже с ним когда-то сладили. В конце-концов, посланец Богинских с паном Агалинским запросто могут в дороге схватиться.

— Только этого не хватало. — прошипел Лёдник.

На улице было серо и тоскливо, и мелкий дождь налипал на лицо, оседал в волосах серебряной пыльцой, так что можно было представить себя раз­давленной бабочкой под чужим жестоким каблуком. Хвельку, перепуганного и усталого, оставили прибирать дом.

Аптека находилась рядом, даже если идти нога за ногу, предаваясь все­ленской тоске. Обычный двухэтажный домик, с четырехскатной крышей, с вывеской, на которой зеленым с позолотой нарисованы кубок и змея. Тихий такой домик в окружении старых лип. Но когда Вырвич взялся за щеколду, за дверью послышался резкий пронзительный крик, просто нече­ловеческий, в нем слышались возмущение и злоба. Рука Прантиша сама выхватила оружие. Лёдник также напрягся, приподнял саблю до уровня плеч, переглянулся со студентом и осторожно толкнул дверь. Та с предатель­ским скрипом открылась. Возможно, самым разумным было бы не лезть в новую ловушку, но когда послышался голос дядьки Лейбы — дядька при­зывал на помощь всех праотцев во главе с Авраамом, — Лёдник ринулся в комнаты, за ним Прантиш. Вдруг что-то визгливое стремительно бросилось в ноги гостям.

— Держите! Ох, кары египетские!

Непонятное существо визжало и металось по полутемной прихожей, дядька Лейба взмахивал широкими рукавами и ругался.

— Дверь закрывайте! Вот мерзкое создание!

Прантиш, наконец, изловчился и бросился на зверя. Точнее, птицу: потому что хлопали крылья, под рукой сминались перья, а клюв попал точно Прантишу в подбородок.

— Ах, холера!

Вырвич едва не выпустил клювастое страшилище, но аптекарь ловко под­хватил его, одной рукой прижав туловище, второй схватив за длинную шею.

— Дядька Лейба, зачем тебе павлин? — спросил ошеломленный Лёдник, отряхивая пух с дорожного камзола.

Запыхавшийся аптекарь затолкал разгневанную птицу в клетку размером с приличный шкаф. Павлин расправил перья и пронзительно пояснил, почему увидеть его во сне означает вскоре жизненную бурю.

— Пошли отсюда, а то поговорить не даст, чтоб его гром. — проворчал аптекарь. И уже в своей комнатушке, увешанной книжными полками, рас­сказал: — Пан писарь подарок сделал. Я его мость от почечуя вылечил, а он мне — эту птицу. Придумал, что крик павлина добавляет лекарствам от легочных болезней особенную силу.

— А откуда у писаря павлин? — поинтересовался Прантиш. Дядька Лейба вздохнул.

— От самого ясновельможного воеводы полоцкого, пана Александра Сапеги. Павлин этот особенно злой, эдакий бретер среди павлиньего народа, ну и, наверное, кто-то из птиц или из прислуги ему отомстил, так что птица досталась пану писарю полудохлой. Короче — на тебе Боже, что мне него­же. А я передарить кому-то эту радость не могу. Пан писарь — клиент посто­янный, вот и приходится терпеть.

Павлин оскорбленно каркнул, совсем как ворона, и отвернул от обид­чиков голову на тонкой шее. Лейба, наконец, сосредоточился на гостях и их проблемах, окинул острым взглядом светлых глаз бывшего своего подмасте­рья Бутрима и его нынешнего студента, физиономии у обоих были довольно унылые и нервозные.

— Значит, с Саломеей и ее гостями повидались. — задумчиво произнес аптекарь. — Я было сунулся в дом, но меня не пустили и на крыльцо. Посмо­трел я в глаза пана, что меня прогонял, и понял, что снова ты, Бутрим, влез по уши в какую-то недобрую авантюру и Саломейку за собою потащил.

— Влез, дядька Лейба, — с печалью признался Лёдник. — Не смог пре­одолеть свое любопытство. Начал исследовать хитрое приспособление, вместо того чтобы сразу с рук сбыть или в каморе запереть. Вот и. Снова моя Саломея — в заложницах. И еще один маленький мальчик может попла­титься. И нужна мне от тебя, дядька Лейба, книжка.

Услышав, какой именно трактат хочет полистать Бутрим, аптекарь даже разгневался: шарлатанством заниматься! Но добытый из недр хозяйского дома словарь енохианского языка с рисунками лег на обшарпанный дубо­вый стол. А еще бывший алхимик потребовал географические карты, самые совершенные.

Цифры и буквы с рисунка Пандоры Лёдник восстановил легко, кто бы сомневался в исключительной памяти этого зануды. Ни единого разочка ни единого проступка бедного студента не забыл. А потом началась длинная и неинтересная работа, в которой гостю немного помогал аптекарь, но в основ­ном горбатился сам Лёдник, шурша бумагами, как ветер сухими листьями.

Работа заняла вечер, полночи и еще весь следующий день. Енохианский язык для доктора Ди переводил его секретарь Эдвард Келли, назван он был по имени библейского пророка, отца Мафусаила. Тот Енох был взят ангела­ми на экскурсию в рай, о чем потом и написал книгу. Многие считали, что Келли своего покровителя просто дурачил, выдумывая несуществующие слова. Но если словарь языка есть — значит, на нем можно что-то зашиф­ровать и, соответственно, расшифровать. В трактате имелось девятнадцать «енохианских ключей», поэтических текстов, продиктованных будто бы самим духом Уриэлем, приводился алфавит небесного языка, и самое глав­ное, обозначение цифр.

Прантиш не очень понимал, что чертит на обрывках бумаги его про­фессор, поэтому тратил время на исследование аптекарского дома, где был три года тому назад. На полках прибыло банок с разными заспиртованными тварями, но такого добра было достаточно и в лёдниковских апартаментах. Под потолком по-прежнему висело на цепях чучело крокодила — обязатель­ный атрибут аптеки. А вот на стене появилась большая древняя гравюра, пожелтевшая, потрепанная по краям, раскрашенная выцветшими красками. Гравюра представляла собой карту, на которой кроме очертаний рек и гор были обозначены маленькие каменные дома и красивые храмы с куполами, пучки пальм, верблюды, удивительные деревья с такими большими плодами, что должны были бы в реальности переломить ствол дерева своей тяжестью. Посередине красовался город, обнесенный зубчатой стеной. В углу надпись витиеватыми готическими буквами: «Иерусалим».

От пана Агалинского известий не было. Тот не возжелал воспользоваться гостеприимством ненавистного доктора — он приглашал всю компанию в дом своей жены, так как его собственный дом был продан за долги. Не остановил­ся Американец и в гостином доме — горожане не напрасно не желали их строить, несмотря на понуждения магистрата. Пани Гигиена там не ночевала, поэтому путники не очень охотно соглашались кормить казенных клопов, да и горожанам намного выгоднее было поселить приезжего у себя и получить живые деньги. Вот пан Гервасий и снял большой дом рядом с кабачком. И ясное дело, на некоторое время огненный меч доктора Ди и месть поганому доктору отступили перед мощью местной водочки-акавиты, коей здесь дела­лось сорок сортов: анисовая, тминная, полынная, голубая на зверобое. — а как же не попробовать каждой хоть по рюмочке?

А Прантиш после прогулок по Нижне-Покровской да Витебской, шуточек с молодками из Заполотья, с удовольствием наблюдал, как дядька Лейба под докучливые крики сапеговского павлина готовит на продажу лекарства. Он делал все не так быстро, как Бутрим, зато и не так серьезно, а будто играл в очень интересную игру, сам удивляясь тому, что получается, и рассказывая множество удивительных историй. О глиняном болване Големе, которого умели оживлять великие мудрецы с помощью написанного на его лбу слова «эмет», что значит «правда». О том, что в хвосте павлина смешивается 365 цветов, ибо именно через столько небесных сфер проходят эманации эфира. Что если хочешь сделать фитиль, который позволит видеть зеленых существ, летающих подобно воробьям и другим птицам, надобно взять зеле­ное сукно, коим кроют гробы, положить туда птичьи мозги и перья с хвоста, завернуть, поместить в новую зеленую лампу, наполненную оливковым мас­лом, и зажечь. Никогда до конца не было понятно, говорит Лейба всерьез или шутит, но Прантиш искренне веселился, слушая фантастические басни. Неудивительно, что маленький Бутрим в свое время, помогая аптекарю, так увлекся алхимической да лекарской науками.

Наконец, когда голова студиозуса уже раскалывалась от воплей мерзкой птицы, Балтромей объявил, что рисунок Пандоры теперь имеет прочные координаты. Спасибо тому же доктору Ди, который поспособствовал основа­нию Гринвичского меридиана.

— Место на окраине Лондона. — утомленно рассказывал Лёдник. — Но если сверяться с картами — самая последняя пятидесятилетней давности, — теперь там городские трущобы. Я по студенческой дерзости своей здесь шастал, но, поверьте, если б был без компании местных, один из них, кстати, настоящий лорд, пустившийся во все тяжкие в притонах Ист-Энда, мог бы навсегда там остаться, и выловили бы меня в Темзе без кошелька и носа.

— Так что вы должны оттуда привезти? — осторожно спросил апте­карь. — Снова какую-то святую реликвию?

— Хуже, дядька Лейба, — мрачно пояснил Лёдник. — Оружие мы долж­ны привезти.

Аптекарь покрутил головой и тяжело вздохнул, даже пламя свечей зако­лебалось.

— Чего только люди не выдумывают, чтобы друг друга истребить. Как будто главная цель их жизни — чужая смерть. А чтобы победить самого вели­кого богатыря или войско, достаточно ослиной челюсти или обычной пасту­шьей трубы, главное — чтобы на твоей стороне был Господь. Не хочу даже знать, Бутрим, что ты должен добыть. Мне хватило созерцать эту книгу. — аптекарь презрительно ткнул пальцем в трактат енохианского языка. — А кто, так сказать, ваш заказчик?

— Если бы кто-то один! — с досадой проговорил Вырвич. — А то обло­жили со всех сторон. И каждый по-своему угрожает. И как ни крути, всех мы не ублажим.

Между тем, политические вихри дошли и до Полоцка. Прантиш, пока Лёдник сидел в аптеке, во время гульбы наслушался от лавочников, извозчи­ков, старьевщиков да торговок и о страшных битвах между панами в Вильне, и о знаке на небе в виде скрещенных красных копий, что, как всем известно, пророчествует братские распри, и о призраке пана Михала Володковича, который с завидной преданностью стережет Менскую ратушу, и про ведьмачку с мельницы, дочку водяного, что едва целую деревню не уморила красным почесуном, и о Черном Лекаре, который вернулся на днях в Полоцк, чтобы наварить золота, и о пане Гервасии Агалинском, затеявшем драку с бычком во дворе корчмы, и хорошо, что у бычка рога были подпилены, так что пан отделался синяками на самом деликатном месте, — получил, когда от того бычка деру давал.

Шпионская наука, по всему ясно, была для пана Гервасия намного более сложной, чем для студиозуса Вырвича анатомия. Тихого тайного отъезда не получилось. Когда всадники, профессор и студиозус, доехали до дома в Заполотье, где их должен был ждать пан Агалинский, во дворе толпились любо­пытствующие, которые наблюдали за подготовкой веселого щедрого пана к отъезду. Ехать в экипаже в самое разводье означало потерять уйму времени, поэтому отправлялись верхом. Зато пан Агалинский разжился королевским патентом, и они могли менять лошадей на почтовых станциях в первую оче­редь, как фельдъегери.

Более всего присутствующие рассматривали не лошадей, а пана Гервасия Агалинского. Посмотреть было на что: пан, очевидно, за эти дни ввязался в дуэль не только с бычком. Один глаз заплыл сине-красным, другой смотрел на мир очень мрачно, лицо вспухшее, заросшее рыжей щетиной.

Пан Агалинский схватил кувшин, поднесенный ему прислугой из лавки, обливаясь, взахлеб выпил. Кувшин задорно разбил о камни полоцкой мостовой.

— Поехали!

В добротных кожаных мешках, которые положили на запасного коня, нашлось место астролябии.

К Лёднику подошел с виноватой физиономией Хвелька, стал бормотать, что если бы здоровье позволило, он бы никогда пана не покинул. Хвелька должен был присматривать за домом Реничей.

— За отваром будешь ходить к апекарю Лейбе, — сурово распорядился Лёдник.

Зато не пришлось долго уговаривать пана Гервасия принять в компанию еще одного очень нужного попутчика, который должен был присоединиться к ним за городскими воротами. В действительности пану Агалинскому было все равно, кто с ними отправится, Давид, Голиаф или Бова-королевич. Амери­канец был озабочен тем, чтобы не свалиться с коня и не очень показывать, что полученные от бычка травмы мешают благородному делу. Разговор с паном уподобился ложке в загустевшем киселе, что целиком Прантиша удовлетво­ряло. Правда, Агалинский все-таки пробормотал, что в Корытники назначил нового эконома, дал распоряжение отменить подушное и послал мужикам три воза зерна.

Небо затянули тучи, будто паненка задернула занавески, рассмотрев, что кавалер под ее окнами недостаточно щегольской. А чтобы стало совсем плохо, линул холодный дождь. Это по крайней мере заставило зевак попря­таться по домам и уже там домывать косточки Черному Лекарю, гостившему у еврея Лейбы, и пану Агалинскому, которого даже жалели, что связался с подозрительной компанией. Сын кожевника — известный ведьмак, женатый на ведьмачке, и вон в какую силу вошел. Пан над панами, лучше на глаза не попадать, а то сглазит. Слава Богу, отъезжает.

Городские ворота исчезли за серыми нитями дождя. Студиозус нетер­пеливо приподнимался в седле, высматривая сквозь ливень таинственного всадника. Возможно, это будет кто-то похожий на Ватмана — изощренный сильный вой, который убьет и не поморщится. А может, хитрющий шпик, похожий на князя Репнина.

А новый спутник присоединился совсем неожиданно, выехав из-за при­дорожной часовни, как участник призрачной дикой охоты. Коротко махнул всем рукой и поскакал впереди, будто так и надобно. Сменный конь незнаком­ца был нагружен приличными сундуками, что свидетельствовало — хозяин не собирается терпеть в дороге неудобств и недостатков. Лёдник кинул на пришельца короткий взгляд и снова углубился в свои раздумья. Пан Агалинский даже головы не повернул. Прантиш пришпорил коня, чтобы поравняться с гостем да поговорить, но напрасно — разговора не получилось. Посланец, щуплый, как подросток, был закутан в неброский, но добротный дорожный плащ, на глаза надвинута шляпа, нижнюю часть лица тоже не рассмотреть под навернутым шарфом, что неудивительно, ибо обниматься с мокрым ветром любителей мало. На вырвичские слова пан только вежливо поклонился и настойчиво махнул рукой вперед. Прантишу все это не очень понравилось, но будет же у них привал, где незнакомцу придется раскрыться. Пока что Вырвич оценил саблю пришельца, настоящую турецкую серпантину с круп­ным диамантом на эфесе, изящные сапоги из синего сафьяна, которые может себе позволить не каждый шляхтич, французские перчатки из шагреневой кожи. Все — рассчитанное на дорогу, удобное, неброское на первый взгляд, но если присмотреться, магнатского снаряжения. Хозяин молодой, ловкий, не очень силен, но богат и страшно самоуверен. Но вряд ли он так владеет саблей, как Прантиш Вырвич своим Гиппоцентавром! Нужно будет подза­дорить и пофехтовать ради разминки. И уже тогда поиздеваться от души.

Придорожная корчма под названием «Венеция» если и напоминала зна­менитый италийский город, то огромными рыжими лужами, которые никак не объехать, заезжая во двор. Одноэтажное деревянное строение не обещало роскоши. Зато были свободные места и кони. А новый попутчик хриплым шепотом потребовал отдельную комнату, сыпанув одноглазому «венециан­скому» корчмарю столько денег, что хватило бы занять все здание, поэтому желанное помещение и получил. Бутриму и Прантишу пришлось делить комнату с Агалинским, который сразу же завалился на кровать и захрапел. Гнилой сенник пах болотом. Ночлег никак не обещал быть приятным, хоть Лёдник взял с собою от мелких кровососов несколько фунтов персидского порошка собственного приготовления.

Настало время без лишних ушей перемолвиться со спутником.

Тот стоял у окна своей комнаты, спиною к дверям. Щуплая фигура его была затянута в камзол из дорогой зеленой шерсти, на голове аккуратный паричок, напудренная коса перетянута черной атласной лентой. После того как ритуальные витиеватые фразы были произнесены и профессор, созерцая спину спесивого юноши, который все молчал и не двигался, начал раздра­женно кривить губы, тот, наконец, повернулся к гостям. Невинные голубые глаза взглянули так прозрачно, так открыто, носик вздернут так занозисто, розовые губы улыбались так интригующе.

На некоторое время в покоях установилось молчание, как в балагане, когда зрители поняли, что индийский факир действительно растаял прямо на сцене вместе с их кошельками, табакерками и часами.

— И что, ваша мость, означает этот кунштюк в духе итальянской народ­ной комедии? — наконец сурово спросил Лёдник. Полонея Богинская мило улыбнулась.

— Вы же получили письмо, пан профессор? Вот и выполняйте приказ. Благородный юноша Полоний Бжестовский, домашним учителем коего вы когда-то служили, едет с вами в Ангельщину.

Полонея показала на себя, подтверждая, что она и есть этот благородный юноша. Вырвич сразу вспомнил токайское вино с дурманом и злобно вы­крикнул:

— Ваша мость шутит? Мы оценили шутки вашей княжеской милости, но позволим себе напомнить ясной паненке, что нас ждет не прогулка, едем не в карете, а верхом, ночевать придется иногда на голой земле, в грубой мужской компании, коврики под ноги никто вам не постелет.

Но Богинская только улыбнулась.

— Ваша мость Вырвич считает меня похожей на изнеженных мещаночек с Оружейной улицы, что закрываются передником от пылких взглядов сту­дентов? Уверяю, я достаточно крепкое существо. — Взгляд паненки сделался жестким. — Никогда не понимала, почему мужчины считают женщин чахлы­ми да изнеженными. А попробовали бы вы, пан Вырвич, от семи лет ходить со стальными обручами на ребрах, не вздохнуть толком, в обуви, сжимающей ногу, в перчатках, плотно обтягивающих пальцы, на каблуках, от которых ноги, кажется, отвалятся. А знаете, как это — пару месяцев носить на голове тяжеленный каркас из проволоки, обмотанный чужими волосами, лентами да цветочками, когда спать можно только подложив под голову деревянную подставочку, а почесаться, извините за некуртуазную подробность, получает­ся только прутом? А юбки, в которых невозможно пройти в дверь? Сколько бы вы выдержали такие пытки? — Полонея театрально вскинула руки, будто крылья, и счастливо засмеялась. — Да я сейчас взлететь готова! А насчет моих боевых способностей тоже не сомневайтесь — с тяжелым палашом не управлюсь, но кинжальчик, пистолет. В конце концов, мне рассказывали, что в вашем любимом Полоцке жила княжна, которая в двенадцать лет вопре­ки воле родителей пошла в монастырь, потом тоже вопреки всем постригла в монахини двух своих сестер, строила каменные храмы, переписывала книги. И даже съездила в Иерусалим — через все моря и пустыни!

— Сравнение неуместное, ваша мость! — холодно промолвил Лёдник. — Княжна Евфросиния не за приключениями ехала, а поклониться Гробу Господню.

— Да что я вас будто уговариваю. — паненка вдруг разозлилась. — Это вы должны выполнять, что я скажу. Если, конечно, пан профессор желает когда-нибудь встретиться со своей женой.

Лёдник просто скользнул вперед, как черная змея, навис над паненкой, которая судорожно сглотнула, пытаясь не показать страха.

— Вижу, ваша мость начиталась Дидро и Вольтера, прогрессивных идей насчет женского равноправия, долой корсеты. Ваша мость представляет себя амазонкой и Клеопатрой в одном лице. Так значит, это благодаря вам Саломея очутилась во власти красноглазого гунна Ватмана?

Ядом в голосе Лёдника можно было отправить на тот свет не одну Кле­опатру, аспид от зависти завязался бы морским узлом. Но Богинская только прищурила голубые глаза и ответила не менее ядовитым тоном:

— Кто же виноват, пан профессор, что вы такой умный. Не трогали бы восковой куклы, не чинили бы ее, не разгадывали бы ее загадки — и вас бы никто не трогал, и естественно, вашу жену. А теперь поздновато на жабу дышать, чтобы от хвори избавиться. Так что я — пан Полоний Бжестовский, сын ваших бывших хозяев и благодетелей, который так засиделся за книгами, что пренебрег исконно шляхетскими занятиями, почему и отправлен в опас­ные авантюры под вашу ответственность и присмотр.

В конце фразы голос Полонеи снова сделался кокетливо-наивным. Лёдник побледнел, а потом вкрадчиво проговорил:

— А ваш ясновельможный брат, его мость пан Михал Богинский, знает, что вы едете с нами?

— Вы сомневаетесь в слове княжны Полонеи Богинской? — холодно про­говорила панна. Бутрим скривил губы.

— Как сын кожевника, могу себе позволить нешляхетное поведение. Не только сомневаюсь, ваша княжеская мость, в благородных словах вашей милости, но и убежден, что к нам был отправлен совсем другой человек. И не лучше ли мне сообщить его мости пану Михалу, где находится его младшая сестрица?

Это был сильный удар. Но Богинская не испугалась. Приложила к губам палец, изображая сосредоточенные раздумья.

— Интересный получается силлогизм. Как же нам решить эту задачу? Вы сообщите моему многоуважаемому братцу, где я, а я в ответ сообщу, что вы нарушили договор с ним и передали всю информацию про огненный меч Радзивиллам, а меня силой заставили ехать с собою, чтобы иметь заложницу, которую можно обменять на пани Саломею. И как вы думаете, васпане, кому поверит мой брат князь — сыну кожевника и недоученному студенту или родной сестре?

И снова мило улыбается! Вырвич не выдержал:

— Да зачем тебе это нужно? Что за блажь в голову пришла?

Богинская скромно опустила глаза.

— У меня через пару недель обручение. А жених так спешит, что сразу после обручения, не оглянусь, свадьбу устроят. Пан брат почему-то при­нял всерьез все эти сплетни о моем будто бы непристойном поведении и что только твердая мужнина рука меня обуздает. А я что-то под ту твердую муж­нину руку не очень стремлюсь! — Полонея больше не играла, насмешка в ее голосе смешалась с подлинной горечью. — Жених мой предполагаемый уже трех жен обуздал. И пряменько до ворот в рай довел. Так что лучше опасная перегринация!

Бутрим сверлил взглядом «пана Бжестовского».

— Никаких поблажек не будет! Подносить нюхательную соль, подсажи­вать на коня, подсовывать лучший кусочек — не в наших условиях.

— Какие еще поблажки? — гордо вскинула голову Полонея. — Паны должны забыть, кто я. Так что, пан Вырвич, — заявила Богинская, — поста­райтесь не направлять в мою сторону вашу выдающуюся галантность.

Прантиш почувствовал, как запылали его щеки.

— Я уже понял, что галантности паненка не ценит!

— Тихо! — отрывисто прикрикнул Лёдник. — Я сам прослежу, чтобы его мость пан Вырвич не позволял себе даже взглядов, которые могут выдать настоящую сущность пана Полония Бжестовского. И чтобы пан Полоний Бжестовский не начал капризничать, как светская дама.

Прантиш даже не попрощался с коварной красавицей.

Перед тем как профессор вышел из комнаты, панна тихо промолвила:

— Пан Лёдник, Саломея в безопасном, уютном месте, с нею обращаются самым лучшим образом. Поверьте, Ватман ничего с ней там не сделает, он ее даже видеть не сможет.

Лёдник застыл на месте, потом коротко бросил через плечо:

— Спасибо, ваша мость.

Корчма «Венеция» плыла по водам белорусского дождя, и тусклые паруса ее окон раздувались от храпа путников и мечтаний недоученных студиозусов. А где-то в полоцкой аптеке дремал взбудораженный павлин, и каждое его перышко хранило глаз античного бога Аргуса.

Глава девятая

Прантиш Вырвич и дракон

Нормальный белорусский дракон питается яичницей.

Если, конечно, его вырастил умный хозяин из похожего на черную ракуш­ку яйца, снесенного черным петухом, и если тот дракон живет в клети и носит хозяину золото. Почему же не угостить полезную животинку?

Главное, чтобы хозяйка случайно яичницу не посолила, — а то дракон так обидится, что устроит пожар.

Пожар не пожар, но за то, что по вине студиозуса путники остались без соли, получит он огненных словечек в свой адрес. Да, нужно было плотнее крышку солонки прикрутить, нужно, но ведь спешил. А просыпанная в такие дожди в сундуках соль сразу же исчезает во влажной коже и древесине. Конечно, утрата будет восстановлена в ближайшей корчме. Но они уже два дня не могут добраться до корчмы, дороги размыло, а придорожная станция, на которую рассчитывали, похоже, совсем недавно сгорела — и дождь не спас. Вот ведь — на беду и вода горит. Пан Агалинский только щерится да шутит над изнеженными штатскими, которые в военных походах не бывали. Осо­бенно поддразнивает юного красавчика Полония Бжестовского. Но и покро­вительствует ему — пан Бжестовский сразу покорил сердце вояки искренним восхищением мужеством и военным опытом Американца, ну и тем, что не уставал слушать американские да здешние байки. О царице Кинги, чей дво­рец провалился в землю, и теперь ночами царица сидит на камне на горе, пересыпает золото в сундуке и ждет, когда какой-нибудь смелый путник при­несет ей букетик цветов. О дорожном духе Кликуне, что летает на крылатом змее с кнутом в одной руке и золотым рогом в другой, и если бы лето, можно было бы увидеть его в пыльных вихрях на дороге. О чуме, которая превраща­ется в сову и летит за человеком, окликая его по имени, и главное тогда — не оглядываться. Естественно, пан Агалинский со всеми персонажами своих рассказов был знаком лично, во что пан Бжестовский, конечно же, верил. Прантиш аж захлебывался от ярости — как хитрющая Богинская, поддакивая да нахваливая, умело направляет мысли и настроение простака Гервасия, при­чем всем заметно, что она тонко издевается, а пан Гервасий даже раздувается от гордости и продолжает поучать благородного милашку отрока.

Зато никаких капризов от Полонеи из-за дорожных тягот, на удивление Вырвича, не было. Панна даже не чихнула после ночлега в руинах сгоревшей станции, когда от дождя и ветра спасало только натянутое на жерди набряк­шее одеяло. Только заметила, что в варшавском дворце сквозняки зимой не слабее, беднягам дамам приходится сутками фланировать в декольте, а в мороз кожа так синеет, что белила не спасают.

При упоминаниях о придворной жизни у Агалинского и Богинской ока­зывалось много общих тем. Оба знали дворцовые сплетни, могли долго обсуждать, действительно ли пани Чарторыйская любовница князя Репнина, кто украл знаменитый серебряный кубок на две кварты воеводы Валицкого, который хозяин предлагал осушить залпом за пятьдесят дукатов, а кто не сумеет — тому пятьдесят батогов, и честно ли подкоморий Казимир Понятовский убил на дуэли любимца Варшавы пана Тарло. Лёдника такие материи не трогали, а Прантиш просто ничего о них не знал.

Зато во взглядах на будущее Речи Посполитой никакого единства не чув­ствовалось.

Полонее Богинской было все равно, станет ее брат королем с помощью российской императрицы, прусского императора, шведского короля или вообще турецкого султана. Балы для владычествующих лиц будут устраи­ваться всегда. И так же все равно, где на них танцевать — в Варшаве, Вене, Париже или Вильне, лишь бы весело и можно было позволить немного при­ятного амурного риска. Пан Гервасий Агалинский почитал сарматские иде­алы, а воплощением их считал своего хозяина Кароля Радзивилла. Что тот изречет — то пан Агалинский с помощью добытого огненного меча и станет выполнять. Шляхта должна быть сама себе законом! Главное, пан Кароль не допустит, чтобы всякая шваль, мещане, сыновья кожевников, равнялись с настоящей шляхтой и мешали свою беспородную кровь с благородной. Лёдник, конечно, с этим не согласился бы. И вообще профессор, похоже, мечтал о чем-то вроде республики в белорусских краях со свободой вероисповедания и господством науки и философии. Счастье еще, до политических дискуссий вроде сеймовых дело не дошло. Полонея умело уклонялась от серьезных раз­говоров, Лёдник отмалчивался, но Прантиш всерьез побаивался, что если кто из попутчиков заведется, до Ангельщины никто не доедет. Даже до Гданьска, где ждал корабль.

Вырвич особо не возражал, когда Лёдник дорогою читал лекции. Все лучше, чем грызться между собой.

Между тем дорога вынырнула из леса, резко повернула и привела к прекрестку с тремя тополями, которые потеряли почти все листья, только вершины желтели. Лёдник сверился по картам, проигнорировав астролябию, демонстративно вынутую Агалинским из кармана, и сообщил, что нужно ехать прямо. Но тут на дороге слева показался воз. Чтобы снова не очутиться на развалинах, стоило расспросить тутошних о местных корчмах — польским языком владели все. Нужно срочно менять лошадей, та, что под Лёдником, вот-вот начнет хромать.

Семейная пара на возу, груженном добротными корзинами, муж и жена в вышиваных тулупчиках, празднично одетые, были не очень склонны к разговорам на перекрестках с подозрительными незнакомцами. Женщина, до самых бровей обвязаная белым шерстяным платком в красные розы, только молча посматривала на чужаков. Мужчина в смушковой шапке все же неспешно вынул изо рта трубку и сообщил, что ближайшая корчма в том направлении, куда едет уважаемое панство, часах в трех езды, но примут ли там путников, неизвестно, потому, что все корчмы переполнены теми, кто едет в Дракощин на осенний фэст.

Будто в подтверждение, слева показались два всадника, а потом бричка. После того как несколько дней, кроме дождя, ни с кем не встречались, это был неожиданный наплыв людей.

— А что за фэст? — сразу заинтересовался пан Агалинский. Мужик снова взял трубку в рот, пыхнул дымом в пшеничные усы.

— О фэстах в Дракощине стыд не знать, милостивый пан! В том городе живет настоящий дракон! Вот уже восемнадцать лет, как живет. В пещере около ратуши. Ух и злющий! Девушек красивых жрет, жертв требует. Ревет так, что мостовая трясется! Изрядный дракон! Можно просто съездить, послушать, посмотреть. А лучше всего на фэст, вот как мы, — там и состя­зания лучников, и карусель рыцарская, и представление будет, как святой Михаил убивает дракона. Опять же, продать что-нибудь, купить. Мы вот всей семьей цельный год корзинки плетем, чтобы там сбыть. Что на базаре в Дракощине куплено — драконову мощь приобретает!

Лёдник и Прантиш, вскормленные академической наукой, одинаково скептически хмыкнули.

— Однажды в краковский дворец единорога привозили, — иронично проговорила Полонея. — Дамы наши все побежали смотреть, рог священного животного потрогать, чтобы потом хвастать, что подтвердили тем свою дев­ственность. А один бойкий пан залез в вольер и объявил, что рог несчастной животинке прикрепили к носу с помощью клея.

— Ты сам дракона видел? — сурово спросил Лёдник у встреченного. Но тот, разозлившись, что паны сомневаются, только пыхнул трубкой и дернул вожжи.

Сине-серые тучи разошлись, будто их растолкал кто-то любопытный, чтобы посмотреть, что делается на земле. Тяжелое осеннее солнце подсве­тило сцену человеческих комедий, трагедий и фарсов, которую поливают кровью и моют слезами.

— Вы как хотите, ваши мости, но я дальше никуда не двинусь, пока не посмотрю настоящего дракона! — заявил пан Гервасий, даже ноздри раздувая от азарта. — Пусть хоть весь мир в тартарары — а посмотрю!

И было понятно, что пана не переубедить. Даже Лёдник только сжал зубы и прошипел что-то неодобрительное. А Прантиш глянул на насмешливое личико Полонеи, она же — пан Полоний Бжестовский, и со страшной силой зажелалось, замечталось: а вот победить бы того поганого дракона, бросить его отрубленную голову под ноги гордой паненке Богинской — и чтобы в ее холодно-ироничных глазах запылал огонек восхищения, из которого нетрудно раздуть костер настоящей любви.

Ну и побыть на городском фэсте, после ночлегов в чистом поле поспать на кровати — хорошая приманка!

Лёдник сверился по картам и заявил, что никакой Дракощин на них не обозначен, а есть в паре верст отсюда маленькое местечко со скромным назва­нием Земблица. Не иначе, теперь переназваное в честь чуда-юда. Естествен­но, всю дорогу пан Гервасий бубнил о драконах — водяных, воздушных да подземных, а также об американском змее Цукане, сплошь обросшем перья­ми, а на голове у него грива, как у коня.

Дракощин, бывший Земблица, был похож на игрушечный городок, какие рисуют на тарелках. Острые шпили храмов, кованые балкончики домов, тол­стые стены с подъемным мостом. А как чистенько! Прантиш таких местечек в жизни не видал. Метельщики да фонарщики здесь явно не голодали и созда­ли мощные цеха. Город был украшен, как огромный зал для балов. Разноцвет­ные ленты, гирлянды из искусственных цветов. И повсюду — изображения дракона. На флажках, на вывесках, на рубахах и шляпах (одну такую, зеле­ную, с имитацией чешуи, Американец сразу же купил себе). Броши и серь­ги в виде драконов (на это добро тоскливо посматривала Полонея, которая вынужденно вела себя по-мужски, а значит, не скупала женские безделушки), бумажные драконы, коих можно запускать в воздух на веревочках, свечи, отлитые в виде драконов, драконы фарфоровые, драконы сахарные, драконы из теста. Когда Вырвич присмотрелся, заметил, что на всех изображениях крылатый змей был пронзен мечом.

— Потому что иначе — грех! — чинно заявил торговец воздушными чудищами, на спине которого тоже был нарисован меч с эфесом в виде гераль­дической лилии. — Епископ объясняет: мы не дракона почитаем, а неизбеж­ную победу над ним! — И перешел к торжественному громкому рассказу, адресованному всем потенциальным покупателям: — Помните все, наш несчастный город страдает под властью свирепого чудища, посланного нам за наши грехи, и мы вынуждены терпеливо ждать избавления, когда избранник милостию Божией убьет творение тьмы! А чтобы это произошло быстрее, на память о славном Дракощине купите, уважаемые, воздушного змия! Всего десять грошей!

Камни мостовой блестели, как вымытые с мылом. На каждом углу лют­нисты да шарманщики распевали героические песни о битвах с участием дракона, в которых фигурировал непобедимый рыцарь с месяцем во лбу, а также страшные баллады о преступлениях дракона. Эти же страшилки можно было почитать на больших цветных плакатах, развешанных по стенам: чуди­ще требует в жертву самую красивую девушку местечка, подгребает под себя кучи золота и украшений, перекусывает зубами мост, глотает карету вместе с людьми, которые беспомощно высовываются в окна и молят о помощи. В одном месте, около пекарни, под вывеской в виде огромного кренделя, послышались знакомые слова: белорусский лирник, как и положено, слепой, в тулупе, с длинными седыми волосами и бородой, выводил тонким сильным голосом:

— Даўным-даўно тое было:

Кругом зямлі мора лягло.

А ў моры тым тай жыў люты Цмок,

Штодня збіраў з людзей аброк.

Пан Агалинский сыпанул лирнику-земляку в шапку, что лежала на мосто­вой, денег. И певец, не прерывая пения, как-то слишком ловко для слепого подтянул к себе шапку ногой.

Вырвич заметил, что рядом с изображениями дракона все время встре­чается изображение красивого юноши с золотыми волосами, который гордо вздымает меч с эфесом в виде лилии, а на лбу воина нарисован почему-то перевернутый молодой месяц, рогами вверх, как челн. Прантиш решил, что это местная трактовка святого Михаила либо иного драконоборца, святого Юрия.

Между тем пестрая толпа двинула по запруженным улочкам в центр горо­да, туда, где возвышался шпиль самого высокого храма.

— Сейчас голос подаст! Кормежка у него! — кричали люди, толкаясь, и лезли едва не под копыта лошадей. Вырвич и его спутники все-таки въехали на площадь с огромным готическим костелом из красного кирпича и бело­каменной ратушей.

— Ти-хо! — заорал кто-то, и толпа умолкла, как поле перед грозой. Прантиш затаился, ожидая какого-то мошенничества, но в глубине души так хотелось настоящего чуда! И вдруг.

Нет, это было не мошенничество. Откуда-то из-под земли послышался рык живого существа, голос древнего ужаса, нечеловеческого одиночества и жажды. Завизжала женщина, заплакал ребенок, зафыркали кони. Глаза людей загорелись смесью страха и любопытства.

— Я должен посмотреть на это страшилище! — аж застонал Америка­нец. Расспросы обнадежили: хотя узреть дракона стоит немалых денег, но это возможно. Только нужно занять очередь в магистрате. И через пару дней... Правда, дракона показывают только через специальные окошки в дверях под­земелья, но историй о нем сторожа расскажут!

Зато никакие деньги не помогли снять приличные помещения хоть в каком гостевом доме. Только невероятная сумма в двадцать талеров и напори­стость пана Агалинского обеспечили странникам одну комнатку на всех под самой крышей отеля «Под золотой курицей». Конечно, ради этого из комнаты отселили в какой-то чулан менее денежных гостей.

Отель состоял из четырех этажей, причем было заметно, что верхние достроены совсем недавно, спешно — ясно, что из-за притока любопытству­ющих. Вообще, во всем городе шло строительство, то там, то тут виднелись леса, дома сияли свежими красками.

Нужно ли уточнять, что изображения дракона, меча с эфесом в виде лилии и юноши с месяцем во лбу украшали все комнаты отеля «Под золотой курицей», и даже ночные вазы.

Из харчевни на первом этаже поползли соблазнительные запахи. Пан Агалинский растолкал пеструю публику, продираясь к столу, который вызволил тоже очень просто, выбросив из-за него двух мелких мещан, по одежде — то ли писцов, то ли судебных канцеляристов.

— Верещаки и пива!

Верещака — это было самое модное блюдо, придуманное поваром Авгу­ста Саса по фамилии Верещака. Здесь, судя по заказам посетителей, ее умели готовить неплохо.

Музыканты — лютнист, скрипач и владелец контрабаса-басетли — выво­дили мелодию баллады. Отгадайте, о ком? — о драконе и святом Михаиле. Дым и шум наполняли корчемку не меньше, чем придорожную белорусскую, разве что пили не водку, а медовуху, и на горожанах красовались не шапки-магерки, а шляпы с перышками, и разговаривали не по-белорусски, а по-поль­ски, по-немецки, изредка — на голландском и французском.

Не успела дородная шинкарка в белом чепце размером с небольшой стог принести заказанные кувшины с пивом и верещаку в глиняных мисках, как посетители взревели и повскакивали с мест, кого-то высматривая. Прантиш завертел головой и тоже приподнялся.

И увидел парня с полумесяцем во лбу.

Точно такого, как на рисунках. Хорош, будто королевич, золотые волосы до плеч аккуратно подвиты, алый камзол с золотом, дилея с горностаевой отделкой. За юношей двигалась свита, тоже красиво убранные шляхтичи, а уж как посматривали на этого горделивого красавчика девицы! А тот встал посередине корчмы, властно поднял руку — белые кружева манжета аж сле­пили, и промолвил во внезапной уважительной тишине:

— Многоуважаемое панство, земляки мои да гости нашего славного города! Завтра в полдень приглашаю всех в ратушу, на очередное испытание лилейного меча! Мы определим, настало ли время моей смертельной схват­ки с поганым чудовищем, кое захватило наш несчастный город. Приходите, чтобы искренними молитвами святому архангелу Михаилу, драконоборцу, поддержать меня в стремлении освободить родной город!

Присутствующие взревели, зашумели. Кто-то крикнул: «Виват пану Доминику Ранглинскому, избраннику!» Восклицание подхватили. Прантиш перехватил взгляд Полонеи, которым она проводила надменного красавца, и сердце у него дрогнуло.

Да что же, лихо их возьми, в этом местечке происходит?

Пан в багровом полинялом жупане и с носом такого же цвета, по произ­ношению — с Волыни, охотно пояснил все несведущим приезжим. Дракона просто так убить нельзя, ибо он послан городу в наказание за грехи! Но Господь если и дает страдания, дает и средство избавления. Поэтому было пророчество, что родится мальчик с полумесяцем во лбу, который в опреде­ленный час убьет дракона, и непременно мечом с эфесом в виде лилии, храня­щемся в ратуше в специальном застекленном шкафу. А случится этот смерт­ный бой только тогда, когда в день святого Михаила меч в руках избранника засияет ангельским огнем!

И здесь огненный ангельский меч.

Лёдник фыркнул, демонстрируя свое скептическое отношение к романти­ческой истории. Пан Агалинский даже подпрыгивал от радости, что, возмож­но, увидит живого дракона. А Прантиш мрачно думал — вот же, кому-то везет в жизни, признали того Доминика избранным, носятся с ним, как с золо­тым яйцом, девицы готовы от восхищения из юбок выпрыгнуть. А впереди его ждет настоящий подвиг, о котором будут петь лирники и писать поэты!

Спать Вырвичу и Лёднику пришлось на полу, бросив на него сенник, так как в комнате помещались только две кровати. Пан Агалинский, про­стая душа, начал было ворчать, что изнеженных юношей, вроде Полония Бжестовского, как раз и надо укладывать на пол, да и на кровать запросто можно вдвоем лечь, и Прантиш долго потешался, представляя, что было бы, если бы Полонею уложили в постель к пану Гервасию, и тот «эмпирическим способом» узнал, что с ними путешествует девица в мужском костюме. Не то чтобы это было неслыханным делом. В неспокойную эпоху ловкие дамы, отправляясь в странствие, часто переодевались в мужское — так гораздо безопасней. Но сам Вырвич был убежден, что он бы так не обманулся. Давно бы разоблачил авантюрную даму! Даже по тому, что дабы справить нужду, лжепарень отбегает от попутчиков, как от медведей, да стыдливо пря­чется за кусты.

Но что с рыжего Американца взять. Вон уже храпит себе.

Последнее, что в этот день увидал Прантиш, — как Лёдник, отчитав молитвы, при последнем свете свечи рассматривает листок с неровно начер­танными детской рукой буквами.

Утром Прантиш выскочил из дома, чтобы не пропустить чего-нибудь интересного. Как-никак, он впервые был в таком далеком зарубежье, где даже в бытовых мелочах отличия от привычного — хотя бы в манере женщин повя­зывать платок. А уж такой большой костел не осмотреть грех! Его построили еще крестоносцы, которые собирались здесь хозяйничать, пока не получи­ли пинка под Грюнвальдом от литвинов, поляков да жмудинов. У Вырвича даже дыхание сперло, когда он вблизи поднял голову, чтобы увидеть круглые витражи окон. Будто прямо на тебя по волнам неба плывет величественный красный корабль!

Прантиш с удовольствием поболтался среди горожан, приметил несколь­ко пригожих девушек. Перемигнулся.

А подымаясь по лестнице в помещение отеля, услышал гневные голоса Лёдника и Агалинского. Мудрый студиозус решил сначала послушать и разо­браться, что за каша там варится, — неохота под горячую руку панам попа­дать. Ой-ей, сцепились о политике!

— Из-за шляхетского своеволия гибнет государство! — гремел низкий голос Лёдника. — Пусть ваша мость вспомнит, когда последний раз не сорва­ли сойм? При Августе — никогда! Одно название — депутаты! Самый тупой пьянчуга использует «Либерум вето», и умный закон, который мог поспособ­ствовать благосостоянию всей державы, не принят! На выборах кто больше напоит да взяток сунет — тот и победил!

— Если бы не шляхетские вольности, державы и не было бы! — кричал пан Гервасий Агалинский. — Кто ее защитил от московцев, шведов, татар? Мещане? Мужики? Купцы? Шляхтич с детства готовится отдать жизнь, обо­роняя свою землю от врагов! Кто ты такой, чтобы о державе рассуждать? Хоть весь патентами нобилитации обвешайся — ты ничтожный мещанин!

— Я, может, и мещанин, но в моей деревне крестьяне не голодают!

— Ну да, мужика, известно, волнует, что другой мужик на обед имеет! — насмешничал пан Гервасий. — А ты знаешь, что крестьяне в твоей деревне сеют, какая там почва, хватает ли удобрения? Не стоит ли прикупить какой-нибудь луг? Приехал, посмотрел, копейку бросил — и на лекции. Какой из тебя хозяин имения?

— А вот интересно, если бы пан Лёдник мужиков в академию начал при­нимать. — это молвила легко-невинно Полонея. Вот же дрянь, специально подзуживает.

— Вот, это и есть безобразие в государстве! — подхватил Американец. — Я бы таких самозваных шляхтичей, как ты, клистирник, дальше конюшни не пускал! Ты же, схизматик, спишь и мечтаешь, как нашу землю москалям отдать! Думаешь, они тебя одарят, так станешь равным с нами! Не быть тому — князь и в России князь, а холоп — и в Риме холоп! — Агалинский кричал, как ворона на дождь.

— А неуч и пьяница — и на троне неуч и пьяница! — совсем разошелся в вольнодумстве своем Лёдник. — Благородные! Что же вы под Алькениками не были такими благородными, когда Богинские да Вишневецкие Сапегов разбили, а потом, напившись, в костел ворвались да пленных своих же панов-братьев порубали? Я в летописи сам читал: «Супротив Бога и совести обяза­тельства под присягой обещанное сломав и слова не сдержав, буде от перепития стаей ухарской в злобе и гневе более на зверей диких, чем на людей похожей, никакого верховенства княжеского не респектуя». Пленного гетмана Михала Сапегу ударом в спину убили. Это не я свою землю продаю, а те, кто право на трон готовы из чьих угодно рук принять!

— Да я тебе сейчас язык твой холопский отрублю!

В комнате зазвенела сталь, Прантиш еле сдержался, чтобы не вмешаться. Но сдержался правильно: что-то брякнулось об пол, и Лёдник холодно про­молвил:

— Не советую васпану повторять свой экзерсис. В честном бою у вас нет против меня шансов.

Кто бы сомневался, что доктор выбьет саблю из рук драчливого пана Гервасия в первую же минуту. Ну что, обошлось?

— Это я действительно ошибся, — голос пана Агалинского аж срывал­ся от ненависти. — Скрестил с тобою, мерзавец, свое шляхетское оружие! Забыл, кто ты такой и на что способен! Развратник и предатель! Все, хватит! Нос дерет, командует, поучает! — пан снова сорвался на крик. — Сейчас же расплачивайся, как присягал! Запорю, как собаку!

— Как будет угодно васпану! — Лёдник тоже зашелся от гнева. — Плеть — то оружие, которым вы владеете в совершенстве! Ничего иного стране от вас и не дождаться! Да мне приятней сейчас сдохнуть, чем дальше с вашей мостью одним воздухом дышать!

Похоже, фитиль догорел до последней ниточки. Прантиш ворвался в комнату. Лёдник бросил саблю и срывал с себя камзол, аж мелкие пуговки летели на пол, а Агалинский, красный и распаленный, как заходящее сол­нышко, сжимал в руке тяжелую плеть. Полонея сидела на подоконнике, как нарисованная, и искренне забавлялась.

— Паны, сейчас в ратуше дракона будут убивать! — звонко выкрикнул Прантиш, но оба дискуссанта, поедая ненавидящими взглядами друг друга, не очень обратили на него внимание.

— Ваши мости совсем обезумели! — Прантиш стал между врагами. — Мало того, что из-за вашей несвоевременной горячности не осуществится наша миссия, но и мы все погибнем! Во время фэста в городе под угрозой смертного наказания запрещено всякое насилие. Вас, пан Гервасий, повесят! А нас посадят в острог. И пользы будет, как у гуся овес покупать.

О запрете насилия Прантиш врал, но вполне возможно, какой-то подоб­ный обычай в Дракощине существовал.

— А вы бы, пан Полоний, сходили лучше посмотрели, как прелестник Доминик с мечом красуется, — язвительно бросил Вырвич Богинской. Та легко соскочила с подоконника.

— Ой, и правда! Как же пропустить такое зрелище! Для моего шляхетско­го воспитания героические примеры необходимы! А пан Гервасий не боится близко к дракону подходить?

Княжна, как всегда, ловко расшевелила нужные чувства. Лёдник и Агалинский, все еще тяжело дыша, готовые загрызть друг друга, немного охоло­нули. Пан Гервасий поднял свою саблю и обратился к доктору:

— Только потому и позволяю тебе еще немного пожить, что знаю — недолго.

И выскочил из помещения, так хлопнув дверью, что даже пауки разбежа­лись по щелям.

Лёдник молча надел камзол, на котором не хватало пары пуговиц, поднял саблю, стараясь не смотреть на Прантиша.

— Если васпан не дорожит собственной жизнью, — холодно промолвил Прантиш, — то подумал бы о судьбе двух человек, что напрямую зависят от его жизни.

Профессор вложил саблю в ножны так яро, будто втыкал в тело злейшего врага, и тоже хлопнул дверью.

С такими жильцами «Золотая курица» долго не простоит, на дощечки-камешки рассыплется.

Полонея с милой улыбкой приблизилась к Вырвичу, вся такая же куколь­ная, как Дракощин, в аккуратном паричке, голубом камзольчике с серебряны­ми пуговками, белых чулочках.

— Пан Вырвич, а что за присягу дал пану Агалинскому доктор?

Вырвич только молча просверлил коварную паненку взглядом:

— А вы впредь, пан Бжестовский, хорошо подумайте, прежде чем раз­жигать ссоры между взрослыми мужчинами, потому что следующий раз их, возможно, не удастся остановить, а если Лёдник умрет, вы останетесь один на один с паном Агалинским.

Панна немного побледнела, но Прантиш не стал ждать ее ответа и выбе­жал вслед за своим профессором.

Солнце щедро золотило даже серые камни мостовой. Люди валом шли к ратуше. В одном месте, где улицу перегораживала огромная лужа, в кото­рой плескался позавчерашний дождь, проворные местные ребята сладили хороший бизнес, перенося на собственных спинах через грязные волны тор­жественных паней в необъятных юбках и панов в белых чулках. Пан Полоний Бжестовский, естественно, воспользовался этим предложением.

А за вход в ратушу и честь присутствовать при испытании ангельского меча, оказалось, нужно выложить целых пять цехинов! Лёдник прошипел, что предприимчивый Дракощин выдоит даже магнатские карманы, но пан Агалинский и не задумался. А чего там — радзивилловским золотом кошелек набит, как рождественская колбаса.

Ратушу украшали два шитые золотом штандарта. На одном — правиль­но — пронзенный мечом дракон, на втором — архангел Михаил на коне. Первый этаж ратуши представлял собой огромный зал с колоннами, в кото­ром было так удобно разместиться важным гостям. Дамы со своими фижма­ми проплывали, как заваленные цветами челны, окутанные почти зримыми облаками парфюма, некоторые из панов демонстративно поднимали к глазам последнее свидетельство прогресса, только что из Парижа, — круглые сте­клышки на ручках, эдакая усовершенствованная линза батюшки пана Гервасия Агалинского, какую тот подарил симпатичной горничной. И пан Доминик со шрамом во лбу был здесь же — сиял, что начищенный червонец. Панна Богинская так и прилипла к нему взглядом. Ясно, если б не в мужской одежде, испытала бы на красавчике свои чары.

Затрубили фанфары. Пан Доминик торжественно подошел к постаменту в конце зала, на котором под стеклом лежал меч с эфесом в виде лилии. Два кавалера распахнули стеклянные створки.

Естественно, меч в руке избранника не засиял, не расцвел и не пустил сноп искр.

О чем с должной грустью было объявлено.

Битва с драконом откладывалась на год. Зато сейчас ожидалось очередное кормление чудища. Выбор жертвы для него (самой пригожей девицы). Теат­ральное представление. Турниры лучников и бардов, танцы, ярмарка.

А как же горькая судьба отданной на съедение девушки? Осознание, что чудище не побеждено? Ничтожные трусы!

Вдруг послышался громкий рык. Дамы, как положено, завизжали. Несколько слуг в красных одеждах торжественно провели через зал белую телушку, украшенную красными лентами.

— Он проглотит ее целиком! — объявил важный пан, тоже в красном кафтане.

Местный дракон питался явно не яичницей.

Прантиш был взбешен. Пан Доминик все так же самоуверенно прохажи­вался в сопровождении свиты и отвечал на глупые вопросы, вроде — как он не боится отправляться на битву со страшилищем?

Снова загудела труба, в зал вполз огромный, но кукольный, дракон, кото­рого играли актеры, накрытые зеленым сукном, и зрители устремились в другой конец помещения. Начиналось представление. Пан Гервасий и Полонейка двинулись за всеми. Балтромей Лёдник нашел компанию — худого, как штакетина, пана в черной мантии с золотой цепью на шее, свидетельством докторского звания, и оба ученых мужа, о чем-то важно переговариваясь, зашились за спины толпы.

Оскорбленный, разочарованный Прантиш остался один у стены, где на постаменте лежал никому ненужный меч. Вырвич осторожно открыл сте­клянную дверцу. Погладил сталь. Оглянулся. Даже стража отправилась посмотреть на клоунов. А там, в подземельях, пыхтел огнем еще живой дра­кон, захвативший несчастный город!

Рука сама ухватилась за эфес в виде лилии. Избранник! Какого рожна тот Доминик — избранник, если он даже меч правильно держать не умеет? Рыцарь не рассуждает, рыцарь идет в бой!

Дверь, за которой исчезла белая телка, распахнулась, слуги, вернувшиеся от дракона, бегом бросились присоединяться к зрителям.

Прантиш достал меч из витрины. А потом шляхтич Вырвич, как сэр Ланцелот, как Трищан, как гетман Кастусь Острожский, твердым и быстрым шагом отправился на смертный бой — осуществлять рыцарский подвиг.

Вход в подземелье, находившийся за ратушей, в обнесенном высокой стеной круглом дворике, выглядел очень прозаично: деревянные двери, укре­пленные железными полосами, будто в большой погреб. И даже не заперты! Вот же неосторожно. А если чудище вырвется, пожрет всех?

Прантиш спустился по широким ступеням в пещеру. В нос ударила страшная вонь. Но какая-то. совсем не легендарная. Будто бы вошел в боль­шой коровник. Глаза постепенно привыкли к полутьме. Какая там пещера! Помещение с каменными стенами, с окнами, забранными в решетки. А на стенах — ужасное: веночки с белыми вуалями. Известно — тех девушек, что стали жертвами. И несколько портретов висело здесь — красавицы грустно посматривали на Прантиша, будто молили: отомсти за нас, отважный рыцарь! Защити других невинных девиц от страшной смерти! Рука Прантиша изо всей силы сжала эфес лилейного меча.

Впереди ждали еще одни огромные двери с окошками, закрытыми иску­сно раскрашенными ставнями. Прантиш догадался, что именно через эти окошки и показывают за деньги чудище. А что оно там — точно! Студиозус слышал его дыхание, глухой рык, скрежет. Позорный пот волнения заливал глаза.

Но погибшие девушки!... А еще утереть нос избраннику Доминику.

И Прантиш рванул на себя тяжелые двери.

Да, он был там! Самый настоящий живой дракон. Свет скупо просе­ивался на него сквозь маленькие окна в потолке. Какой он был огромный! И какой-то. Будто покрытый плесенью. Блеклые глаза, как слепые, — где же в них огонь? Да из пасти тоже огня не видно. Зато пасть здоровенная! Половина Прантиша в нее точно поместилась бы. Голова дракона была одно­временно похожа и на змеиную, и на огромную лошадиную. А что наиболее странно — не виднелось крыльев! Возможно, они просто сложены, как у летучей мыши? Чешуи тоже, насколько Вырвич рассмотрел, не имелось — морщинистая блекло-коричневая кожа. Между огромных лап с грязными когтями величиной с арбуз лежали останки белой телушки.

Чудовище дышало, как испорченные меха. И вдруг взревело — но вблизи в этом реве слышалась не угроза, а скорее что-то жалобное.

Обманывает! Теперь следовало, наверное, вызвать дракона на дуэль. Ради будущих баллад. Но слова застревали, и вместо героической речи получилось нечто невразумительное и грубое, будто задиристые слова в драке бурсаков.

Вдруг чудище ударило лапой прямо перед Прантишем, когти отврати­тельно проскрежетали по камню.

Когда-то, во время учебы в иезуитском коллегиуме, Вырвич со своим другом, горбатым, но очень умным школяром по кличке Вороненок, рассуж­дали, как можно убить дракона. Ибо, естественно, Прантиш уже тогда меч­тал о подобном поединке, достойном рыцаря. Парни долго обсуждали, куда нужно нанести удар — драконову чешую не пробьешь, единственное — сразу попасть в глаз!

Прантиш, чтобы сбить чудовище с толку, двигался взад-вперед. Дракон молотил лапами, не попадая во врага, ревел, мотал головой. Но Вырвич про­шел еще и фехтовальную школу безжалостного Лёдника! И, улучив момент, бросился на бестию — раз! — меч по гарду вошел в блекло-желтый глаз! Если у чудища были мозги, их должно было пронзить насквозь.

Как взревело воплощение тьмы! Дракон бросался в стороны, на счас­тье, снова не вперед, не к дверям, к которым отскочил Прантиш. Корябал когтями камень. И наконец упал, застонав, почти как разумное существо, и в подземелье стало тихо-тихо. Даже в ушах зазвенело, и далекая музыка праздника показалась нездешним эхом. Подвиг осуществлен, город освобож­ден, красавицы в безопасности.

Теперь, согласно рыцарским романам, следовало в доказательство своего подвига отрубить побежденному дракону голову. Нужно же что-то бросать под ноги Прекрасной Даме!

Прантиш осторожно подошел к чудовищу (воняло от него, даже в глазах щипало!), сапогом потрогал лапу. Потом взялся за рукоять меча, едва выта­щил клинок из мертвого глаза. Даже если удастся за пару часов отрубить эдакую голову, разве человек может ее поднять? И навряд ли хоть какая панна обрадуется такому подарочку. А когда Прантиш все-таки попробовал ощу­пать шею монстра, его ждало ужасное открытие: железный ошейник! Дракон сидел на цепи! Здоровенной, в руку толщиной. Неудивительно, что он не мог достать ловкого студиозуса!

Стало как-то еще более неудобно. Но, может, хоть какой коготь на лапе отрубить?

Глаза все больше привыкали к полумраку, и дракон выглядел все более мерзко. И жалко. Шрамы, пятна. И этот кожаный мешок столько лет дер­жал в ужасе весь город? Вот же трусы здесь живут! А главный из них, конеч­но, шрамолобый пан Доминик.

Прантиш, чувствуя, что это самый важный момент в его жизни, двинул назад, изгоняя из головы все сомнения в собственном героизме.

Из дверей ратуши выглядывали испуганные людишки — видимо, услы­шали предсмертный крик чудовища.

Вырвич важно ступил в зал, поднял окровавленный меч.

— Ваш город освобожден! Я, белорусский рыцарь Прантиш Вырвич герба Гиппоцентавр из Подневодья, убил страшного дракона!

Музыка оборвалась, публика умолкла.

Как-то не так Вырвич представлял встречу победителя.

Люди начали перешептываться. Войт, чья физиономия заметно пере­косилась, отдал отрывистые распоряжения, и несколько человек побежали в подземелье.

Около студиозуса материализовался Лёдник, стал плечо к плечу, рука на эфесе сабли.

— Вырвич, — ласково проговорил доктор, не сводя настороженных глаз с толпы, — я называл вас когда-нибудь олухом?

— И довольно часто, профессор, — проговорил Прантиш, которому от не очень приязненных взглядов присутствующих становилось не по себе.

— Тогда для вас это не будет новостью. Вы — олух, пан Вырвич, — как-то очень грустно проговорил профессор.

— Убили! Дракона убили! — закричал кто-то за спиной. Люди загудели, как разворошенный улей, руководство города заспорило. Вырвич прислу­шался:

— Почему охрану не оставили? — сурово спрашивал войт.

— Кто же знал, что какой-то придурок решится. — оправдывался кто-то, дальнейший разговор потонул в общем шуме.

Архангел Михаил посматривал со штандарта на стене почти насмеш­ливо.

— Меч положи, не хватало еще, чтобы в хищении реликвии обвинили, — все так же ласково и тихо проговорил профессор, и Прантиш спешно, — все отшатывались, как от коростливого, — вернул священное оружие на место.

— А сейчас медленно, с улыбками двигаемся как можно ближе к вы­ходу.

Лёдник крепко ухватил студиозуса за плечо и поволок через толпу. Люди настороженно расступались, мелькнуло рассерженное лицо избранника Доминика.

— Дракон был убит без благословения святого Михаила! — вдруг заорал кто-то. — Держите охальника!

— А вот сейчас уходим быстренько, и даже очень.

Профессор толкнул Прантиша вперед и выхватил саблю. Поднялся шум. Лёдник и Прантиш приближались к дверям со всей доступной быстротой, к счастью, толпа препятствовала не только им, намного сильнее мешала охране. Пан Гервасий пробился к спутникам:

— Ну ты и устроил, пан Вырвич! Его мость пан Кароль Радзивилл обяза­тельно принял бы тебя в орден альбанцев!

Американец захохотал, как леший, и тоже оголил саблю.

Вот и дверь на площадь. А там — ноги не поставить из-за зевак.

— Дорогу победителю поганого дракона! — вдруг прокричал звонкий голос. — Начинаются большие гулянья! Музыка!

Панна Полонея Богинская, искушенная в дворцовых интригах, сбивала народ с толку. После ее выкрика вдруг даже музыка начала играть, а кто-то крикнул: «Виват!»

— Ты не просто испортил людям праздник, ты, пане, благополучие всего города упразднил, — ласково-угрожающе говорил на ухо Прантишу Лёдник. — Улыбайся, рукой помаши, болван несчастный. Может, удастся прой­ти без драки. Пан Бжестовский, держитесь за моей спиной!

— Хватай их! — кричал кто-то, но из-за шума и общей неразберихи никто толком не понимал, кого хватать и за что.

— Я же освободил город. Здесь девушек в жертву дракону приноси­ли. — бормотал Прантиш.

— Сим-во-ли-чес-ки! Символически приносили в жертву! — раздра­женно объяснял на ходу доктор. — Красавицы соперничали, которая лучше, победительница торжественно заносила в подземелье венок и фату. А потом счастливо выходила замуж с выделенным от магистрата приданым. Горожане этого реликтового ящера в болотах выловили. Доктор, с которым я познако­мился, лечил его — существо старое, насквозь больное. Даже выпусти — не догонит. Зато какой экономический успех! Нам бы, белорусам, так научиться свои малые города поднимать. Земблица эта за восемнадцать лет в три раза выросла. А сколько работы поэтам, художникам, артистам, музыкантам, архитекторам! И все рухнуло из-за одного студиозуса, которому зачесалось совершить подвиг!

— А как же этот. избранный. с полумесяцем во лбу? — растерянно проговорил Прантиш, обходя дородную пани в юбке с фальбонами, будто колючий куст.

— И как ты занимался медицинской наукой, если не можешь узнать обыч­ный шрам от подкованого копыта!

— А ну, с дороги, гицли! — пан Гервасий, как всегда, не просился, а действовал силой, грубой и надежной. Пани Полонея скромно пряталась за спиной Лёдника, самого высокого из компании.

Наконец они выбрались из густой толпы. Но судя по крикам, погоня при­ближалась.

— Нас на кусочки могут разорвать. — задумчиво проговорил Лёдник, и было понятно, что не шутит. — Быстрее! — и прибавил ходу. — Пан Бжестовский, не отставайте! Главное, из города выбраться.

— А как же вещи в отеле? — задыхаясь, прокричала на бегу Богинская.

— Считайте, их дракон проглотил!

Постепенно люди втягивались в новую игру — «лови преступника».

— Здесь они, вон, убегают! Хватай!

Кто-то толкнул торговца воздушными змеями, и те пестрой стайкой взле­тели в воздух.

Когда Прантиш в очередной раз оглянулся, то не увидел пана Гервасия.

«Испугался, рыжий вояка!» — злорадно подумал студиозус.

А между тем, похоже, их догоняли.

Прантиш тоскливо рассуждал — вот, совсем недавно совершил, как считал, великий подвиг и рассчитывал на виваты и уважение, венки, и вос­хищенные взгляды. А теперь порубят их на чужой мостовой да на тела плюнут.

Вдруг всех оглушил свист, бешеным аллюром промчались кони, запря­женные в красивую карету с незнакомым гербом, приостановились, едва не искры из-под копыт.

— Садитесь!

Пан Агалинский стоя управлял лошадьми, его рыжие волосы развевались, как флаг, — шляпу пан где-то потерял. Полонея первая уцепилась за распах­нутую дверцу кареты, ловко залезла внутрь. Прантиш и Лёдник запрыгнули уже на ходу.

— С дороги, увальни! Дракона вам победили, а вы еще недовольны! — орал Агалинский, нещадно подхлестывая коней. — Я пострашнее дракона буду! Пан мой, Кароль, городок ваш за час уничтожит!

Полонея выпустила несколько пуль во всадников, что пробовали догнать карету, и их пыл уменьшился. Наконец проскочили городские ворота — по причине праздника мост был опущен. Вот колеса кареты затряслись на уха­бах немощеного тракта. Потом по крыше застучали еловые лапы. Бегле­цы, свернув с наезженого пути, заехали в лес. Погоня отстала.

Наконец пан Агалинский остановил приуставших коней и тоже залез в карету, шумно выдохнул.

— Я даже астролябию бросил! Проклятый городишко.

— Теперь Дракощин придется снова переименовывать в Земблицу, — задумчиво проговорил Лёдник, который успел уже высказать студиозусу все, что думал по поводу его умственных способностей и авантюрности, удовлет­ворился его искренним раскаянием и сам немного успокоился.

— А что их избраннику теперь делать? — фыркнул Агалинский. — Сразу все девицы отпрыгнут, как блохи с дохлого пса.

Полонея засмеялась, и Прантиш не удержался от улыбки. Хотя на душе было так погано, так погано. Даже подташнивало — как на первом курсе, когда они с Недолужным попались ректору за игрой в карты, да еще разло­жились на удобном надмогильном камне около университетского храма, и разъяренный ректор по старому обычаю приказал ту колоду карт измельчить, приправить бигосом да скормить игрокам до последней ложки.

— Эх, такую редкую животинку не пожалел! — укоризненно проговорил Лёдник. — Они когда-то населяли землю, еще до того, как появились при­вычные нам звери. Ящер этот, драконом названный, последний, возможно, из своего племени остался, а ты его. Как свинью шилом.

Прантиш отвернулся, щеки запылали. Действительно. Убил старое, больное, посаженное на цепь животное.

— Ого, свинью такую убить! — возразил пан Агалинский. — Его мость пан Вырвич не знал же, насколько опасно то чудовище. Он шел в смертель­ный бой, готовый погибнуть! Это достойно рыцаря!

— Один французский король, умирая, так это достоинство обозначил, ваша мость: после нас — хоть потоп! — раздраженно проворчал Лёдник и язвительно прибавил: — Но я же, простой мещанин, не имею права рассуж­дать об эдаких высоких материях.

Помолчал, неохотно вымолвил:

— Кстати, благодарю вас, пан Агалинский — вы нас всех спасли.

— Не мог же я лишиться возможности убить тебя собственноруч­но! — оскалился пан Гервасий и вздохнул. — Эх, а я так живого дракона и не увидал!

А панна Богинская страшно нахмурилась, рассматривая свои обломан­ные ноготки, и Прантиш понял, почему: вспомнила о сундуках, брошенных в отеле Дракощина. А там же и ножнички-притирания, и юбки, башмачки на случай, если удастся вернуть себе женский облик. Да, этого паненка ему никогда не простит. Стало на душе еще поганее. Хоть ты возвращайся в тот Дракощин, чтобы на кусочки заслуженно разорвали.

А Богинская вдруг улыбнулась и обратилась к Прантишу милым голоском:

— А почему пан Вырвич не принес голову дракона какой-нибудь прекрас­ной даме? Следующий раз не забудьте сделать именно так. Прекрасная дама будет вам благодарна!

Глава десятая

Лёдник и объятия святого Фомы

Трясея трясет, Огнея разжигает, Ледея выстуживает, Каркуша корчит, Гнетея на ребра да черево кладется, Гринуша на грудь. Невея — всех проклятее, и человек жити от нее не имает.

На потемневшем от ветров и дождей придорожном кресте трепалось то, что когда-то было заботливо вытканным рушником, а сейчас казалось выцвет­шей до туманной серости тряпкой. А самое угрожающее — выбеленный конский череп, который кто-то старательно прибил к верхней перекладине креста, нарисовав на лобной кости алый крест. Через черные провалы глазниц смотрела «сестрица-бесица» Невея из страшных рассказов.

— Помоги, святой Виллиброрд. Святой Себастиан. Святой Антоний. Святой Христофор. — пан Гервасий Агалинский перекрестился и забормотал молитвы. От того, что он упоминал святых, которые считались защитни­ками от чумы, Прантишу стало совсем не по себе. Одно дело — когда перед тобою враги с саблями да ружьями, пусть бы целая толпа, и другое — когда враг невидим и неодолим.

— Поветрие, — сурово озвучил Лёдник то, что вертелось у всех в голове.

— Не нужно было сворачивать с тракта. — уныло промолвил Прантиш, хотя ясно, что свернуть пришлось именно из-за его приключений в Дракощине, чтобы сбить возможное преследование.

Вдруг Полонея совсем по-девичьи завизжала, показывая куда-то паль­цем — даже кони шарахнулись. Вырвич всмотрелся — поодаль, в седой траве лежал человек. Рядом еще. Похоже было на то, что изможденные люди ползли к дороге в поисках спасения. Лёдник поднял руку:

— Стойте на месте. — и неспешно поехал в сторону тел.

— Вам, пан Полоний, нужно было девицей родиться, — внимательно всматриваясь в спину доктора, проговорил пан Гервасий свою любимую в последние дни фразу. Богинская ответила в привычной манере, но без тени веселья, тоже не отводя взгляда от черной фигуры на коне, которая прибли­жалась к страшной находке:

— Это было бы вашим величайшим несчастьем, пан Гервасий. Вы бы влюбились в меня, и ваше сердце было бы разбито моей жестокостью.

Лёдник остановил коня, через некоторое время резко повернул его и под­скакал к спутникам. Его худое лицо было как-то слишком спокойно.

— Чума.

Полонея снова вскрикнула, пан Гервасий зашептал молитвы.

— И... что делать? — Как ни досадно было признавать это, но в их благородной компании при тяжелых обстоятельствах подобные вопросы все невольно задавали прежде всего единственному неблагородному ее члену. Лёдник иронично хмыкнул.

— Ну что я могу вам предложить, пан Вырвич. Только то, что в подобных ситуациях столетиями советовали мои коллеги: «Qto longe fugas et tarde red­eas», — уходи быстро, далеко и долго не возвращайся.

И вдруг пришпорил своего коня:

— Айда!

Они неслись по дороге, подальше от креста с черепом, и казалось, что за ними летит страшная тень с распростертыми крыльями.

На следующем распутье пришлось приостановиться. Лёдник посмотрел на перепуганные лица.

— Пока бояться нечего. Судя по положению покойников, поветрие на той стороне, откуда они двигались. А значит, мы от него удаляемся. В конце концов, с вами врач, и поверьте, я видел не одну эпидемию. Жаль, сумка с инструментами и лекарствами утеряна.

Решено было, однако, остановиться на ночлег, отъехав как можно дальше от страшного места. К счастью, сегодня не было дождя, и дорога немного даже подсохла. Мелькали верста за верстой. Леса сменялись полями, тем­нели сгорбившиеся хатки, будто стаи уродливых существ припали к земле, готовясь к нападению. Пан Гервасий болтал, рассказывая байки о поветри­ях. Особенно американские: как испанские кондотьеры нашли в зарослях золотой город, но стоило взять одному из них в руки слиток, его кожа начала покрываться позолотой, и бедняга умер на месте, так как сердце тоже сдела­лось золотым. А второй отряд, на этот раз ангельцев, разбил лагерь на полян­ке с красивыми розовыми цветами, а наутро оказалось, что эти цветы, похо­жие на вьюнок, проросли прямо сквозь тела спящих, и пока отряд выбрался к людям, все умерли мучительной смертью, и были сплошь покрыты цветами.

Рассказы веселья не добавляли.

Лёдник снова сверился с картами насчет ближайшей станции, до кото­рой можно доехать засветло. Но когда Богинская узнала, что есть возмож­ность попасть в местечко под названием Томашов, захотела туда. Ясно поче­му: выглядит теперь маскарадный пан Бжестовский совсем не так красиво, как на фэсте в Дракощине, ибо переодеться не во что, в корчмах галантных вещей не продавали, чулки давно уже стали черными от грязи, парик нужно было высушить и напудрить, а собственные волосы паненки, темные, корот­ко остриженные, висели неприглядными водорослями. Паненка мечтала о сапогах, чистой рубахе. Ну а еще о горячей воде, зеркале, парфюме, кровати. Да и Прантиш не против был посетить Томашов. Вряд ли там держали дракона.

Издали город выглядел более мрачно, чем Дракощин. Серые стены, ника­ких тебе пестрых штандартов на них. Да и народу к городским воротам направлялось намного меньше. Вот заехал одинокий воз, груженный бочка­ми, зашел мужик с мешком на спине. И все. Ни одной живой души, куда ни кинь. Даже расспросить некого, что в городе делается.

Когда они подъезжали к воротам, Вырвичу вдруг очень захотелось повер­нуть коня. Какой-то необъяснимый страх охватил, что студиозус списал на следствие пережитого в Дракощине. Лёдник называл такое «фобия» — чело­век чего-то один раз испугается, а потом шарахается от подобного всю жизнь.

Нет, страх не победит шлятича герба Гиппоцентавр!

Прантиш потрогал саблю, задрал голову и постарался придать лицу осо­бенно высокомерное выражение.

Но когда путники очутились по другую сторону ворот, собственные пред­чувствия не показались студиозусу такими уж бессмысленными. С обеих сторон на гостей направили ружья стражники с лицами, обвязанными до глаз тряпками. Судя по запаху, тряпки были вымочены в лекарственном отваре.

— Прошу панов спешиться и пройти вон в тот шатер. Вас осмотрит врач, нет ли следов болезни.

Белый полотняный шатер стоял прямо перед воротами так, чтобы его нельзя было обойти. Пан Агалинский начал было возмущаться по поводу шляхетских прав и слова чести, которое перевешивает любые осмотры. Но Лёдник соскочил с коня первым.

— Мы охотно покажемся доктору. А кто-то в городе уже заболел?

— Да бережет святой Рох, пока нет. Поэтому пусть паны простят — если хоть тень подозрения, что вы принесли заразу, погоним прочь пулями и огнем.

Колючие глаза стражника скрывали тот испуг, древний, темный, который может сделать из человека зверя, худшего, чем дракон. Панна Богинская тре­вожно кусала губы — а что, если потребуют раздеваться? Прантиш злорадно усмехался: не все же тебе, паненка, других ставить в несподручное положе­ние! А Лёдник тронул паненку за плечо и тихонько проговорил:

— Держитесь за мной, пан Бжестовский. Что-нибудь придумаем.

Ну как же, профессор не мог не пожалеть глупую девчонку! Которая, если что, профессора не пожалеет ни капельки.

Полотнище шатра распахнулось, и Вырвич едва сдержал вскрик: там стояло чудовищное создание. В головном уборе, похожем на птичью голову

с большим загнутым клювом, в черном просмоленном балахоне и перчат­ках. От того, что студиозус знал — это лекарь в обычной во время эпидемий одежде, какую носят служители Гиппократа, спокойнее не становилось. Каза­лось — перед ними воплощенная чума.

Первым вошел пан Гервасий и сразу начал браниться. Подумаешь, раскомандовались здесь всякие!

Местный доктор имел хорошую выдержку, потому что на ругань Агалинского не отвечал, слышалось только властное: «Повернитесь, ваша мость!», «Расстегните, будьте любезны, рубашку».

Прантиш, как без пяти минут выпускник Виленской академии и асси­стент медика, держался намного более разумно: продемонстрировал отсут­ствие чумных бубонов, целостность слизистых оболочек, покорно принял обрызгивание вонючей жидкостью, которое осуществляли на другой стороне шатра еще две фигуры в балахонах.

Где-то на городской ратуше часы отбили пятый вечера, время осенних сумерек. Тут же выстрелило орудие — то ли местный обычай, то ли средство отгонять чуму.

И тут в шатер зашел Лёдник.

— Балтромеус! Какими судьбами?

Томашовский врач стянул с себя угрожающий клюв, показав совсем не страшное, с мягкими чертами лицо, которое сейчас освещалось радостной улыбкой.

— Ёханнес Вайда!

Оба доктора обнялись, похлопывая друг друга по спине, как могут только приятели юности.

— Как хорошо, что ты появился! Действительно — Бог посылает помощ­ников в тяжелую годину. А здесь — однокурсник по Праге! Следил, следил за твоими публикациями. Похоже, твои взгляды сильно изменились. А здесь столько дел — не успеваю. Знаешь, наверное, что эпидемия близко подби­рается?

В светлых глазах пана Ёханнеса действительно пряталась усталость.

— Прости, друг мой, но я здесь только случайно — и проездом. Нам к среде надо быть в Гданьске, корабль ждет, — виновато сказал Балтромей.

Ёханнес грустно вздохнул:

— В таком случае, ты очень неудачно пожаловал в Томашов, мой друг. Если бы еще час назад. Но — сам слышал! — пробило пять, выстрелила пушка. А значит, в городе волей епископа объявлено блокадное положение. Теперь никто сюда не въедет и не выедет — пока не закончится поветрие. Даже с королевскими патентами. Вы — последние наши гости. Я бы мог объявить вас больными, чтобы вытурили из города, — но епископ приказал обходиться с носителями заразы, как с еретиками. Боюсь, вас могут просто расстрелять со стен, а тела сжечь.

Вот те раз! Прантиш застыл, успев надеть камзол только на одно плечо, Лёдник, похоже, был тоже ошеломлен.

— Это невозможно. Я должен ехать! Может, переговорить с епископом? Выпустив меня со спутниками за ворота, город же не получит вреда!

Ёханнес покрутил головой с черно-седыми волосами.

— Друг мой, ты знаешь, кто у нас стал епископом, настоятелем храма святого Фомы, а заодно приором монастыря? Отец Габриэлюс Правитус!

Похоже, это была очень плохая новость, потому что Лёдник побледнел и схватился рукой за горло, как от одышки.

— Да, да, твой бывший пражский учитель! — с каким-то особенным выражением промолвил Ёханнес.

— Мне действительно не стоит с ним встречаться. — сдавленно произ­нес Лёдник.

— Да, епископ наш — человек непростой, все в городе ему подчине­но — и бургомистр, и рада, и купцы, и ремесленики. Люди на него молят­ся — чудотворец, святой благодетель. А когда ты сбежал из Праги, пан Правитус, рассказывали, сильно на тебя гневался. Мол, любимый ученик его предал, уничтожил надежды.

Ёханнес испытующе смотрел на однокурсника, тот удрученно молчал.

— Как далеко ты зашел со своим бывшим учителем, Бутрим? — тихо спросил пан Вайда.

— Далековато, Ёхан. Дальше, чем стоило, — так же тихо проговорил Балтромей.

— А мы тогда, когда он лекции у нас стал читать, его боялись. Чтобы, не дай Господь, не блеснуть умом, чтобы не затащил в свой кружок. Ходили слухи о его магических занятиях, на которых люди исчезают, а кто-то сходит с ума или начинает говорить не своим голосом. Я специально экзамены зава­лил, — задумчиво промолвил Вайда.

— А я вот блеснул. Из кожи лез, чтобы заметили, допустили к тайным знаниям. — с горькой усмешкой промолвил Лёдник.

— Ну, всем Бог судья, — стряхнул с себя грусть пан Вайда. — Пана Правитуса в свое время из Праги тоже едва не на копьях вынесли, наш городок для него — просто ссылка. Так или иначе — ближайшее время ты проведешь в моем доме, Бутрим! Места хватает — хватит и твоим спутникам. Заразы же никто не подцепил? Тебя осматривать не стану — сапожнику сапог не шьют.

— И мальчика, что там у шатра ждет, не стоит осматривать, — поспешно промолвил Лёдник. Ёханнес выглянул наружу, смерил взглядом щуплую сует­ливую фигуру пана Бжестовского, улыбнулся:

— Ты искушенного медика задумал обмануть, Бутрим? Хорошо, если даешь слово, что твой. мальчик не заражен, пусть паненка больше не нерв­ничает. Раздеваться не заставлю. А то вон черевичками дырку в мостовой просверлит. Но обливание раствором принять придется и тебе, и ей.

— Можжевельник, ладан, спирт, чеснок? — принюхался Балтромей. — А почему не окуривание?

— Жидкость считаю более эффективной, чем дым.

— Ты прав, но для меня твой выбор фатален. — с мрачной иронией проговорил Лёдник.

— Почему? — удивился пан Вайда.

— Потому, что если бы ты травы жег, а не заваривал, я бы еще до ворот услышал запах и уж ни в коем случае не пустил бы своих сюда.

Врачи начали неинтересную лекарскую дискуссию. А Прантиш решил, что приключения в Дракощине и на проклятой мельнице — это еще первые снежинки в сравнении с метелью, которую обещает пребывание в Томашове.

Он не ошибся.

Дом доктора Вайды оказался действительно вместительным. Как ока­залось, доктор после окончания университета выгодно женился на дочери томашовского войта. Поэтому заполучил двухэтажный каменный дом. Пани докторова была медлительная, белокожая и дородная, едва не вдвое больше мужа. Она ходила в дорогом платье с брабантскими кружевами, ее курносое, немного вытянутое лицо в окружении белейших оборок чепца было таким спокойным, что пани казалась надежным островом среди бурлящего океана. У колен пани сновали двое детишек — мальчик и девочка, третий, совсем маленький, спал на руках няньки, краснощекой матроны, которая также излу­чала спокойствие и уверенность. Стол ломился от колбас и блинов.

— Так и живем, — удовлетворенно обвел рукою идиллическую картину пан Вайда.

— А как твои исследования составляющих крови? — спросил Лёдник. — У тебя были интересные идеи.

Вайда махнул рукой.

— Все что мне нужно знать, рассказали в университете. Это ты в ака­демии можешь витать себе в эмпиреях, искать философский камень, потро­шить трупы. А здесь нужно лечить людей, да так, чтобы одобрил святой костел и не заподозрили в святотатстве. Не высовываться. Не выделяться. И когда священник утверждает, что грешное тело свое честный христианин дает мыть дважды в жизни — при рождении и когда умрет, мое дело скром­но молчать.

— Подожди, — удивился Лёдник. — Отец Габриэлюс сам же эксперимен­ты любил. И утверждал, что от древних римлян обязательно нужно пере­нять обычай ежедневно мыться.

Пан Вайда только хмыкнул.

— Сам знаешь — громче всех кричит «держи вора!» вор, и приор мона­стыря святого Фомы просто охотится на инакомыслящих, святотатцев, ведь­маков, чернокнижников.

— Разве он прекратил свои опыты? — настороженно спросил Лёдник, цепляя двузубой вилкой колбаску.

— Такие не останавливаются, — хмыкнул пан Ёханнес. — Но о его насто­ящих занятиях догадываемся я, ты, ну еще несколько человек, которые цели­ком зависят от епископа и епископских приспешников. Здесь — его владения. И его порядки. И могучие покровители по всему свету. Десять лет держит людей в страхе. Повсюду его уши и глаза. Кто начнет говорить плохо об отце Габриэлюсе — может вдруг исчезнуть или умереть от внезапной болез­ни. А случается, епископ поднимет умирающего с постели одним взглядом. Сам король у него гороскопы заказывает. Так что эпидемия ему — только укрепление власти. А я — маленький человек. Могу кровь пустить, клизму поставить. Что я против чумы?

— Подожди, а помнишь, мы пробовали придумать от нее лекарства? — воскликнул Лёдник. — Даже сам пан Правитус подсказывал — взять пепел короткого ребра и лимфатического подмышечного узла умершего от чумы.

— Еще раз говорю — в Томашове все в соответствии с дедовскими обы­чаями, — твердо промолвил Ёханнес. — Как сто, двести, триста лет назад. Нам здесь что война в Америке, что interregnum в Короне. Вот поветрие — близко. Сейчас начнется очередная истерия на тему «Искупайте грехи, ибо скоро конец света». Пойдут по улицам флагеллянты, высекут себя во славу Господню, аж брызги кровавые полетят на стены. Кто-то во имя святого Фомы пожертвует костелу все имущество и станет нищенствовать, на улице Золотарей или Рыбников словят пару ведьмарок и поведут топить в пруду. Потом разгромят лавки евреев. Их обвинят в эпидемии и начнут убивать. После евреев возьмутся за нищих — мол, они отравили воду в колодцах. Потом настанет пора крыс и мышей — а может, какой-нибудь козы, в которую вселился дьявол. Надеюсь, до лекарей очередь не дойдет. Город маленький, нас здесь всего четверо, если считать цирюльника-зубодера. А потом эпиде­мия закончится, конечно, благодаря молитвам владыки Габриэлюса.

— А мы должны здесь сидеть и это все наблюдать? — возмутился Прантиш, у которого семейное счастье томашовского доктора почему-то вызвало чувство, как выпитая без особого желания, по принуждению няньки кружка кипяченого молока с пенкой.

Пан Агалинский шумно поставил на стол пустой кувшин, в котором толь­ко что пенилось неплохое темное пиво.

— Неужто имя его мости, ясновельможного пана Радзивилла здесь ниче­го не значит? Я выполняю его поручение!

Богинская скривилась, а пан Вайда вежливо поклонился.

— Если бы его мость князь Радзивилл сделал одолжение сюда заглянуть, его бы, конечно, встретили по-королевски. Но здесь не владения пана, к тому же поветрие не разбирает титулов. Смерти боятся больше, чем князей челове­ческих. Боюсь, что вас, пан Агалинский, епископ даже не примет. Да он паль­цем шевельнет — и вас отправят в подвалы, как охальников. Так что, Бутрим, хоть знаю, что ты — православной веры, завтра отправимся на литургию в костел. Я вон, лютеранин, хожу как миленький и о своей вере молчу, как гроб. Пересидите тихонько на последних скамьях. А мне оправдываться проще будет: призрел добрых христиан.

Лёдник совсем помрачнел, посматривая на маленького сынка Вайды, который увлеченно пускал деревянную лошадку скакать по подлокотникам кресла. Ясно — вспомнил малыша Алесика.

— Неужто нет никакого способа выбраться из города?

— У нас есть деньги, пан Вайда, — звонким голосом вмешалась Богинская, уже в новеньком камзольчике и паричке, приобретенных у местных продавцов, вымытая и выспавшаяся. — Даже во время осады можно найти сговорчивых стражников. Подземные ходы. Тайные двери. Возможно, перстень с изумрудом немного приблизит наш отъезд?

И повертела в пальцах драгоценность, за которую можно было приобре­сти несколько лошадей с каретой в придачу. Свет заиграл на гранях русало­чьего камня. Даже пани Вайда заинтересованно всмотрелась.

— Заверяю вашу мость, никто в городе не пойдет против воли владыки Габриэлюса. Ибо уверены, что он владеет нездешней силой. Что он и демон­стрировал не раз. А страх перед мором вообще изгонит из сердец милосер­дие, — твердо промолвил пан Ёханнес и обратился по-немецки к жене: — Сердечко мое, Гретхен, уложи детей спать!

Пани докторова неспешно поднялась, искоса глянула последний раз на изумруд в пальцах пана Полония и ушла вместе с детишками и нянькой.

— Единственное, что может вам помочь. Знаете, в маленьких местеч­ках, в глухих деревнях есть много такого, что жители считают священным обычаем и сохраняют веками, в то время как человеку пришлому это кажется дикарством, — голос доктора Вайды звучал как-то неуверенно.

— О каком обычае ты хочешь нам рассказать, Ёханнес? Говори, не бойся. Меня трудно чем-то удивить, — подбодрил Лёдник. — Если это поможет нам отсюда выбраться, я готов на самый дикий обряд. Что там нужно — оже­ниться с соляным столбом, провести ночь на могиле проклятого князя, сбить стрелою череп с башни?

— Обняться со святым Фомой, — криво усмехаясь, промолвил Ёханнес. — Тебе это не понравится, Бутрим.

Из того, что рассказал томашовский доктор, ничего хорошего действительно не вырисовывалось. Объятия святого Фомы помогали в приобретении стигматов. Иногда у особо верующих, святых угодников сами собой воз­никали раны, как у Господа. В Томашове их получали с помощью особого приспособления. Обычай возник еще с основания монастыря святого Фомы и соответственного монашеского ордена. Приор в нем был фанатичный. Каж­дый монах, вступающий в орден, должен был пройти жестокое испытание. Потом это стало наказанием. Потом — особенным духовным подвигом, осу­ществив который, можно просить настоятеля храма о милости — и тот обязан удовлетворить просьбу. Нельзя желать денег, ничего, что обогатит или нане­сет кому-то вред. Но таким образом несколько раз возвращали себе свободу приговоренные к заключению или те, кому угрожала долговая яма, иногда доказывали свою невиновность подозреваемые в ведьмарстве и кощунстве. Причем воспользоваться традицией могли люди разной веры.

— При мне на объятия святого Фомы решались трижды, — рассказывал пан Вайда. — Один сразу не выдержал, его с позором погнали из храма, еще и плетей дали. Двое достоялись. Но зрелище неприятное. Думаю, случаев было бы намного больше — сколько людей доведено до такого отчаяния, что еще одна рана на теле им не страшна. Но к реликварию святого Фомы допускают далеко не всех и не всегда. Нужно, чтобы просящий был способен прочитать покаянный канон. Причем двадцать раз подряд. Главная опасность испытания — можно, пока все дочитаешь, изойти кровью. В это воскресенье реликварий откроют. Значит, завтра один из вас сможет к нему взойти. Ну и попросить потом, чтобы вас выпустили из города. Будет считаться, что на вас благодать, святая защита. Что вы очистились от всех грехов и болезнь к вам не пристанет. И мне хорошо, что в моем доме не еретики жили.

— Да мне испытание телесной мощи пройти — как соломину сломать! — сразу заявил пан Гервасий. — Я — воин! Не сосчитать, сколько раз ранен!

— Вырвичи из Подневодья ничего не боятся! — заносчиво заявил Прантиш. — Да меня на кусочки резать будут — не поморщусь!

— Вы, ваша мость пан Вырвич, слишком молоды для испытания, которое должны брать на себя взрослые мужчины с давно выросшими усами! — пан Гервасий важно подкрутил рыжий ус. Прантиш почувствовал, что кровь бро­силась в лицо. Да, усики у Вырвича еще не свисают над губой, но он никому не позволит над этим насмехаться! Рука сама нащупала саблю. Пан Гервасий тоже оживился в предчувствии драки.

— Попрошу панов не ломиться в двери, когда дом еще не построен, — холодно промолвил Лёдник и поднялся, строгий, выпрямившийся, спокой­ный, как смертельно опасное оружие. — Пошли, Ёханнес, покажешь мне, что за объятия святого Фомы. Нужно прикинуть, как выйти из этой глупости с наименьшими потерями.

— Тихо. — побледнел пан Вайда. — Не нужно произносить такие слова о святых вещах!

— Только не говори, Бутрим, что снова возьмешься сам! — возмутился Прантиш. Лёдник только приподнял брови.

— Во-первых, я самый старший, во-вторых, самый грешный. В-третьих, самый безродный. И согласитесь, пан Агалинский, — с кривой улыбкой обра­тился профессор к пану Гервасию, который готовился что-то сказать вопре­ки, — меня наименее жалко, не так ли?

Вырвич начал в соответствии со всеми правилами логики опровергать своего учителя. А панна Богинская скромно молчала, справедливо считая, что не должна ввязываться в такие брутальные и неизящные мужские дела.

Воскресенье началось с дождя и стрельбы из пушек. Пошли слухи, что в городе уже кто-то заболел, и люди перешептывались, нарушая святую тиши­ну храма.

— Руки покалечишь и как дальше будешь работать? — в сотый раз сказал Прантиш. Лёдник посмотрел на свои ладони.

— Руки жаль, — спокойно согласился он. — Но постараюсь все правиль­но рассчитать, чтобы особенно не повредить. Не впервой. Помнишь слуцкие подземелья? Там куда как хуже было. Заживет. Мазь взял?

— Взял. — напряженно ответил Прантиш, которому было не по себе. Неудивительно: паства Томашова выглядела совсем не так, как в Дракощине, Вильне или Менске. Все в сером, черном или коричневом. Ни париков, ни фижм. Нет благородного шляхетского обычая оголять саблю во время чтения Священного Писания. У женщин платья застегиваются под горло, строгие чепцы — ни одного локона не увидишь. Вон и пани Вайда нарядилась именно так, стоит, кротко опустив глаза, как будто и не надевала никогда модное пла­тье с декольте. Не дай Господь, кто-то узнает, что здесь присутствует девица в мужском костюме.

Парфюмом здешние жители тоже не пользовались, видимо, считая это грехом, особенно во время строгого поста во время эпидемии. Немытые тела воняли так, что делалось тошно. Прантиш привык еще в Подневодье посе­щать баню по крайней мере раз в месяц. При коллегиуме тоже была баня. Ну а Лёдник вообще считал, что по примеру древних греков да латинян мудрый человек должен мыться ежедневно, хоть это, по мнению святош, было страш­ным богохульством. Так можно смыть с себя всю святую воду, что попала на кожу во время крещения! Достаточно менять рубаху и употреблять парфюм. Ничего, что одну из дочерей французского короля заели вши, другой король умер от чесотки, а третий потерял сознание, когда под его окнами проехала карета и разворошила миазмы от накопившихся отбросов.

В Томашове бани, наверное, тоже теперь считались грехом. Так же, как и здоровые белые зубы. Зато глаза прихожан фанатично горели. Это были взгляды людей, видевших чудо спасения и ужас смерти.

Особенно эта неряшливость чувствовалась на фоне чудесного храма, чьи величественные арки сходились так высоко, что казались темным небом. В островерхих окнах сияли витражи тонкой работы, а над алтарем, в круглом огромном окне-розе летел среди лучей, звезд, ангелов белый голубь — Дух Святой. На алтаре, на стенах потемневшие от времени деревянные скульп­туры с вытянутыми пропорциями казались грозными тенями того света.

Вдруг все, как будто кто-то взмахнул над головами лезвием гигантской косы, упали на колени. Собор был такой громадный, что Прантиш не мог толком рассмотреть таинственного приора — а это приветствовали именно его. Зато голос был слышен отлично — благодаря отменной акустике. Голос зачаровывал, владычествовал, ему хотелось подчиняться.

В начале литургии процессия мистрантов подошла к каменному возвы­шению с распятием, окруженному внушительной позолоченной цепью. Цепь торжественно опустили, затем сняли тяжелый, вышитый золотом покров с мраморного столбика под распятием — в столбик был встроен серебряный кружок, реликварий с останками святого апостола Фомы.

— Давай, Бутрим! — напряженно прошептал пан Вайда. Лёдник стреми­тельно раздвинул верующих, поднялся по ступенькам на возвышение, опу­стился на колени, положил ладони по обе стороны столбика с реликварием в сделанные в полу углубления по форме рук и с силой оперся. Каменные плитки подались вниз, и ладони мгновенно пронзили острые штыри, похожие на наконечники копий. Пан Вайда объяснял, что если ослабить нажим, копья сразу же спрячутся, по этому можно следить, насколько искренне раскаива­ется тот, кто молится.

— Pater noster... — зазвучал низкий голос Лёдника, которому полагалось отчитать двадцать покаянных канонов. Люди возбужденно зашептались, окружили возвышение. Кто-то побежал вперед, видимо, сообщить настояте­лю, что сегодня один из братьев решился на духовный подвиг. Прантиш стоял рядом и тоскливо наблюдал, как каменные углубления наполняются кровью. Доктор твердо опирался на пробитые руки, острия не прятались в камни, голос его звучал ровно, будто на лекции. Любопытные пробовали заглянуть чужаку в лицо, завешенное черными прядями волос, видимо, чтобы увидать отражение страдания. Шепотом придумывали на ходу, какие страшные грехи искупает пришелец, кто он такой. Кто-то умудрился намочить свой палец в крови, что натекла из пробитой руки жертвенника, — видимо, согласно мест­ной традиции, она считалась целебной, так же, как кровь одержимых флагелянтов, которые целыми хороводами ходили и хлестали себя во имя Господа на площадях. Вот какая-то женщина уже и платочек в той крови намочила.

Пан Гервасий Агалинский явно не видел ничего особенного в том, что происходит, — не на кол же холопа посадили, не за ребро на крюк повесили. Панна Богинская также не переживала, сидела на скамье да с самым набож­ным видом шептала под нос молитвы, разве что время от времени брезгливо косилась на коленопреклоненного Лёдника. Мало ли по ее приказу пускали кровь плетьми нерадивым слугам.

И Прантиш явственно понял, что и его жизнь, и Лёдника для тех, кто с детства ел на золоте и вытирал ноги о спины ближних, значит не больше, чем обычные бытовые предметы. Пока нужны — хорошо, сломаются — приоб­ретем новые. Доктор может сколько угодно спасать, закрывать, поддерживать, расплачиваться собственной кровью — в этом будет его заслуги не больше, чем у ложки, что помогает шоколадному крему попасть в панский ротик. Теперь Вырвичу больше не казался бессмысленным старый закон, который позволял пану греть ноги, если озябнут во время охоты, в разрезанном чреве слуги.

— Все мы, как святой Фома, сомневаемся, не впускаем веру в свое сердце, пока не потрогаем раны Христовы. Поэтому нужно бороться с собственным неверием собственными ранами! — заговорил священник, наверное, в связи с тем, что происходило у реликвария святого Фомы.

Хор был выше всех похвал, казалось, это ангелы выпевают светлые слова во славу Господню. Но служба затягивалась. Ясно, люди не разойдутся, пока не окончится зрелище. Струйка крови чрезвычайно медленно потекла по возвышению, первая капля стекла через край, под ноги прихожанам. Голос Лёдника звучал все более глухо, он несколько раз мотнул головой, видимо, чтобы стряхнуть капли пота.

— Слушай, пан Вырвич, а он не умрет? — встревожился, наконец, пан Гервасий. Ну как же, забеспокоился, дошло, что без доктора сам ничего не добудет за морем. Прантиш нервно пожал плечами. Вдруг благородная панна Богинская, пригожий такой, наивный отрок, подскочила к возвышению, выхватила платок и быстренько вытерла виленскому профессору лицо. Какая-то женщина тут же объяснила действия юнца практически: пот христианина, отбывающего страдания святого Фомы, целебен еще более, чем кровь, и от чумы точно оградит, и полезла было со своим платком к профессору — но испугалась его угрожающего взгляда, закрестилась и удовлетворилась тем, что вымочила тряпку в крови, которой было предостаточно.

Прантиш бдительно наблюдал — чтобы не промедлить и не допустить того, что Лёдник упадет. И с досадой понимал — глаза у людей вокруг горят тем же самым азартом, как у публики в Дракощине, которая жаждала посмо­треть на дракона.

Что-то было в этом особенно мерзкое. Святые старцы не напрасно утверждали, что молитвенные подвиги нужно осуществлять келейно и не хвастать ими. А здесь. Балаган какой-то! Как те покаяния с бичеванием, что устраивал Радзивилл Пане Коханку в виленских храмах.

Час, второй. Литургия давно окончилась. Люди, у которых нашлись неотложные дела, разошлись по домам. Поветрие поветрием, а есть, пить да удовлетворять иные надобности грешного тела необходимо. Но зевак хва­тало. Тем более, многие уходили и возвращались, чтобы досмотреть пред­ставление. Свалится или не свалится, выдержит или нет, что попросит, когда достоится?

Кто-то вслух считал количество отчитанных грешником молитв.

Три часа. Четыре.

Последние молитвы Лёдник прочитал, низко опустив голову, совсем глухо.

Одобрительный шум разнесся по собору. Профессор шевельнулся, штыри, что пронзали его ладони, сразу спрятались. Прантиш устремился поддержать Лёдника, но тот не дался, аккуратно стряхнул с рук кровь и пошел, хоть и медленно, к алтарю, где его уже ждал предупрежденный настоятель. Теперь Прантиш смог рассмотреть эту таинственную личность: седые, коротко стри­женые волосы, властное, все еще красивое лицо, резкие морщины от уголков прямого носа к узким губам, упрямый подбородок. А глаза — темные, иро­ничные, пронзительные. В Лёдника они вглядывались как-то особенно.

Бутрим преклонил колени перед настоятелем:

— Ваша экселенция, во имя молитв святого Фомы, прошу, чтобы вы раз­решили мне и моим друзьям выехать из города и продолжить дальше свой путь.

Приор улыбнулся, взмахом руки отослал подальше любопытных и скло­нился над просителем.

— Господь всегда слышит молитвы тех, кто искренне раскаивается. Вот он и привел тебя ко мне, Балтромеус. Ты же понимаешь, дорогой мой, что на самом деле очутился здесь не ради этой твоей просьбы, а потому, что хотел вернуться ко мне. Разве не так?

Голос приора звучал мягко и так убедительно, что возражать было невоз­можно. Но Лёдник глухо повторил:

— Прошу позволить нам выехать из города, ваша экселенция.

— Покажи мне свои руки, Балтромеус, — попросил приор. Лёдник неохотно протянул окровавленные ладони. Отец Габриэлюс взял их в свои руки, склонился над ними, будто молча помолился, — Прантиш всем суще­ством почувствовал какую-то нездешнюю силу, от которой во рту остался привкус меди и на коже поднялись волоски, будто кто-то провел по ней перышком. Приор выпрямился, утомленный, словно долго и тяжело работал, на губах играла победная улыбка. Лёдник покрутил ладонями перед глазами: раны затянулись, точно бы прошло несколько лет, остались только розовые сморщенные рубцы. Сжал пальцы, разжал. Вырвича едва не стошнило от мистического ужаса. Где-то за спиной взвизгнула Полонея. Ее визг утонул в восхищенных криках. Теперь было понятно, почему весь город слушается настоятеля. Неужели он действительно святой?..

— Что скажешь, Балтромеус? — с ласковой улыбкой спросил настоятель. Лёдник посмотрел на свою ладонь и спокойно ответил:

— Впечатляет.

— Ты тоже так можешь, — отец Габриэлюс говорил доверчиво и одно­временно властно. — Ты напрасно испугался своей силы, ушел в самом нача­ле, так сказать, из прихожей, которая показалась тебе замусоренной. Стоило пройти дальше, ты попал бы в роскошные покои. Ты даже не представляешь, от чего отказался.

Лёдник, бледный как призрак, слушал, упрямо сжав губы и не поднимал глаз. Приор положил ему руку на плечо:

— Ну, хорошо, пойдем, Балтромеус. Ты потерял много крови, я дам тебе лекарства.

Бутрим, все так же опустив глаза, покорно встал и двинулся за приором. Даже не оглянулся на своих спутников.

Люди расходились, возвышенно-потрясенные. Ошеломленный Прантиш подавленно сжимал в кармане ненужную банку с целительной мазью, при­готовленную профессором.

Когда они проходили около возвышения с распятием, снова обнесенного цепью, Прантиш заметил, что последние капли крови уже стерты с камня любителями реликвий.

От любопытных, что цеплялись с расспросами, удалось спрятаться толь­ко в доме пана Вайды. Пан Гервасий наконец дал волю потрясению и начал выспрашивать томашовского доктора, что тот думает о чуде исцеления, сви­детелями которого они стали в соборе. Но пан Вайда только отмахивался и ссылался на волю Божью. Но Прантиш видел, что в святость отца Габриэлюса пан Вайда особенно не верит.

Что же это тогда, колдовство? И почему приор говорил Лёднику, что тот может так же?

Зато пан Вайда заверил гостей, что путь из города для них открыт. Панна Полонея сразу же начала собираться, складывать накупленное, а чего не хва­тало — просить у пани Вайды.

А Вырвич заметил, что платок, которым вытирала лицо Лёднику, панна брезгливо выбросила через окно.

Лёдник вернулся поздно. Нормальные люди, это значит фрау Вайда, дети, прислуга — уже спали. Вырвич бросился с расспросами.

Но доктор даже головы не повернул, молча зашел в отведенную ему комнату, упал спиною на кровать, положив вылеченные руки под голову, и сосредоточенно вперился в потолок.

Потолок был как потолок — дубовые балки, прикопченные свечами. Но ясно, что Лёдник видел совсем не этот неинтересный материальный предмет. Его темный взгляд был такой отсутствующий, что делалось страшно.

— Бутрим, завтра отправляемся!

— Я остаюсь.

Доктор вымолвил это очень буднично.

— Послушай, мы и так время потеряли. И пока есть возможность.

— Я никуда не еду, — доктор перевел взгляд на Прантиша. И Вырвич испугался. Такого Лёдника он еще не видел. Точнее, таким он время от времени проявлялся — когда устраивались опасные опыты или диспуты. Полоцкий Фауст.

— Отправляйтесь без меня. Вас выпустят. Вот разрешение от насто­ятеля.

Балтромей достал из кармана бумагу, бросил Прантишу. В свете свечей худое лицо бывшего алхимика казалось зловещим.

— Бутрим, что он с тобой сделал? — почти закричал Прантиш. — Чем пригрозил? Расскажи, что-нибудь придумаем!

Лёдник снова уставился в потолок.

— Он дал мне возможность выбора. Я могу уехать с вами, если захочу. Только я понял, что все это время хотел иного. Если бы вы только знали, что показал мне сегодня владыка Габриэлюс! Какие открытия, какие воз­можности для невзнузданного ума! Это просто невероятно! Оружие доктора Ди. — профессор презрительно фыркнул. — Устарелое! Ди был мастером, но не самых высоких степеней. О самых сведущих никто не слышит и не знает. Подобное оружие в тайных лабораториях они давно, наверно, умеют делать, и гораздо более совершенное.

В голосе Лёдника звучали восхищение и настоящая страсть. Прантиш испугался.

— Бутрим, ты же столько раз говорил, что есть знания опасные, что сам едва не загубил душу. Вспомни, как ты каялся! Снова хочешь обрушиться во тьму?

— Может быть, стоит рискнуть и пройти сквозь тьму, чтобы добыть свет? — отсутствующе проговорил Лёдник.

— Ты же православный!

— Отец Габриэлюс никогда не требовал от меня сменить вероисповеда­ние. Главное — искренняя вера в Господа.

— Ничего себе! — возмутился Прантиш. — Не знаю, какими фокусами задурил тебе голову приор, но почему же он, такой прогрессивный и терпи­мый, охотится здесь на ведьмаков да развел в городе такую грязищу?

— Все в свое время изменится.

Прантиш, Полонея и пан Агалинский стояли перед кроватью, на которой валялся отрешенный доктор, в полной растерянности.

— Пан Лёдник, пусть ваша мость вспомнит о своей красавице жене. Неужели пан не желает больше увидеть ее? — милым голоском проговорила Полонея. Доктор немного помолчал, потом ответил так же безразлично:

— Возможно, ей будет лучше без такого мужа, как я.

Вырвич не верил своим ушам.

— Как ты можешь предать Саломею? Она же тебя любит!

— А что насчет судьбы одного маленького мальчика? Насчет слова чести? — угрожающе спросил пан Агалинский. Доктор медленно сел на кро­вати, направил на пана Гервасия холодный взгляд:

— Таким, как я, не нужно иметь никаких привязанностей и обязательств. Это мешает.

И встал, ледяной, безразличный, нездешний.

— Кстати, когда я возвращусь в братство, куда меня однажды приняли и где я прошел по дороге знаний так мало, я сам смогу решать чужие судьбы. Вообще, вскоре наступит время, когда миром будут руководить не уродливые побеги монархических династий, а ученые и философы.

— Ах ты, холоп поганый! — пан Агалинский схватился за саблю, но вдруг осознал, что не может вытащить ее из ножен. Он дергал свое верное оружие и обливался потом под пристальным и тяжелым взглядом Лёдника.

— Я был вынужден унизиться перед вашим братом только потому, пан Агалинский, что был неучем и отказался пользоваться своими определен­ными способностями. Это было не мое бессилие, а мой выбор, — ровным голосом проговорил доктор.

— Бутрим, хватит! — в ужасе закричал Прантиш. — Остановись! Поду­май о Саломее! Об Алесике! Обо мне, наконец!

— Я и думаю, — глухо промолвил Лёдник, сделав шаг к дверям. Вам всем лучше быть от меня подальше.

— Я никуда тебя не пущу! Сейчас же — на коней и прочь из проклятого города! — Прантиш попробовал схватить Лёдника за рукав, но под взгля­дом учителя не смог сделать и шагу. Воздух будто уплотнился, сжало горло. Кажется, это почувствовал не только один студиозус, потому что панна Полонея снова завизжала.

Теперь Вырвич ясно видел страшное сходство взглядов Лёдника и приора монастыря святого Фомы.

— Прощайте.

Лёдник резко развернулся и вышел. Сразу вернулась свобода движений. Но настроение было самое отчаянное.

Они сидели за столом, по местному обычаю пили чай с молоком, и каза­лось, даже часы на стене не тикают, а вскрикивают.

— Я так и знал, что он — колдун! И как мы теперь без доктора найдем пещеру, панове? — уныло спрашивал пан Гервасий.

— Что же, я буду за него! — вздохнул Прантиш. — Все расчеты он оста­вил, в основном я в его исследования посвящен.

— Если вы поможете в поисках, вы получите большую награду, пан Вырвич! — сразу поддержала героический порыв студиозуса панна Богинская. — Вас ждет блестящее будущее!

— На острие сабли Германа Ватмана, ваша мость? — язвительно спросил Прантиш.

— Пан Кароль Радзивилл сделает вас мечником! — со своей стороны добавил пан Гервасий. — И вы, пан Бжестовский, если поможете, тоже попа­дете в число альбанцев! Из вас вырастет настоящий мужчина!

Полонея, несмотря на трагизм положения, не преминула понасмешничать.

— Такой же мужчина, как вы, пан Гервасий?

— А то! Я сам займусь вашим воспитанием, ваша мость!

Теперь уже и Прантиш едва не захохотал.

— Не знаю, какие ваши дальнейшие планы, милостивые панове, и знать не хочу, но лучшее, что вы сделаете себе и мне, если на рассвете отсюда уеде­те, — нервно промолвил пан Вайда, который сидел, сцепив руки и не притра­гиваясь к своей кружке. — Не то чтобы я выгоняю вас, но. Я люблю тихую жизнь. Привык, знаете, к своему маленькому счастью. Я сказал вам, что мы боялись во время учебы пана Габриэлюса Правитуса. Но однажды мы нача­ли так же побаиваться своего однокурсника Балтромея Лёдника. И я очень уважал его за то, что он смог порвать с паном Правитусом и теми, кто за ним стоит. Ибо считалось, что от них уйти невозможно. Но, видимо, так и есть.

В дорогу отправились, как советовал томашовский доктор, на рассвете, еще в темноте и тишине. Но стоило выехать за ворота дома — их остановили. Все произошло быстро и умело. И Прантиш понял, что из города они не выедут никогда — просто исчезнут, и Лёдник, возможно, никогда не узнает об их судьбе. Да и станет ли узнавать?

На прощание Прантиш ухитрился всучить пану Вайде, который вышел их проводить и стоял испуганный, как воробей под лапой кошки, листок бумаги, оставленный Лёдником. Листок с начертанным именем «Александр».

— Передайте Бутриму. Расскажите о нас.

Пан Вайда не очень охотно взял послание. И Прантиш не был уверен, что томашовский врач решится рискнуть своим покоем ради чужаков.

Но это была единственная надежда.

Потому что в подземельях, куда их привели, для надежды места не преду­сматривалось. Темно, как в гробу. Вонь, холод, сырость. Наверное, здесь исчез не один богохульник и противник воли всемогущего приора.

Напрасно пан Агалинский кричал о шляхетских своих правах и требовал трибунальского суда. В городе, который закрылся от поветрия, законы не дей­ствовали. Вырвич помнил скупые рассказы Лёдника о нравах во время эпиде­мий. Придут к какому состоятельному человеку для осмотра. Лекарь незамет­но натрет ему руку ляписом — и вот тебе черные пятна, проявление чумы. Беднягу — в карантин. А его имущество разграбят. И повезет, если он действительно не заболеет или не отравят. А в Лондоне, по рассказам того же Лёдника, во время чумы лорд-мэр издавал приказ о «запирании домов»: если в доме кто-то заболеет, на дверях рисовали алый крест и навешивали замок. Никто не мог отсюда выйти. Специально приставлялись сторожа — дневной и ночной, которые за этим следили. В доме могли голосить, плакать, молить. Пока все не умолкали. А что ждет паненку Богинскую, когда разоблачат ее маскарад? Конечно, пан Михал Богинский за сестру заступится, может и вой­ско сюда прислать, — но откуда ему знать, куда подевалась его неугомонная сестрица? Все спишут на поветрие. Трупы чумные никто не осматривает.

Единственно хорошее было у тьмы — она освобождала ото всех условно­стей. Прантиш подсел ближе к панне и осмелился ее приобнять. Не те обсто­ятельства, чтобы церемониться. Полонея прерывисто вздохнула и прижалась к бедному шляхтичу из Подневодья.

Похоже, тюремщики решили подержать узников в неведении и страхе. Минуло двое суток. Кувшин вонючей воды и кусок заплесневелого хлеба — все, на что расщедрились славные томашовцы для своих гостей. Даже рас­сказы Американца о всяческих заокеанских чудесах не спасали от ужаса. Но через двое суток на одних воде и хлебе стало не до баек. Пан Гервасий напрасно орал в запертые двери угрозы и оскорбления.

Прантиш старался отогнать мысль, что их здесь просто забудут. Тела съедят крысы. А Лёдник будет занят совсем иным. Что ж, возможно, он получит свое счастье. Хотя, скорее всего, снова наступит момент горького раскаяния, и доктор примется читать канон святому Киприану. А пока этот канон читал за него Прантиш. Неужто Господь допустит, чтобы Бутрим после всех перенесенных для спасения души страданий снова попал в сети черно­книжия?

На третьи сутки — святой Фронтасий знает, день был или ночь? — в коридоре послышались шаги. Через маленькое зарешеченное окошко в двери показался луч света, слепящий после сплошной тьмы. Узники вскочили как могли быстро. Вот заскрежетал в замке ключ. Полонея крепко ухватила Прантиша за руку, аж ноготками впилась.

Двери отворились. С факелом стоял мрачный Лёдник и раздраженно гля­дел на бывших товарищей по путешествию.

— Вас на минуту покинуть нельзя! То дракона несчастного убьют, то крыс в епископских подземельях гоняют.

И бросил на пол три сабли, Прантиш с радостью узнал свой Гиппоцентавр.

— Берите — и бегом. Второй раз обниматься со святым Фомой я не стану.

Прантиш от радости едва не рассмеялся. Бутрим Лёдник, его бывший слуга, язвительный профессор и самый мужественный человек на свете, учитель, купленный за шелег, вернулся! Именно таким, каким он так нужен Прантишу!

Караульные крепко спали, положив головы на стол, где, похоже, только что играли в кости. Несомненно — дело Бутрима.

Панна Полонея не постеснялась ухватить со стола кусок хлеба и на ходу вцепилась в него зубами.

На улице была ночь. И кони. И воля. Которая целиком воплотилась, когда их все-таки выпустили из города, — бумага, подписанная епископом, тоже оказалась у Бутрима, коего в городе, к тому же, знали как нового любимчика святого Фомы и владыки Габриэлюса, а таковому грех прекословить.

Они гнали коней, забыв о голоде и усталости. Остановились только когда совсем рассвело.

Когда все спешились, Лёдник обвел глазами настороженные лица спут­ников.

— Что? Все в силе! Еду туда, где кукушки не кукуют, нахожу пещеру, в которой неизвестно что, но очень нужное большим панам, подставляю спину под плеть пана Агалинского. Жизнь не длинная, но насыщенная. Что в срав­нении с этим сто лет в роскоши, власти и интересных опытах, которые мне обещал один очень прогрессивный охотник на ведьм?

Знакомая язвительная ирония.

— Бутрим! — Прантиш не выдержал, бросился к своему профессору, обнял, даже всхлипнул от радости.

— Благодарю вас, пан Лёдник! — с некоторой неловкостью промолвила Полонея. — Кстати, должна сказать, — в голосе панны Богинской зазвучали кокетливые нотки. — При дворе вы бы имели огромный успех! У нас страш­но любят таких вот мистических личностей с необычными способностями. Если еще распустить слухи, что вы происходите от египетских жрецов.

Лёдник только скривился, как проглотив горсть клюквы. А пан Гервасий Агалинский гневно заявил, что всегда знал, Лёдник — колдун и враг монархии.

Но, возможно, он все-таки позволит пану доктору выйти против себя на шляхетскую дуэль.

Глава одиннадцатая

Как Лёдник и Прантиш с Нептуном знакомились

Море пахнет не рыбой, не йодом, не гнилыми водорослями и новыми монетами, как утверждают купцы, приезжающие в вольный портовый город.

Море пахнет неизвестностью. От которой сладко и тревожно щемит в груди, и охватывает тоска по далеким странам и ужас перед холодной зеле­но-серой бездной, где живут своей невероятной жизнью гигантские чудища, холодные и скользкие.

Это летом, когда облака похожи на безобидных беленьких овечек, мор­ская глубина синяя, голубая, прозрачная. А в ноябре, когда тучи напоми­нают призрачных драконов и не каждый корабль решится подставить паруса мокрому соленому ветру, смерть выглядит зелено-серой, а иногда она и цвета чернил.

Сейчас волны были стального, сердитого оттенка.

Гданьские корабли с оголенными мачтами жались к причалу, их паруса, казалось, скукожились от холода, как лепестки, даже чайки перестали кри­чать. Море билось о камень, как разгневанное сердце.

Пан Гервасий и панна Полонея по этому случаю не сильно нервничали, так как лучше им было сейчас в путь не отправляться — оба перхали, как рогачевские бабы в церкви, когда хотят вылечить от кашля овец, носы нешляхетно покраснели, глаза слезились. То, что Лёдник принуждал каждый час пить полезный лекарственный отвар, не беда, — плохо, что доктор при этом говорит и что написано у него на лице.

А написано неодобрительное: паны — дети горькие. Разбалованные и неразумные. Ладно, если бы простудились, на земле ночуя, в непогоду блуж­дая. А то — дорвались дворцовые баловни до итальянского мороженого! И один вперед другого налегали серебряными ложечками. Модное кушанье! Что за бал без мороженого. С фисташками, лимоном и корицей. В итоге — болячки в горле, вода — в носу.

Дом на Длугим Таргу, где поселились паны, был достоин магнатов. Лакеи в напудренных париках, фарфор, итальянские картины — ясно, у местных банкиров и для Богинских, и для Радзивиллов счета имелись. Прантиш снова чувствовал себя не в своей тарелке. Лёдник ворчал, что ничегонеделание для мыслящего человека хуже ржавчины в механизме. Сам побежал по местным ученым — и от диспутов, на которых ученые мужи с помощью утонченных дефиниций раскатывали друг друга тоненько, будто тесто для налистника, даже расцветал, как гишпанская роза. На последние деньги купил зачем-то атлас знаменитого гданьского астронома Яна Гевелия с созвездиями — кра­сивый, конечно. Но как такой томище тащить за море? Вырвич отдавал первенство иному изобретению пана Гевелия — чудесному крепкому пиву, названному в честь ученого. Так и должен жить сведущий человек — зараба­тывать на жизнь приготовлением пива, а в свободное время наблюдать звез­ды! Сам Вырвич по дождливо-ветреной дороге в корчемку только злорадно посматривал на каменные изображения, что украшали фриз соседнего дома, называемого Львиным Замком: фигуристые дамы Грамматика, Арифметика, Риторика и Геометрия больше не схватят за ухо и не потащат на ослиную скамью. Пусть себе мокнут под осенним ливнем.

Пан Гервасий на удивление не лечился водочкой. Сначала, конечно, завалился в ресторацию «Под лососем», попробовал знаменитой «золотой воды» — водки с сусальным золотом, немного посуду поколотил. Но когда простыл, валялся себе на диване, что-то записывал в зеленую книжицу да повторял пану Полонию Бжестовскому о том, что он должен воспитывать в себе мужество, а то очень похож на девицу.

Кабы это был кто иной, а не Американец, Вырвич заподозрил бы, что пан раскрыл истинную сущность юнца Бжестовского. Панна Богинская даже устала отшучиваться, а временами просто сцеплялась с паном Агалинским, как Лёдник на диспуте с менее прогрессивными коллегами, и их ссоры Прантиша очень радовали. Потому что на него самого Богинская внимания не обращала, хоть Прантиш и так, и эдак силился разговор завязать, намекнуть, что не может забыть объятия в томашовской темнице да поцелуи в доме за Доминиканским костелом, пусть и с привкусом отравы. Но княжна всем видом показывала, что это для нее ничего не значило. Так королевы от скуки допускают интимные шутки лакеев да шутов. Панна нашла другую игрушку: цеплялась к доктору, как репей за полу, с просьбой показать еще что-нибудь. эдакое. А предметы пан доктор может двигать? А делаться невидимым? Мастерством глаза отводить ведь даже деревенские ведьмаки владеют! А как выглядит философский камень? Правда ли, что пан Лёдник его нашел? А как насчет связи с сильфидой?

Когда же разговор заходил о предсказаниях и гороскопах — ну не будет это большим грехом, дорогой пан Балтромей, составить ма-аленький такой гороскопчик для одной доброй благородной особы, — Лёдник сжимал зубы и ретировался, как Генрих Валуа с польского трона. Молча и внезапно.

Пан Гервасий о темной сущности попутчика не вспоминал, только после приезда в Гданьск Вырвич подслушал горячий разговор: Американец умолял доктора признаться, не заколдовал ли тот все-таки пани Гелену Агалинскую, склоняя к близости, а Лёдник едва не рычал, отрицая.

А раздражения своего даже фехтованием не мог унять. Потому что на второй день по приезде в Гданьск вдруг на пол кружку уронил и браниться на пяти языках начал. Смысл всех ругательств был приблизительно таков: «целитель хренов». Вырвич увидел, что из ладоней доктора капает кровь — открылись чудесно заживленные раны. Так что теперь доктор ходил с забин­тованными руками, а на совет Полонейки полечиться тем самым способом, что демонстрировал владыка Габриэлюс, сердито отвечал, что эта ментальная медицина — все равно что завешивать ковриком пролом в стене. Эффект мгновенный, а пользы чуть. Ничего, заживет натуральным образом.

За две недели, на которые их привязала к суше непогода, руки профес­сорские с помощью специальных мазей действительно более-менее зажили, писать да готовить лекарства доктор мог по-прежнему, а вот браться за саблю пока себе не позволял. Хорошо, что знакомства с местными коллегами отвле­кали внимание от воспитания несчастного студиозуса Вырвича. К тому же, принесли письмо от Саломеи — панна Богинская расстаралась. Письмо коро­тенькое, жива-здорова, в безопасности. Не лезь, Фауст, в трясину, береги бессмертную душу.

Наконец флюгер в виде золотого петуха перестал вертеться как бешеный. Со шхуны «Святая Бригитта» прислали известие, что через пару дней можно будет отплывать. Давно упакованые сундуки отправили на корабль.

И тут к пану Полонию Бжестовскому пришел гость.

Отменно вежливый, с политесом, в парике и камзоле из серебряной парчи. Но от шляхетного гостя почему-то даже неосведомленная прислу­га рассыпалась по сторонам, как шкодливые дети от сердитого гувернера. Если бы белорусские волоты восстали из курганов, возможно, кто-то из них выглядел бы именно так. Пан мог войти не в каждые двери, такой огромный. Брови и ресницы светлые, как пушинки одуванчика, а глаза на исполосован­ном шрамами лице обманчивые, то светлые, то бездонно-темные, с багровым оттенком. Пан даже усмехался — и от этой улыбки хотелось нащупать саблю, а еще лучше — заряженный пистолет.

— Рад видеть вашу княжескую милость! — раскланялся пан перед пере­пуганным паничом из Бжестовских. — Потому что исчезновение ваше наде­лало много горя и испуга и для неутешного жениха, и особенно для вашего ясновельможного пана брата. Длинные дни поисков вашей княжеской мости были горькими, как полынная настойка, и счастливо завершились благода­ря сообщению от гданьского банкира, чьими услугами вы сделали милость воспользоваться. Ваш пан брат неотложно хочет вас видеть в Слониме, где состоится обручение вашей мости с ясновельможным паном подкоморием Пацем. И не будет ли любезна ваша мость, наияснейшая панна, сообщить, куда подевался его мость пан Мартин Борщевский, знаток языков и извест­ный картограф, каковой должен был находиться в этой компании вместо вашей ясновельможной особы и от чьего имени к вашему брату отсылались письма?

На последней фразе в вежливом голосе пана Германа Ватмана прибави­лось металла. Прантиш глянул на Американца, который стоял в стороне и ничем не выдал удивления насчет того, что его спутник оказался благородной панной. Но если Ватман разоблачил пред Агалинским личность Полонейки, значит, твердо намеревается ее увезти. Панна Богинская встала, как на коро­нации:

— Пан Мартин Борщевский очень хотел посмотреть Гишпанию, и бла­годаря счастливому случаю его мечта сбылась. А я подменила пана в его миссии. И пока не совершу путешествие, возвращаться не собираюсь, ваша мость. А на обручение я своего согласия не давала. В Статуте запрещено выдавать паненку замуж против ее воли. Так и передайте моему пану брату.

Наемник наигранно-сокрушенно вздохнул.

— Как вы меня огорчили, ваша мость. Ибо имею поручение привезти вас независимо от желания панны, потому что воля вашего брата и жениха имеет большую силу.

— Его милость Пац мне пока не жених! — отчаянно выкрикнула хри­плым от простуды голосом Богинская. — Лучше в море погибнуть, чем с ним к алтарю!

Комната, где происходил разговор, была увешана пасторальными пейзажиками: пастухи и пастушки в красивеньких одеждах пасли овечек, качались на качелях, собирали цветочки. Так что хотелось запустить в их марципа­новый мир натурального худого и злого волка. Или хотя бы язвительного профессора Виленской академии. Лёдник мрачно молчал, матримониальные планы Богинских его не волновали, но было видно, прикидывает: увезут девицу, оно дальше проще будет, но кого пришлют вместо нее? Ватман это тут же пояснил:

— А я вместо панны съезжу в Ангельщину, помогу своим дорогим дру­зьям панам Вырвичу и Лёднику в дорожных тяготах.

Профессор помрачнел, но возражать не стал: конечно, искушенный убий­ца в попутчиках — дело нервное, но лучше иметь его при себе, чем он будет крутиться где-то около Саломеи.

— Панна Богинская сама должна решить, ехать ей или оставаться! — вос­кликнул Прантиш. — Ваша мость не может ее принудить.

— А я здесь при чем? — наигранно-удивленно промолвил Ватман. — Панна незамужняя, поэтому ее опекун — брат. Собирайтесь, ваша мость! Карета ждет.

Полонея побледнела, как выдержанный на солнце воск. Беспомощно оглянулась в поисках спасения.

— Если ваша мость утверждает, что жених имеет право решать судьбу своей невесты, то не вижу никаких препятствий для взаимопонимания! — вдруг выступил вперед Американец, так расправив широкие плечи, обтя­нутые бархатным золотистым шлафроком с песцовой опушкой, что уютная комнатная одежда показалась воинской кольчугой. — Ясновельможная панна оказала мне честь назваться моей невестой!

— Что? — Прантиш не верил ушам. Панна Полонея, похоже, тоже такого не ждала и сейчас не знала, что делать.

— Ваша мость не много на себя берет, называясь женихом панны Полонеи Богинской, сестры его мости князя Михала Богинского? — холодно и немного настороженно спросил Ватман. Американец задрал нос:

— Я — пан Гервасий Агалинский, на сегодня — старший в нашем роду, мечник Дрисвятский, поручик войска его мости князя Радзивилла. Панна Богинская под моей защитой, и если вы, пан Ватман, будете настаивать на отъезде панны, мы сегодня же с ней обвенчаемся.

Герман Ватман даже крякнул от раздражения:

— Ну панна, ну крученая! Сама хоть понимаешь, что наделала? Да твой брат и с тебя, и с меня шкуру спустит, если узнает о таком самовольном женишке!

Угроза была нешуточная. Битвы за невест с приданым были частыми и кровавыми. И слово согласия здесь значило многое. Вон пан Сологуб однаж­ды гостил у богатого соседа, да не хотел уезжать, пока красавица-дочь хозяи­на не подаст ему стремянной кубок. Чтобы отправить пьяного шумного гостя, отец попросил дочь не упираться, да еще что-то такое необязательное бросил на настойчивые просьбы пана по поводу брака. Гость уехал, проспался, но обещания хозяина не забыл. И под угрозой суда, дуэли или наезда отец был вынужден выдать дочь за не самого выгодного жениха. Так что слова пана Агалинского могли иметь печальные последствия. За каждым родовитым шляхтичем стояла целая партия — родственников, сторонников, а над теми в свою очередь — один из магнатов, которого они поддерживали. Пане Коханку запросто мог вмешаться и начать помогать одному из альбанцев пожениться с избранницей. У Ватмана даже пот на лбу выступил.

— Пан Герман, а зачем моему брату-благодетелю знать о пане Агалинском? Тем более, я и передумать насчет брака с ним могу. — быстренько оценила ситуацию Полонея. — Допустим, вы не нашли меня, опоздали. А из-за моря я вернулась бы, как была, невинной и добропорядочной панен­кой и сразу бы поехала к своему брату. А если вы, пан Ватман, будете при­нуждать меня сейчас же возвращаться, костел в конце улицы.

Наемник обвел глазами компанию, видимо, примеряясь, не перебить ли всех лишних да не утащить шкодливую паненку, но здесь были слуги, здесь был вольный город Гданьск, здесь был посланец князя Радзивилла, и наемник криво усмехнулся:

— Я всегда выполняю то, что мне поручили.

— Вот и выполните порученное. Только немного позже, — мило про­говорила Полонея. — Боюсь, лучшего выхода у вас, пан Герман, нет.

— И ты готов взять такую женой? — с ужасом спросил у Агалинского Ватман. Пан Гервасий подкрутил рыжий ус.

— А я люблю лошадей и женщин с характером.

На прощание Ватман едва двери не вынес. Даже пастухи и пастушки на картинах вздрогнули.

— И давно ваша мость знает, что я — не мужчина? — с некоторым сму­щением спросила Богинская.

— Ну, в томашовских подземельях я окончательно решил, что пан Вырвич с мужчиной обниматься не стал бы.

Панна Богинская покраснела и чихнула. Сейчас же, будто в ответ, чихнул и пан Гервасий. И оба весело рассмеялись. А Прантиш. Прантиш развернул­ся и пошел. В дождь, ветер и отчаяние.

В очередной раз посконника ткнули носом, кто он есть. Пусть слова о жениховстве были враньем, способом спасти даму из неловкого положения. Но пан Агалинский сделал легко, шутя то, что Прантишу не под силу. Пото­му что устремления Вырвича к жениховству даже прикостельный юродивый не принял бы всерьез. А пан Агалинский, хоть и не магнат, имел достаточ­но высокое положение, чтобы его претензии на руку княжны Богинской не выглядели совсем невероятно. Случалось, таким везло породниться с магна­тами. А Прантиш — так, пообниматься в темноте.

У фонтана Нептуна, в котором серые струи смешивались с дождевой водой, Прантиш вдруг выхватил саблю, еще не зная, что сейчас сделает: себя зарубит или кого-то другого. Клинок отражал серый холодный мир, в коем не было сострадания и надежды.

— Пан собрался драться с мраморным Нептуном? — запыхавшийся голос Лёдника прозвучал за правым плечом, будто отозвался ангел-хранитель. Прантиш, помедлив, все-таки спрятал Гиппоцентавра.

— Как ты думаешь, они поженятся?

Вырвич сам не узнавал своего голоса. Все эти годы студиозуса подтал­кивала далекая мечта добиться княжны Богинской, стать с ней вровень. И вот — эту мечту походя отобрал рыжий, но богатый и родовитый неуч.

— Ты тоже будешь вынуждать меня составлять гороскоп? — Лёдник положил руку Прантишу на плечо. — Поверь, парень, не звезды определяют человеческую судьбу. Самый совершенный гороскоп — всего только вариант событий. А молитва имеет силу даже изменять пути планет. Потому на твой вопрос у меня один ответ — не знаю.

Прантиш закрыл лицо руками. В фонтане журчала вода, и по обычаю, отправляясь в царство Нептуна, нужно было бросить к ногам мраморного морского бога монетку. Но Лёдник всегда так непримиримо относился к суевериям, что Прантиш не решился проявить позорную слабость. Так и не бросил.

Тучи плыли по небу Короны со стороны Литвы, как фрегаты неизвестной страны.

А их шхуна была самой обычной. Торговым судном под названием «Свя­тая Бригитта», чей трюм был набит неинтересными вещами вроде льняных рулонов и конопли. Путь ожидался долгий и опасный. С заходами в разные порты. Прантиш на некоторое время даже забыл о своем унижении.

А вот в каюте настроение снова испортилось. Все-таки Прантиш ожидал чего-то более удобного. Отведенная им на пару с Лёдником конура была больше похожа на кладовую, спать предстояло в подвешенных на веревках гамаках из грубого рядна, да еще все воняет гнилой рыбой! За те деньги, которые Радзивиллы отвалили за место на «Святой Бригитте», на суше можно было бы снять покои из сплошного золота. Правда, когда Прантиш посмотрел апартаменты Агалинского и Полонеи, которые имели каждый отдельную каюту, его раздражение немного утихло. Помещения важных панов были не лучше их. А уже когда показали, как живут матросы. А чего хотеть, купе­ческое судно — не дворец, здесь каждый вершок должен использоваться с пользой. Чем побольше товара рассовать, пассажиров поселить.

Лёдник никак не выказал неудовольствия, выпил какое-то зеленое снадо­бье из маленькой бутылочки — таких у него была целая котомка, пристроился к круглому окошку читать, и все — даже лекций нет. А Прантиш был страшно разочарован. Сколько раз он представлял себе свое морское путешествие — стоять на палубе, дышать морским ветром, наблюдать, как величественно катят волны. А здесь по палубе особенно и не пройдешься — ветер с ног сбивает, море серое, небо серое. От качки тошно.

Но человек привыкает ко всему. Быстро Прантиш облазил все судно, куда его только пускали. Особенно интересовался навигационными прибо­рами — некоторые из них, между прочим, придумал таинственный доктор Ди. И Американец нашел себе занятие — выяснил, что штурман и двое матросов побывали в Америке, один даже дрался с индейцами. Начальство, естественно, косо смотрело на то, что членов команды отвлекают от службы, но пассажиры важные, деньги заплатили. А мореходы и рады байкам. Со штурманом, седым подтянутым немцем, у пана Агалинского вообще едва не дружба завязалась на теме экзотических приключений.

Прантиш удивлялся, какая тяжелая это работа — морская. Даже тяже­лее, чем крестьянская. Это они, пассажиры, могли себе качаться в койках, а матросы целый день чем-то занимались, временами совсем глупостями, вроде надраивания до блеска разных деталей. Да еще за самый малый проступок их нещадно пороли. Неудивительно, что на судах обычным делом были бунты.

Панна Богинская носа из каюты почти не показывала, даже в кают-ком­панию, на ужины офицеров и родовитых пассажиров, где по традиции было более роскошно. Лёдник предупредил, что раз решила продолжать путеше­ствовать в качестве пана Бжестовского, лучше, чтобы у команды судна не возникало никаких подозрений. Конечно, век Просвещения. Но суеверия насчет того, что женщина в море приносит несчастье, живучи.

Шхуна шла ходом десять узлов, море было осеннее, суровое, и Прантиш заметил, что с Лёдником что-то не то. Профессор и так не отличался румян­цем, а тут сделался не то что бледный, а просто зеленоватый. В кают-компа­нию не ходил. И кажется, вообще ничего не ел, только опустошал свои буты­лочки — даже глаза ввалились, так что в темноте профессора можно было запросто принять за какое-то потустороннее существо вроде упыря.

Беда случилась, когда Прантиш, как-то неосторожно проходя мимо Лёдника, который снова полез в свою котомку с лекарствами, запнулся и упал на нее. Короче, бутылочки разбились. Лёдник редко бывал так разгневан, хорошо, что ослаб и не сумел ухватить студиозуса за русый чуб, и тот удрал из каюты, прибился к пану Гервасию, который употреблял вместе со штурма­ном очередную порцию грога — теплого напитка со щедрой добавкой рома. А когда Вырвич вернулся, то Лёдник стоял на коленях в углу каюты, ухва­тившись за рундук, и его рвало. Поскольку желудок профессора давно был пустой, зрелище тяжелое.

— Бутрим, что с тобой? Чем помочь?

— Пшел прочь. — голос у доктора был такой слабый, что Прантиш перепугался.

— Может, корабельного врача позвать?

Хриплые звуки, которыми профессор отреагировал на слова студиозуса, должны были означать смех.

— Еще шептуху мне приведи. А помог ты, разбив всю микстуру.

— Да что с тобой? Отравился?

Вырвич уложил Лёдника в койку. Но профессор тут же свесил голову вниз от нового приступа рвоты.

— Да что за хворь?

— Не вздумай... кому... рассказывать!

Наконец стало ясно, что у профессора просто морская болезнь. В тяжелой форме. Лёднику приходилось уже в своей жизни плавать, и каждый раз слу­чалась такая же беда. А поскольку профессор страшно стыдился проявления любой слабости, об этой тоже молчал. Приготовил в дорогу лекарства, кото­рые, честно говоря, не очень помогали. А теперь — вообще нисколько.

— Переживу! — шипел сквозь зубы Лёдник, коего, похоже, более бес­покоило, чтобы кто-то не узнал о его «пороке», чем собственные страдания.

Но Прантиш был встревожен. Если это состояние надолго — а еще плыть и плыть, — кончится плохо. Профессор ничего не ест, не пьет, наверное, и не спит. И если он, один из лучших лекарей Европы, не может сам себе помочь.

Поскольку советоваться с позеленевшим Лёдником было бесполезно, Прантиш бросился к спутникам. Лёдник напрасно переживал, что над ним станут насмехаться, — в первые дни путешествия плоховато было всем, потом привыкли, даже панна Богинская. А потерять профессора посреди моря таким глупым образом не хотелось никому. Панна Богинская снова заве­ла разговор о магнетизме, которым владеет доктор, — пусть применит магию для собственного спасения! Агалинский побежал советоваться со знакомыми из команды. И через час завалился в каюту доктора, держа под мышкой огромную бутылку с мутным содержимым.

У Лёдника не было сил даже прогнать гостя.

— Пей, волшебник! Хуже не станет! Моряки подсказали — ром с перцем и еще с какой-то дрянью.

Лёдник попробовал отбиваться, но, видимо, ему было уже все равно, что село, что выселки.

Прогрессивная медицина заслонила свое постное лицо трактатом о стро­ении вестибулярного аппарата и гордо вышла из помещения.

Через пару часов Лёдник и пан Гервасий сидели за крепким столиком, прочно прикрепленным к палубе каюты, и распевали песню о Левутеньке:

— Рыцар каня паіў,

Лявутэнька ваду брала

І з рыцэрам размаўляла:

— Ай, рыцэру, рыцэру,

Прашу цябе на вячэру...

Дальше в песне говорилось, как рыцарь должен был переплыть ночью реченьку быстреньку на свет трех свечей, зажженных Левутенькой, но «каралёва ключніца, усяму свету разбойніца, каля рэчкі хадзіла, хустачкай махну­ла, усе свечачкі пагасіла і рыцэра ўтапіла». А когда Левутенька узнала, что любимый погиб, умерла от горя. И выросли на могилах влюбленных клен и березонька, соединились вершинами.

Мутной жидкости в бутылке осталось на самом дне. На куске окорока, который краснел на металлической тарелке, виднелись следы докторских зубов (о диете после болезни профессор, похоже, и не вспомнил).

— Из чего следует, — менторским тоном проговорил Лёдник, спотыка­ясь на отдельных буквах, — что в данной народной балладе прослеживаются мотивы античного мифа о Леандре и Геро.

— Откуда, ваша мость, мужикам знать античные мифы! — заплетающим­ся языком возразил пан Гервасий. — У мужика, васпане, мозги иначе лежат. Там высокие материи не помещаются.

— Античные мифы придуманы античными мужиками, васпан! — важно подняв вверх палец, промолвил Лёдник. — Поэзия рождается в поле. А во дворцах одни сладенькие селадоны да галатеи.

Пан Гервасий злобно прищурил помутневшие светлые глаза.

— Я знаю, какая поэзия тебе по нраву, Балтромей.

Ударил по столу кулаком. Еще раз. еще. И под угрожающий ритм тихо запел:

— Далёка слыхаці такую навіну:

Забілі Пятруся, забілі ў Жыліну.

А за што забілі, за якую навіну?

Што сваю мае, чужую кахае.

Чтэры служачкі да Пятруся слала,

А за пятым разам сама паехала.

— Пакінь, Пятрусю, у поле араці,

Няма пана дома, будзем начаваці...

Голос пана Агалинского делался все громче, надрывней, больше похожим на плач.

— Выглянула пані з новага пакою,

Убачыла пана на вараным коню.

— Уцякай, Пятрусю, уцякай, сардэнька,

Бо ўжэ пан прыехаў — будзе нам цяжэнька.

Узялі Пятруся ды пад белы рукі,

Павялі Пятруся на вечны мукі.

— Пакажы, Пятрусю, пакажы жупаны,

Што падаравала вяльможная пані.

Пакажы, Пятрусю, пакажы пярсцені,

Што падаравала вяльможна ў пасцелі.

Білі Пятруся чатыры гадзіны,

Упаўнялі сабе, што Пятрусь няжывы...

Пан Агалинский прекратил стучать по столешнице, голова его с прилип­шим ко лбу потным рыжим чубом свесилась, последние слова песни прозву­чали почти шепотом:

— Вяльможна ідзе, яго матка хліпе...

— Не плач, матка, не плач, бо я сама плачу,

Я за тваім сынам панства, жыцце трачу...

Ды яшчэ Пятруся ў дол не апусцілі —

Па вяльможнай пані званы зазванілі...

Лёдник уткнулся головой в сложенные на столе руки, будто хотел спрятаться. Напротив в такой же позе застыл пан Гервасий. В помещении установилось молчание, как на кладбище, наполненное болью и непопра­вимостью.

— У нее были такие легкие, непослушные волосы. — шептал пан Агалинский будто сам себе. — Казалось, в них живет ветерок. А когда она улыбалась, верхняя губа приподнималась так смешно. Так беззащитно. Если бы я был старшим братом, она была бы моей. И улыбалась намного, намного чаще. Я бы высушивал каждую ее слезинку губами. Ты помнишь улыбку пани Галены, доктор?

— Я помню, как улыбается моя Саломея. — шептал Лёдник, которого, что предсказуемо, разобрало еще сильнее, чем собеседника. — Когда она улы­бается, на ее левой щеке образуется ямочка. А волосы у нее темные, тяжелые, блестящие. Когда пропускаешь их сквозь пальцы, кажется, что проскальзы­вает шелк.

— Я все равно тебя убью. — пробормотал пан Гервасий. И оба оконча­тельно провалились в пьяное забытье.

А Прантиш обрадовался в душе своей, что никто из попутчиков не вспом­нил паненку Полонею Богинскую.

Потому что, когда она улыбается, не по-светски, а по-настоящему, искренне, ее носик так мило приподнимается, а в глазах такие шаловливые искорки. И левый уголок розовых губ немного выше правого, и нужно быть слепым, чтобы не влюбиться за одну эту улыбку.

И качала всех их, влюбленных счастливо и несчастливо, жертв и палачей, деревянная «Святая Бригитта», как букашек качает сухой листик, который слетел на речную струю. И бился в мокрых парусах ветер, и не было в этот час безопасной пристани.

Война, сотрясавшая Европу уже седьмой год, издыхала, как сильный хищник, в которого всадили стрелы и копья, а он все еще ползет, бьет когтя­ми, царапает все, до чего можно дотянуться. После того как брат прусского короля Генрих Прусский выиграл битву при Фрайберге, явив миру «чудо Бранденбургского дома», в сердцах снова поселилась тревога. По дорогам блуждали банды мародеров, войска наемников, готовые на любые престу­пления или подвиги, жизнь человеческая стоила менее шелега. Дорога по морю, пусть длинная, в неблагоприятную пору была более безопасной, чем по залитой кровью суше.

Когда проходили Зунд, остановились в датском порту. Появилась возмож­ность ступить на твердую землю. Решилась и панна Полонея. Она скромно держалась компании доктора и Прантиша, к которым прибился и корабель­ный врач, пузатый, веселый и профессионально циничный. Лёдник вознаме­рился познакомиться с коллегой только после того, как с помощью радикаль­ного средства от пана Гервасия уменьшил симптомы морской болезни, и тем избавился от угрозы стать пациентом. Не сказать чтобы доктору было совсем хорошо, — но ходить, есть и читать лекции мог.

Пан Гервасий пошел с приятелями из команды по местным шинкам. Лёдник предпочел навестить кунсткамеру. В кунсткамере оказалась модель паровой машины. И два доктора плюс один доктор недоученный два часа обсуждали причудливый механизм и его перспективы. Только пан Полоний Бжестовский задрал нос и заявил, что при дворе его старшего брата есть изобретатель, построивший намного более совершенную машину. Правда, об устройстве этой машины панич ничего сказать не мог. Поэтому скучал и рвался в ювелирные магазины. И все было бы мило, если бы Прантиш не заметил злые взгляды, которыми по возвращении проводили матросы со «Святой Бригитты» юного пана Бжестовского, да еще при этом перешепты­вались.

Своими наблюдениями студиозус, однако, делиться ни с кем не стал — мало ли что. А потом пришлось еще помогать тащить на судно пьяного пана Гервасия, который умудрился устроить в шинке драку с португальскими мореходами и получил живописный фонарь под глаз и ножевой порез уха — еще немного и нес бы его пан в кармане.

Ухо пану Гервасию зашивали в четыре руки — оба врача, да еще со злове­щими шуточками. Прантиш подозревал, что они начали какую-то профессио­нальную игру, возможно, заключили пари. Но ухо пана вернулось на место, тем более что специального обезболивающего не потребовалось — в крови пана Гервасия щедро струился ром.

А ночью Прантиша разбудил Лёдник. Корабль качался так, что фонари напоминали привязанных на нитки светлячков, рвущихся на волю. Такой качки еще не случалось. Из-за шума волн приходилось кричать.

— Пошли к Богинской!

Прантиш вылущился из своей койки, едва не упав.

— А что такое?

— Матросы бунтуют! Говорят — баба на корабле, потопит всех.

Панна Богинская забилась в уголок каюты, прикрываясь пистолетом, как веером. Пан Агалинский, с обвязанной белым платком головой, у повреж­денного уха на ткани темнели пятна засохшей крови, был на удивление весе­лым — его, кажется, забавляла ситуация.

— Капитан пробует переговорить с этим быдлом! — прокричал сквозь шум волн пан Гервасий. — Если что — перестреляем глупцов, в море побро­саем! Женщин боятся!

— А не ваша ли мость во время задушевных разговоров с матросами что-то лишнего о женщинах наговорил? — строго спросил Лёдник. Пан Гервасий опустил глаза.

— Ну, может, за бутылкой что-то и рассказал о своей дорогой невесте.

— Я слова выйти за него пока васпану не давала! — возмущенно крик­нула панна Богинская. — Какое право имел ваша мость обсуждать меня с пьяными мужиками?

— Золотко мое, мужики с мужиками всегда обсуждают достоинства пре­красных дам! — без тени неловкости ответил пан Агалинский. — Главное, что за честь своих дам мы можем отдать жизнь. Не волнуйтесь, ваша мость, вы под моей защитой, и ради вашей безопасности.

— Ради моей безопасности пан должен был просто помолчать! — нервно крикнула Богинская. Судно бросило особенно сильно, так что пришлось хва­таться за то, что под рукой, чтобы не упасть. — Доктор! А вы можете какую-нибудь иллюзию создать? — панна Богинская упорно принимала доктора за волшебника из сказок. — Сон на них наслать?

— Наслать на команду сон во время шторма — все равно что корабль потопить, — сердито сказал Лёдник. — Надеюсь, пан Гервасий, записывая байки об индейцах и их золотых городах, не рассказал заодно и о моих ведьмарских заслугах?

Пан Гервасий снова опустил глаза.

— Ей-богу, панове, не помню.

Ну вот, теперь у моряков «Святой Бригитты» были серьезные причины требовать, чтобы опасных пассажиров отправили за борт для умиротворения разъяренного Нептуна.

В дверь каюты постучали, послышался голос капитана. Красное лицо главного на корабле даже покрылось пятнами.

— Вот вы где все! Мне, конечно, заплатили хорошо, но посреди моря деньги стоят немного. Ты, пан, который доктор, колдовать умеешь?

— Я профессор Виленской академии! — Лёдник возмущенно вскинул голову, не прикрытую париком, даже темные пряди волос мотнулись по лицу.

— А мне до задницы, чего ты там профессор, — рычал капитан. — Мне нужно успокоить этих гицлей, коих вы, ваши мости, взбаламутили своими непотребными разговорами. Капеллан при смерти, штурману сломали руку, меня не хотят слушать. Поэтому иди, доктор, на палубу и на глазах команды умиротворяй Нептуна, русалок, наяд или какую иную холеру — или придется отправить на корм рыбам девицу и тебя вместе с ней.

— Мне странно слышать, что образованный человек потворствует суеве­риям, ваша мость! — заявил Лёдник.

— Лупить с матросов шкуру за потакание суевериям будем, если этот шторм переживем! — отрезал капитан. — Давай что-нибудь там разыграй перед моряками, которые уверены, что ты — великий волшебник.

— Могу только помолиться, ваша мость, — холодно ответил доктор.

— Так иди и молись! — капитан схватил Лёдника за рукав и вытащил из каюты. Вырвич, держась за специально натянутые повсюду леера, двинул следом. Пан Агалинский остался защищать свою «невесту».

Никогда Вырвич не забудет той ночи. Холодная соленая вода сбивала с ног, море пело на разные голоса хорал, под который можно отправляться на тот свет, не разобрать, где начинается небо и заканчивается море, одинаково черные. Та обычная вода, что брызгала в лицо, казалось, не имеет ничего общего с живой, дышащей субстанцией за бортом. Единственный фонарь болтался, как последний лист на дереве. Лёдник стоял на носу судна, при­вязанный, чтобы не смыло, линями, и громко читал, отплевываясь от соленой воды и задыхаясь от порывов ветра, православный канон святому Киприану, своему всегдашнему покровителю, хоть, кроме рева моря, ничего не было слышно. Кто-то из матросов считал, что это шаманит волшебник, кто-то, возможно, принимал доктора за святого, тем более кое-кто заметил на его руках стигматы, иные понимали, что он такой же человек, как они, который в опасности призывает высшие силы. Главное — появилось хоть что-то, во что можно поверить между блестящими черными горами, выраставшими из ниоткуда с безразличием человека, что наступает на муравьев.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы шторм не унялся. Воз­можно, очутились бы пассажиры «Святой Бригитты» за бортом. Но Господь прислушался к молитвам, и шхуну перестало швырять как щепку. Назавтра море было обычным, неприветливым, но все-таки более похожим на вспахан­ное поле, чем на горные хребты. Между туч даже кое-где проглядывали синие лоскуты.

Лёдник сидел за столом каюты, снова уткнувшись лбом в сцепленные руки, то ли молился, то ли просто думал о чем-то тяжелом. В помещение ввалился пан Гервасий с обвязанной головой. От пана заметно несло ромом, и пошатывался он не только по воле моря.

— Паненка наша перепугалась. Снова тебя зовет, доктор — то ли голова у нее болит, то ли живот, то ли нервы трепещут. И что это к тебе бабы, как мухи на мед, липнут? Эй, а что с тобой, Бутрим? Погано? У меня акавита есть, принести?

Профессор, не шевельнувшись, утомленно проговорил:

— Мне надоело играть в чужие игры. Слышите, ваша мость, крики? Это лупят матросов, для которых я представлял пророка Моисея перед Черным морем.

— Ну и правильно лупят, — ответил Американец. — Заслужили! Если это быдло не драть, они следующий раз со страху и хозяев потопят, и себя. Жолнер должен гнева своего командира бояться больше, чем врагов!

— Человек, который боится, — жалкое создание, ваша мость. Бояться нужно только Господа, а не другого человека.

— И ты меня не боишься? — насмешливо спросил пан Гервасий. — Я же — смерть твоя.

Лёдник поднял голову и твердо вымолвил:

— Жизнь моя и смерть в воле Господа, ваша мость.

Пан Гервасий, однако, не начал задираться. Прислушался к крикам боли, долетавшим с палубы.

— Эк орут. Смотри, доктор, будешь с моей невестой вольно обходить­ся — тоже так заорешь.

Лёдник холодно глянул на пана.

— Предупреждение излишнее. Я женатый человек, христианин, давал клятву Гиппократа, и к тому же, девочками такого типа не интересуюсь. А сейчас посещу более серьезных пациентов, помогу коллеге. Покалеченных сегодня на судне хватает.

Прантиш фыркнул:

— Только как ты по судну ходить будешь? — И пояснил пану Гервасию: — От него теперь одни разбегаются и пальцы скрещивают, как от нечи­стой силы, а другие пытаются руки целовать. Думают — святой. Только бы те и другие между собою не подрались.

— Бедлам! — прошипел доктор, резко поднялся и начал паковать свой докторский чемоданчик.

Крики умолкли. Пан Агалинский зевнул, осторожно потрогал приши­тое ухо.

— Ну а мы, пан Вырвич, давай в карты перекинемся, пока судно не бро­сает.

Оставалась еще неделя хода — если Нептун не разозлится. Мстительный морской бог, наверное, не забыл, что пан Прантиш Вырвич так и не бросил монетку в фонтан в Гданьске.

Глава двенадцатая

Литвинские гости и аглицкие воры

— Всего пенни! История славного разбойника Джека Шеппарда, который шесть раз бежал из Ньюгейтской тюрьмы! С портретами и изящными рисун­ками! Всего один пенни!

Чумазый парень в шляпе с обвислыми полями, надвинутой на самые уши, бежал за экипажем, размахивая стопкой бумаги. Немного отстал — и вот уже исчез в густом влажном тумане. Прантиш в очередной раз высунулся из окна кареты: туман, мокро, темные стены, запах дыма и прогорклого сала. И это Лондон?

А он уже нафантазировал себе нечто величественное!

Когда они увидели с судна белые меловые скалы, на которых стоит знаме­нитый Дуврский замок, показалось, сейчас попадут в страну чудес. Чудеса начались, когда в отеле оказался ватерклозет — уборная, где все человеческие отбросы сразу смываются водой. Прислугу не удивило, что Лёдник сразу, с порога, затребовал горячую ванну — будто обычное дело. Пожалуйста, пано­ве! И ванна у них была чугунная, на львиных бронзовых лапах, а не корыто. А какие-то не самые состоятельные люди, все в шляпах, сидели в кофейне на первом этаже отеля и читали газеты. И кофе пили из фарфоровых кружек с синими рисунками! Лёдник объяснил, что здесь научились делать фарфо­ровую посуду на фабриках, где рисунок наносит машина. Поэтому она и не дорогая, даже бедняк может купить.

Зато нищие и дети голытьбы на улицах были такие же грязные, как и на континенте.

Лёдник, который единственный из компании более-менее владел аглицким языком, еще и предупредил: ни с кем знакомств не заводить, ничего без совета с ним, Лёдником, не покупать, вещи без присмотра не оставлять. А то всучат какую-нибудь чудодейственную «Золотую эссенцию» или «Дух жемчуга», а ему потом лечить олухов от отравления. И главное, не вздумайте приобретать у разносчиков за полтора пенни белый мутноватый напиток под названием салуп! Там все равно ни капли алкоголя: сладкая трава сассафрас, молоко да сахар, а вот заработать расстройство желудка можно.

Но в Дувре все казалось хорошим хотя бы потому, что закончилось тяже­лое путешествие через море. И хотя земля еще сутки под ногами покачива­лась, это все же была земля. Пусть и чужая-далекая.

Лондон встретил туманом, вонью и шумом. Даже не рассмотришь ничего толком, каждый переулок ведет будто бы в потусторонний мир.

Лёдник высунулся из окна экипажа и переговорил с кучером в странном зеленом плаще с чепцом.

— Сейчас подъедем к самому приличному отелю в Кларкенуэлле. Кучер его горячо рекомендует. Я пойду договариваться с хозяином, а вы стереги­те вещи и друг друга. Район не самый спокойный. Но наша цель именно здесь.

— Бери самые лучшие апартаменты! — важно заявил пан Агалинский.

— Как возжелаете, ваша мость, — язвительно отозвался профессор. — Деньги все равно ваши, платить будете сами. У меня и битого талера не осталось.

Экипаж остановился перед трехэтажным аккуратным строением, встро­енным между соседними, похожими на него, как родные братья, только на этом красовались ладные кованые балконы и жестяная вывеска с названием «Дуб и Ворон». Причем нарисованный ворон с желудем в кривом клюве больше напоминал ястреба. Кстати, это была еще одна особенность Лондона, поразившая студиозуса, — кроме ворон здесь было полно ястребов, которые садились на фонари и крыши, копошились в мусоре — совсем как привычные городские вороны.

Вырвич, естественно, не послушал приказа бывшего слуги, выскочил из экипажа вслед за Лёдником. Рядом тут же очутились панна Богинская и ее самозваный «жених». Прантиш никак не мог сообразить, что в действитель­ности испытывает пан Гервасий к своей «невесте». Студиозус вон сколько галантностей на паненку тратил. Многозначительный взгляд, пожатие ручки, фривольный намек в разговоре. А пан Агалинский, хоть красивых женщин нигде не пропускает, за бок ущипнет, в кладовую с хорошенькой прислугой не против зайти, к Богинской по-прежнему — как к пану Бжестовскому. Немного снисходительный веселый разговор. Подкалывают друг друга или сплетни обсуждают. Может, все не так безнадежно, и авантюрная паненка с голубыми глазами, немного курносая и с холодным сердцем пану безразлична?

Между тем кучер что-то залопотал, требовательно и злобно. По понятно­му везде знаку — ангелец будто растер что-то между пальцами — догадались: требует заплатить. Пан Агалинский широким жестом достал из пояса два дуката и бросил кучеру. Тот схватил так жадно, что дурак понял бы, насколько переплачено. Сразу же налетели какие-то слуги и в мгновение сгрузили пан­ские сундуки на мостовую, тоже потребовав платы. Кучер в знак вежливого прощания тронул пальцами шляпу и хлестнул лошадей. Путники остались около горы вещей.

Вдруг неподалеку послышался гневный женский крик. Под уличным фонарем две пригожие женщины азартно, со вкусом ссорились. Тут же набе­жали зеваки, начали их подначивать. И что такое? В руках у каждой появилось по ножу. Совсем не карманному. Ссора превратилась в смертельную дуэль!

Прантиш схватился за саблю — первое движение шляхтича при наимень­шей опасности — и от захватывающего зрелища забыл обо всем на свете. Женщины посреди круга зрителей — Вырвич, конечно, занял самое удобное место — двигались, как в танце, как два тренированных воина. Наскакивали одна на одну, ловко уклонялись. Юбки они подобрали, так что зрелище ого­ленных выше колен крепких ног принудило пана Агалинского забыть обо всем. Потому что и пан Агалинский терся здесь, в первых рядах. И панна Полонея, любопытная, как молодой воробей. Правда, за толпой, которая немилосердно толкалась, орала, охотники за огненным мечом видели друг друга плохо.

Женщина, та, что тоньше и ниже, с черными волосами, ловко подставила подножку сопернице, и обе покатились по земле. Толпа раздвинулась, все азартно кричали: «Гоу! Гоу!»

Подожди, Лёдник же говорил не отходить от вещей! Один сундучок, между прочим, набит радзивилловскими дукатами. Прантиш оглянулся, приподнимаясь на цыпочки, чтобы за головами зрителей увидеть родные сундуки.

И не увидел.

Может, их уже занесли в помещение?

Прантиш с самым нехорошим предчувствием начал пробираться через толпу. Чуть продрался, и то — оголив саблю, чтобы напугать нахалов.

На том месте, где недавно громоздились привезенные на «Святой Бригит­те» вещи, серели мокрые камни мостовой. Лёдник, наконец, вышел на крыль­цо в черной треугольной шляпе, белом парике, черном бархатном камзоле с мелкими пуговками.

Доктор уставился в растерянное лицо Прантиша, потом повернул голо­ву туда, где происходила драка. Лицо его стало таким, как будто на лекции подловил учеников за тайной игрой в карты. Но не успел профессор задать вопрос, как в общем шуме послышался пронзительный визг:

— Пан Гервасий! Помогите!

Полонея! Прантиш и Лёдник бросились в толпу. Вырвич успел только заметить, что двое оборванцев пробуют что-то у пана Бжестовского отнять, а пан Агалинский разбрасывает их, как медведь собак.

И вдруг все куда-то разбежались, даже две дуэлянтки. На пустой улице остались стоять только четверо литвинов да на крыльце отеля «Дуб и Ворон» щерилась прислуга и солидный пан с рыжей бородкой, в жилете — наверное, хозяин отеля.

В тумане насмешливо каркали лондонские вороны.

— Где вещи? — очень спокойно спросил Лёдник. Прантиш виновато раз­вел руками.

— Пояс! Пояс с деньгами! — вдруг заорал пан Агалинский и начал ощу­пывать карманы. — Святые угодники! Табакерка, подаренная паном Каролем! Перстни! Фамильный сигнет! Часы!

После быстрого осмотра выяснилось, что местные воры ободрали всех, как овец. Только сабли и остались при панах — и то потому, что пан за саблю хватается, как пьянь за рюмку. Правда, ножны, украшенные драгоценными камнями, у пана Агалинского и пана Бжестовского срезали. Даже у Лёдника успели карманы обчистить.

— А я о хорошем номере договорился, — меланхолично проговорил док­тор. — На шесть комнат. С ванной.

Вырвич растерянно обвел глазами улицу.

— Может, в суд заявить?

Панна Полонея выразительно хмыкнула.

Хозяин отеля что-то крикнул и махнул рукой, чтобы подошли. Лёдник переговорил с ним, покивал, повернулся к своим.

— Этот мистер говорит, что раз такое несчастье случилось с нами на крыльце его отеля, он сделает скидку и подберет нам приличные апартамен­ты. Готов принять плату тем, что у нас осталось. Ценности какие, одежда. Думаю, стоит согласиться. Куда мы сейчас сунемся.

Вырвич посмотрел на довольное жирное лицо владельца «Дуба и Воро­на», как лоснятся у того маленькие светлые глазки:

— Да он с теми злодеями заодно! А теперь последнее забрать хочет!

— А кто виноват? — сердито спросил Лёдник. — Я говорил — из каре­ты не выходить? Зачем кучера отпустили? Какого рожна побежали, вылупив глаза на представление, которое специально для вас воры устроили?

— Если бы пан профессор не раскомандовался, ничего бы и не случи­лось! — разъяренно напустился на Лёдника пан Агалинский. — Лезет повсю­ду вперед, за всех решает. Я сам бы и договорился с корчмарем! Язык денег все понимают!

Хозяин отеля с интересом наблюдал за перебранкой обобранных гостей, лениво скрестив руки на груди. Похоже, он мог простоять так, пока темень не окончит бесплатный спектакль.

— Паны, убивать друг друга будете дома. А сейчас что делать? — немно­го истерично спросила Богинская.

И действительно, что? Судно за ними придет хорошо если к Рождеству. Даже весть о беде кому послать — деньги нужны.

— Выворачивайте карманы, — мрачно приказал Лёдник. — Может, у кого какие ценности еще остались. Сабли продавать пока не хочется.

— Да я скорее с голоду сдохну, чем Гиппоцентавр прадедовский про­дам! — гневно крикнул Прантиш.

— Предлагать дворянину продать оружие! Вот по этому и видно, что пан доктор — не настоящий шляхтич, — презрительно кинул пан Агалинский. — Есть понятия, кои благородный человек приобретает, как только учится ходить!

К счастью, профессор не успел сказать что-нибудь язвительное насчет того, что если бы знал, что благородные его спутники настолько беспомощны со своими понятиями, и их нельзя оставить без присмотра и на минуту, то привязал бы их на веревочки да водил за собою, как породистых щенков.

— У меня кольцо осталось! — быстро заявила панна Богинская. — С пальца уже стаскивали, спасибо пану Гервасию — не успели. Изумруд в нем достаточно ценный.

Лёдник взял кольцо панны, поднес к глазам, повертел.

— Работа с драгоценными камнями — часть алхимии. Когда-то я такой изумруд мог даже увеличить в размерах, очистить, принудить изменить цвет. — вздохнул. — Только на это нужно время плюс хорошо оборудован­ная лаборатория. Думаю, фунтов сто за это кольцо мы у аглицкого мошенника выручим.

Хозяин отеля, поняв, что у гостей есть что предложить, широко улыбнул­ся и собственноручно открыл двери своего подозрительного заведения.

Апартаменты, выделенные обворованным гостям, были всего на две ком­наты — Лёдник уговорил пана Агалинского не роскошествовать. Ибо насто­ящей цены хозяин отеля за кольцо Богинских, естественно, не дал. Америка­нец едва выторговал, считая на пальцах и ревя проклятия, пятьдесят фунтов.

Одну комнату галантно уступили панне Богинской.

А цель была так близка!

Полонея и пан Гервасий едва сдерживались, чтобы палками не погнать профессора к тайной пещере с надписью «Здесь добудешь победу огня над железом». Оба делались все более нервными, и Вырвич с тайной радос­тью угадывал под их веселыми перепалками взаимную подозрительность. Неудивительно — за время их путешествия о чем не рассказалось, о том домыслилось. Вражеские партии, конкуренты. А огненный меч доктора Ди достанется только кому-то одному!

Они шли за высокой стремительной фигурой доктора по улице под назва­нием Тернмилл-стрит, между рядами темнолицых домов, и хоть нечего было терять, настороженно провожали глазами уличных торговцев и прохожих. И еще издали услышали громкие крики. На площади собрались люди — и паны, и бедняки, один джентльмен вскочил на ящик и вещал, помогая себе жестами. Толпа кричала что-то одобрительное.

— Пан Лёдник, что здесь происходит? — дернула профессора за полу плаща любопытная Полонея. Лёдник замедлил ходьбу, подошел к горожа­нину, меланхолично посасывающему трубку на краю площади, расспросил, вернулся к компании.

— Это, панове, Кларкенуэлл, и его обычный атрибут — политический митинг, — усмешка доктора была очень кривой. — Мистер на ящике крити­кует молодого короля Георга, который назначает министрами самых глупых и покорных, подкупает парламент и прогоняет прочь вигов в пользу тори. Слушатели, как вы можете догадаться, как и оратор, принадлежат к партии вигов. Король Георг, хоть и молодой, ненамного сообразительней нашего пре­старелого Августа. Но дорвался до власти и не терпит людей, которые умнее его или мыслят самостоятельно. Ждите, он еще огребет за это — и страна поплатится. Особенно за Америку.

— А что с Америкой? — сразу заинтересовался пан Гервасий.

— Да король хочет налоги у Новой Англии повысить. За счет колонистов оплатить свои капризы — войны, реформы. А в Америку, по моим наблю­дениям, отъезжают люди пусть не самые родовитые, но смелые, предприим­чивые, и те, кому нечего терять. И обжилось их там немало. Поэтому навряд ли их удастся так легко обобрать.

— Я бы тоже поддержал этих. вигов! — мстительно воскликнул пан Гервасий, который сразу проникся недобрыми чувствами к Георгу ІІІ, оби­жавшему его любимую Америку.

Люди закричали, причем среди митингующих были и женщины, которые старались громче мужчин.

— Как на виленском сойме! — ностальгически промолвил пан Агалинский. Вдруг джентльмен сбоку что-то закричал, как видно, противоречащее, и в оратора на ящике полетел огрызок яблока.

— Все, сейчас и драка начнется, как на сойме, — буркнул Лёдник и едва не бегом двинулся прочь. Прантиш не против был последить за лондонским соймом, но отставать от компании совсем не хотелось.

Сегодня туман уменьшился, но похолодало. Лёдник рассказывал, что зима здесь не такая суровая, как в Беларуси, и если река замерзает — это считается чрезвычайным событием, бывает несколько раз в столетие. Но в сочетании с неприятной сыростью прохлада пробирала хорошо. Около дома, перед дверью которого стоял столб, обмотанный почему-то красной выцветшей тканью, женщина, закутанная поверх шляпы в шерстяной платок, продавала голубые бусы. Судя по всему, это были талисманы от какой-то болезни. Лёдник подтвердил: лазурит здесь носят от бронхита и пневмонии.

— Слушай, Бутрим, а ты мог бы заработать деньги, если бы предложил свои докторские услуги! — сказал Прантиш.

— Лучше астрология! И гадания! — подлетела к профессору с другой стороны Полонейка. — На это спрос всегда! Сделать рекламу — «Знаме­нитый лекарь и алхимик из далекой Альбарутении, профессор академии и личный доктор великих князей, определяет болезни, предсказывает будущее и дает практические советы, как уберечься от чумы». Народу повалит!

Лёдник только хмыкнул.

— Вы обратили внимание, панове, на столбы, обмотанные красным? Это значит, что в доме принимает цирюльник, которому магистрат дал лицензию на кровопускание. А значит, он, считайте, лекарь. А видите, на двери вот такой барельеф?

Вырвич взглянул туда, куда показывал Лёдник: к двери была прикреплена бронзовая голова дядьки в старомодной шляпе и воротнике-жернове.

— Это голова философа, астролога и алхимика Френсиса Бэкона. И озна­чает, что в доме живет его последователь, который охотно за деньги вам и погадает, и гороскоп составит, и чудодейственный электуарий сварит. Вместо Бэкона может быть изображение волшебника Мерлина. А вон и странству­ющий мой собрат тащится: видите, в бархатном плаще?

Действительно, по улице важно шел высокий дядька с тощей бородкой, словно козлиной, в длинной темной одежде и островерхой шляпе. К дядьке подбежала немолодая женщина, похоже, прислуга, сунула монету, и они стали о чем-то шептаться.

— И как вы думаете, при такой конкуренции много можно заработать? — насмешливо промолвил Лёдник. — Да меня сразу в участок сдадут те, у кого я заработок перебью. Помните, пан Вырвич, прецедент в корчме под Раковом?

Прантиш мрачно кивнул головою. Воспоминания невеселые. Тогда Лёд­ника забрал судья Юдицкий, чтобы продать пану Герониму Радзивиллу, что взялся гноить да пытать в подземельях слуцкого замка ведьмаков. Прантиш не захотел бросать в беде своего новоприобретенного слугу, после чего и воз­никла между ними дружба.

Между тем перед компанией выросла высокая кирпичная стена, за кото­рой виднелись мрачные шпили готического храма и полуголые тополя.

— Если мы все правильно посчитали и кукла-рисовальщица не оплоша­ла, это здесь, — тихо промолвил Лёдник.

Панна Богинская и пан Агалинский благоговейно уставились на тяжелые дубовые ворота, над которыми в каменном фризе светлел барельеф в виде треугольника, из коего смотрело всевидящее око.

— Здесь был монастырь рыцарей-госпитальеров. — пояснил Лёдник. — Теперь он заброшен, стена построена значительно позже. В районе Кларкенуэлл всегда селились подозрительные типы. Вроде доктора Ди.

И решительно постучал в ворота.

Стучать пришлось долго. Только когда пан Гервасий замолотил в дубо­вые створки ногой в подкованном сапоге, кто-то недовольно отозвался по ту сторону стены, и ворота приоткрылись. Горожанин, что открыл незваным гостям, мог быть родным братом хозяина отеля «Дуб и Ворон». Такое же сонливое вытянутое лицо, рыжеватые бакенбарды, снисходительный взгляд маленьких светлых глазок. То, что на пришедших был наставлен ствол писто­лета, свидетельствовало — абориген не просто проходил рядом, а стережет собственность.

После того, как в его руки перешло несколько шиллингов, ворота откры­лись шире, и литвины оказались еще ближе к своей цели.

Древний храм находился в жалком состоянии. Видно было, что он пере­жил пожар и человеческую ненависть, — радикальные кларкенуэлльцы не любили богатых монахов и важных рыцарей. Лёдник настойчиво расспраши­вал сторожа, суя ему монету за монетой, лицо его все больше мрачнело.

— Значит, так. Хорошая новость — здесь действительно есть подземе­лье с латинской надписью, и находится оно в доме, который называется — не поверите — «Огонь и железо».

Полонейка и пан Гервасий даже напряглись, как гончие, почуявшие запах крови раненого зверя.

— А плохая новость? — спросил Прантиш.

— А плохая — что мы туда не попадем. Тот участок, где подземелье, после смерти доктора Ди был продан магистратом, там построена вон та халупа. — Лёдник показал на кирпичную постройку, похожую на казарму, которую отделяла от монастыря еще одна стена. — Когда-то в ней устроили винокурню, а в пещере, что мы ищем, хранили вино. Потом здание приспо­собили под жилье для наемных рабочих, что строили новый мост. Теперь оно продается вместе со всеми тайнами.

— Вот и чудесно! — воскликнул пан Гервасий. — Приобретем здание — и все!

— За какие шиши? — язвительно спросил доктор. — Цена его — не менее пятисот фунтов. И нужно поспешить, иначе выкупят другие — тогда вообще неизвестно, что случится. Новый хозяин может и снести все.

— А чего ждать? — выкрикнул Прантиш. — Давай сторожа оглушим — и полезли в то строение! Замок я любой отопру!

— Оно бы план и неплохой, — ответил Лёдник, — если бы не одно обсто­ятельство. Строение не пустое.

Будто в подтверждение его слов, в окне сумрачного дома показался чело­век в черном, можно было рассмотреть только его бледное лицо.

— Квакеры. Такая религиозная секта. Особо строгая. — пояснил профессор. — Они собираются отплывать то ли на Гавайи, то ли на Карибы, проповедовать веру Христову. А пока сидят и истово молятся. И ни за какие деньги никого шарить по дому не пустят. Люди суровые и к военному делу хорошо приспособлены, оружие имеют. Дом не их, принадлежит одной леди, которая им покровительствует и обещала, что вырученные за строение деньги пожертвует братьям во Христе на их миссионерский путь. Так что как только здание продастся — его и освободят.

Полонейка, Американец да и Прантиш поглядывали на кирпичное строе­ние, как влюбленный на закрытые ставни красавицы.

Оставалось в очередной раз помянуть недобрым словом лондонских воров.

Если бы не те воры — уверенней чувствовали бы себя литвины среди мраморных колонн, украшавших прихожую шикарного дворца владелицы кирпичной винокурни около монастыря тамплиеров. Как-то не верилось, что особа, живущая в таком дворце, имеет интерес к неприметному стро­ению в Кларкенуэлле. Имя владелицы — леди Кларенс — ничего не гово­рило.

Сама леди, однако же, к гостям не вышла — ничего удивительного. Гости приехали без особенного шика, торгуются за какие-то небольшие деньги. Панна Богинская стояла, горделиво задрав нос, — несомненно представляла, как бы могла подъехать сюда на шестерке породистых коней в карете с гербом, с лакеями и казаками на запятках, с герольдом, который объявляет приезд. И вышла бы, ступая на бархатную подушечку, положен­ную под ступеньку кареты, в необъятном роброне с фижмами, усыпанная диамантами, в прическе высотою с купол собора святого Павла. Вот тогда бы гордячка из этого дворца почувствовала свое место! У Богинских и не такие дворцы есть!

А Прантиш крутил головой, рассматривая картины-статуи-фарфор-серебро, и не мог избавиться от ощущения, что за ними внимательно наблюдают чьи-то глаза, изучают, как букашек.

— Леди спрашивает, зачем уважаемым господам из Альбарутении стро­ение в Кларкенуэлле?

Важный дворецкий с обвислыми щеками хорошо разговаривал на фран­цузском, которым в компании более-менее владели все, поэтому пан Гервасий с удовольствием отодвинул доктора в сторону и взял на себя переговоры, пусть и заочные, с благородной личностью.

— Пусть ее милость леди Кларенс не сомневается, что ее бывшее иму­щество будет использоваться в самых приличных целях. Мы. мы устроим там склад самых лучших вин!

Прантиш едва сдержался, чтобы не захохотать. Американец мог бы при­думать и более изящную версию. Что в голове, то и на языке.

Дворецкий вернулся с еще более надменной физиономией и сообщил, что леди Кларенс на таких условиях продавать не желает. Тут же выскочила вперед Полонейка в обличье Бжестовского.

— Пусть ясновельможная пани простит, но, быть может, она согласится продать то строение мне? Я использую его в самых христианских целях: соз­дам приют для бедных и госпиталь. Вот и доктор с нами, известный на всю Европу профессор, сэр Лёдник, который поможет создать самое лучшее меди­цинское обслуживание обделенных судьбой несчастных. Так как он именно этим и занимается во славу Господа!

Слова пана Бжестовского текли, как жидкий мед. Ай да молодчинка Полонея — правильно рассчитала: если леди такая святоша, что содержит сектантов-миссионеров, естественно, идея с вином ее возмутила. А помощь бедным — самое то!

Но дворецкий вернулся от невидимой леди с тем же отрицательным отве­том. Золоченые гипсовые амурчики по стенам помещения самым непри­стойным образом насмехались над неудачными покупателями и целились в них из маленьких луков, будто тем до кучи не хватало пылкой любви.

— Передайте леди, — загремел Лёдник, которому надоел этот марлезонский балет, — что лично меня интересует таинственная история упомянутого строения и я имею к нему научный интерес. И привык все свои эксперименты доводить до логического завершения. Поэтому пусть леди назовет любую цену.

Компаньоны посмотрели на Лёдника, как на умалишенного, — панна Полонея даже, кажется, готова была обойтись с ним, как с лакеем, опрокинув­шим на ее платье чашку кофе. Почти разоблачить их намерения!

На этот раз дворецкий задержался дольше, принесенный им ответ всех удивил: леди согласилась продать винокурню доктору Лёднику, имея в виду его научный интерес. Условия — тысяча фунтов, принести лично послезавтра утром.

Лёдник церемонно поклонился, оборвал Прантиша, который намеревался было немного поторговаться, по всем светским правилам поблагодарил леди Кларенс и вывел компанию из дворца.

На берегу Темзы с видом на новенький Вестминстерский мост, чудо инженерной мысли, прошел небольшой стратегический совет.

— Если бы не случай у отеля — я бы тысячу фунтов из одного сундука зачерпнул! — раздраженно сказал пан Гервасий. Полонейка вздохнула, раз­глаживая запятнанный и помятый рукав недавно шикарного камзола:

— Сейчас в Лондоне есть несколько известных персон из Польши и Литвы, но ведь идти, представляться, все рассказывать, объяснять, что мы здесь делаем. А я в таком виде.

— Исключено! — отрезал пан Агалинский. — Лучше бы меня послуша­лись. Да я в одиночку тот дом приступом возьму! Квакеров саблей покрошу, и подземелья наши.

— В тех подземельях может ничего не быть, васпан, — напряженно преду­предил Лёдник. Пан Гервасий внимательно посмотрел на профессора:

— Я свое слово сдержу, не волнуйся. Твое дело — привести меня в пещеру.

— Нас, пан Агалинский, нас! — мило оскалилась Полонейка. Изящная такая, хорошенькая. Но Вырвич чувствовал, что на пути к цели она будет, пожалуй, более опасной, чем Американец. Тот со скрытой насмешкой покло­нился:

— Конечно, дорогая моя невеста, у нас же все должно быть общим!

Где-то зазвенели колокола — и сразу им отозвались другие. Лондонские храмы заполняли город величественными звуками со всех сторон, казалось, даже туман рассеялся.

— Пойдем к моему бывшему однокурснику Роджеру, — решительно зая­вил Лёдник. — Он сделал хорошую карьеру, среди клиентов — сплошь гер­цоги. Опять же — в Королевском научном обществе не последний человек. Тысяча фунтов — деньги немалые, но для него возможные. Когда-то я помог ему в начале его карьеры, подбросил пару идеек. Тогда Роджер обещал, что век не забудет моей услуги. Вот и посмотрим.

Они ехали в нанятом фаэтоне, навес не спасал от влажных микроскопи­ческих капель, что липли к лицу, как паутина.

Чумазый мальчик, тащивший корзину с углем, заметил рыжего усатого чужестранца, который, сидя в экипаже, до отвращения важно поглядывал по сторонам. Мальчик с вызовом свистнул и показал усатому джентльмену кулак, а когда тот угрожающе оскалился и выкрикнул непонятное «Зарублю!», еще и швырнул вслед ему кусок угля.

— Когда я был здесь в молодости, — спокойно ответил Лёдник на брань пана Гервасия, возмущенного наглостью здешнего простого люда, — на улице вообще нельзя было показаться в придворном убранстве. Сразу забра­сывали грязью. Даже короля и королевскую семью встречали оскорблениями. На статуе королевы Анны у собора святого Павла уличные мальчишки прак­тиковались в швырянии камней. Не думаю, что с того времени здесь полю­били аристократов. Кстати, самая популярная пьеса, которую разыгрывают в домашних театрах сами аристократы, — это «Опера нищих». Графья да баро­ны с удовольствием переодеваются в лохмотья, употребляют грубые слова и осваивают дурные манеры. Парадокс, панове!

Вырвич, с одной стороны, был злорадно удовлетворен — а вот вам, магнатики, не всюду перед вами раскланиваются, с другой стороны — он же сам шляхтич, неужели здесь какой-то носильщик или угольщик будет с ним спо­рить, кому первому пройти в дверь?

Ученого пана, к которому они приехали, уличные мальчишки точно могли забросать грязью — за одни перстни с диамантами. Неудивительно, что пан заставил их ждать в гостиной, прибирался, видимо, в лучшее. Неужели так хочет хорошо выглядеть перед коллегой и другом молодости?

Однако на вытянутом лице пана — морщинистый лоб, длинный кривова­тый нос, светлые запавшие глаза — застыла только брезгливая насторожен­ность. Значит, наряжался, чтобы унизить гостя, а себе придать важности.

Искренних объятий с похлопыванием по спине с бывшим однокурсником не случилось. Зато мистер Роджер говорил на хорошем немецком — видимо, привык в Пражском университете.

— Добрый день, герр Балтромеус. По какому случаю — лекции, консуль­тации или, быть может, на постоянную работу?

И по всему видно, что пану менее всего хотелось, чтобы приятель здесь задержался.

Лёдник заверил, что в Лондоне проездом, сопровождает родовитого вос­питанника, и завел деликатный разговор о бедственном положении, в которое попала компания, далее логично следовало одолжение денег. Но мистер Роджер остановил гостя, в его тонком голосе, как вода из-под весеннего снега, пробивалась искренняя ненависть:

— И как ты, герр Балтромеус, после своей публикации в лейпцигском журнале осмелился приехать в страну, лучших ученых мужей коей посмел оскорбить, сотрясти самые основы академической науки?

Ой-ёй! Вместо доброжелательной беседы попали на диспут. Глаза пана загорелись, он начал сыпать научными терминами. А его возмущение, как понял Прантиш, происходило от того, что Лёдник опубликовал что-то о каком-то своем открытии раньше, чем до того же додумался мистер Роджер, а он всю свою жизнь собирался до этого додуматься, а Лёдник, шарлатан эдакий, мечты однокурсника разрушил. Да еще и покритиковал кое-какие научные выводы лондонского коллеги.

— Мы отправили в редакцию письмо протеста против ваших инсинуа­ций! Все подписали — даже ваш хваленый Джон Хук!

Тут Лёдник не выдержал и дал волю сарказму, доходчиво пояснил пану, что тот со своим косным и зашоренным сознанием никогда бы не дошел до открытия, и вообще — консерваторы, представителем коих является мистер Роджер, только препятствуют настоящим ученым, их сейчас в Англии много, и до них мистеру Роджеру — как до Венеры.

Разъяренного профессора Виленской академии спутники едва не насильно вытащили из шикарного дома однокурсника-консерватора, чье бледное невыразительное лицо под конец спора приобрело яркий свеколь­ный цвет.

— А иных друзей, Бутрим, у тебя здесь нету? — спросил раздраженный Прантиш, размазывая по лицу лондонский туман.

— Из научных кругов — как видите, лучше ни к кому не соваться. — ответил Лёдник, изучая свои ладони со шрамами. — А другие влиятельные знакомцы у меня такого же типа, как известный вам владыка Габриэлюс. Им я и на глаза попадаться не хочу.

Пан Полоний Бжестовский вдруг совсем по-мальчишески захохотал.

— Доктор, у вас какой-то особенный талант — вызывать к себе пыл­кие, но отрицательные чувства. Даже пан Гервасий собирается вас убить. Наверное, и у пана Вырвича не раз чесались руки прикончить своего ученого слугу?

Прантиш только злобно зыркнул на паненку, ибо она была права: три года назад пана Вырвича не раз аж трясло от ненависти к дерзкому холопу — пусть не убить, но избить его, сломать очень хотелось. Тогда и подумать не мог, что холоп будет в качестве профессора отправлять бывшего хозяина в карцер.

Пан Гервасий злобно подбил ногой кусок угля, что валялся на мостовой и который, возможно, какой-нибудь голодранец швырял в золоченую карету.

— Может, наезд устроить? Подстеречь богатого пройдоху-купчину или ростовщика. Отобрать деньги у злодея — шляхетской чести нет урону!

— Грабежом заниматься не будем! — твердо заявил Лёдник. — На моей душе и так грехов достаточно.

— А давай я в игорный дом пойду! Где ставки повыше. — энергично предложил Прантиш. — Я же и в кости, и в карты.

— Обдерут как липку, — отрезал профессор. — При всех ваших талантах и везении, ваша мость, это на последней скамье аудитории вы однокурсников обыгрываете, а против местных шулеров не потянете. А еще можно и нож в бок получить.

— Где же, ваши мости, в таком случае, мы до послезавтрашнего утра добудем тысячу фунтов? — со слезами в голосе спросила Полонея. — Знае­те, панове, я очень хочу снова походить в платье! А для этого нужно удачно завершить путешествие.

Поблизости прошла торговка рыбой, распространяя вокруг характерный запах. Платье из плотной ткани и стеганая юбка делали фигуру бесформен­ной и будто высеченной из камня, на голове, поверх чепца, женщина несла корзину с товаром, в зубах дымилась короткая трубка. Похоже, эта баба с Билинсгейтского рынка могла бы побороться даже с паном Гервасием.

Торговка оценивающим взглядом скользнула по расстроенным панам, что-то пропела грубым голосом — судя по тому, как дернулся Лёдник, очень неприличное, и пошла себе дальше, неумолимая и непонятная, как сам этот город.

Такая ручки у пана целовать не станет.

Лёдник вздохнул, посмотрел в серое небо, начинавшее темнеть.

— Завтра что-то придумаем. Зовите, пан Вырвич, извозчика, поехали в отель.

И тогда началось еще одно чудо — ибо с приходом в город тьмы повсюду, около каждого десятого дома, начали зажигать фонари. Целая армия фонар­щиков, в высоких шляпах, с длинными палками на плече, ловко перемеща­лась от фонаря к фонарю. В освещенные круги входили женщины в модных шляпках, грея руки в меховых муфточках, прислонялись к фонарям в галант­ных позах, прохаживались, высматривая клиентов. А главное — витрины! Застекленные, огромные! Все магазины сияли, как окна во время бала. Было светло, как днем. Вот бы так устроить в Менске и Вильне!

Глава тринадцатая

Лондонские круги

Словил литвин в лесу русалку, которая запуталась волосами в его бороне, радостный, приволок домой — а красавица гнилой рыбой смердит, в волосах сороконожки бегают, визжит, аж голова болит, ни к труду, ни в постель... Помучился парень, пострадал да и сволок добычу обратно, в лес.

Чем ближе была тайна доктора Ди, тем тревожней становилось Прантишу и все чаще думалось — какого рожна им тот огненный меч дался? Не придется ли сильно разочароваться? Даже железная черепаха, вооруженная пушками, которую когда-то сделал знакомый Лёдника Якуб Пфальцман для князя Геронима Радзивилла, только слутчан попугала да стены изрешетила.

Когда они возвратились в гостиницу, доктор, немного отдохнув, взялся за гимнастические упражнения, каковые, когда свалился с морской болезнью, забросил было на судне. Потом раздвинул мебель в их комнате по стенам, одол­жил у пана Бжестовского саблю и устроил при свете свечей и камина такой тренинг по фехтованию, что у Прантиша и пана Агалинского, которые должны были вдвоем нападать на доктора, рубахи стали хоть выжимай. А Лёдник, ору­дуя то одной саблей, то двумя сразу, все был собой недоволен. Хотя пан Агалинский, у которого сабля почему-то все вылетала и вылетала из руки, был недово­лен еще больше, если не сказать — разъярен, и бился всерьез. Прантиш видел, как доктор о чем-то шепчется с хозяином гостиницы, сует ему деньги и записку, а хозяин с той запиской куда-то отсылает юного слугу.

А с кем доктор готовится схватиться — так и не объяснил.

Утром урок повторился, хоть был и короче. Доктор поворчал, что стареет, что кисти рук недостаточно гибкие и движения недостаточно быстрые, — ага, недостаточно, двух более молодых загнал, как пьяный драгун коней, — и приказал собираться. Причем сложил в докторский кожаный чемоданчик, который здесь приобрел вместо украденного, бутылочки с лекарствами, ткань для перевязки, моток шелковых ниток с угрожающе большой кривой хирур­гической иглой. Значит, драка будет серьезной. Недаром попытался оставить в гостинице паненку Богинскую. Но Полонейка на уговоры и запугивания только сердито проговорила: «Командовать будешь дома женой, доктор».

Лёдник намек о заложнице Саломее понял, сжал зубы и отвернулся.

Пан Гервасий радостно заметил, что давно надо было добыть желаемое честной саблей, а не разводить марципаны. Но поехали они не в сторо­ну аббатства тамплиеров, а ближе к реке. Лёдник отпустил кучера в самом подозрительном месте, где чернели уродливые строения портовых складов и шлялось множество самого зловещего народа. Возле узкого прохода между двумя складами, оставлявшего ощущение ловушки, где исчезали прохожие — и чисто злодейского вида, и джентльмены с кружевными манжетами, — стоял, привалившись к стене, громила в кожаном жилете, скрестив на груди руки, которыми, наверное, можно было выжимать воду из камней. Доктор с громи­лой пошептался, сунул монету. Тот кивнул: мол, проходите.

И они прошли.

Вначале поразил шум. Люди в большом пустом помещении толкались, кричали. У стены находилась специальная ложа, как в театре, там собира­лась родовитая публика. Присутствовали даже дамы в огромных шляпах с украшениями в виде маленьких кораблей и птиц, лица некоторых прикрывали маски и вуали. Дамы отчаянно махали веерами, демонстрируя волнение своих утонченных натур. Сквозь ряды окон с запыленными стеклами проходило достаточно света, чтобы до мелочей рассмотреть все происходящее на свобод­ной площадке посередине зала, вокруг которой толпились зрители. Сейчас на ней дрались два петуха.

— Ты куда нас привел? — крикнул Лёднику в ухо, перекрывая гам, пан Гервасий. — Мы что, на петухов сейчас будем ставить?

— Это место с самыми высокими ставками в Лондоне, — ответил док­тор. — Сейчас — только начало. Потом будет бой на кулаках, а в заверше­ние — с холодным оружием.

Между тем черный петух окончательно заклевал белого, и человеческий круг как по команде быстренько расступился в стороны, освобождая более широкую площадку. В руках зазвенели монеты, замелькали бумажные деньги, и под одобрительные выкрики на площадку, забрызганную петушиной кро­вью, вышли два полуобнаженных бойца с кулаками, обмотанными ремнями.

Люди взревели.

— Что они все кричат? — спросила панна Богинская. — Когда у гостини­цы дрались женщины, кричали то же самое.

— Любимая фраза лондонцев: «В круг!» Это значит, будет драка, — спо­койно ответил доктор.

— Бутрим, ты что, собираешься здесь драться на саблях? В этом раз­бойничьем вертепе? — с ужасом догадался Прантиш. — Ты же профессор! Ученый!

— Ну вот, если что, сам себя и вылечу. Кстати, держи лекарства. Име­ешь шанс на медицинскую практику.

Прантиш с самыми нехорошими предчувствиями взял тяжелый чемо­данчик.

Панна Богинская стояла, брезгливо скривив личико, ее совершенно не интересовало, каким образом в сто первый раз сломает рябому оболтусу нос второй оболтус, волосатый, как обезьяна.

— Вот скажите, доктор, почему вы всегда выбираете самый неблаго­дарный и убыточный для собственного здоровья путь? — с отвращением спросила панна. — Разве тяжелее было предложить какой-нибудь герцогине увеличить ее диаманты, вылечить от прыщей или составить парфюм, чтобы любой мужчина от запаха терял голову? Ей-богу, я бы сама за такое не пожа­лела тысячи талеров!

— Оставалось за один день найти доверчивую герцогиню с лабораторией, увеличить диамант, составить парфюм, вылечить прыщи, а сначала еще пре­вратиться в мошенника, — проворчал доктор.

Толпа заревела, волосатый верзила, победивший рябого, тряс рукой с зажатой в ней стопкой бумажных денег.

— И сколько он получил? — поинтересовался Американец.

— Фунтов двадцать, — судя по выражению лица, Лёднику тоже не очень были интересны кулачные разборки.

— До тысячи далеко, — насмешливо произнес пан Гервасий.

— Платят победителю каждого боя, поэтому чем больше боев выигра­ешь — тем больше получишь. И с каждым боем приз растет. Последний из кулачных бойцов, который победит всех, получит не меньше трехсот фунтов. А самые большие деньги выплачиваются во время вооруженных поединков.

— Но ведь нет никакой уверенности, что наберется именно тысяча! — возмутился Прантиш.

— Значит, надо биться, пока не наберется, — сквозь зубы произнес Лёдник и уставился на площадку.

— В круг! В круг! — заорали зрители. Высокий неуклюжий дядька с лысым шишковатым черепом стучал себя в грудь кулаком и что-то выкрики­вал, видимо, не находя соперника. Вдруг, снимая на ходу дорогой камзол, в круг вышел молодой плечистый джентльмен.

— Это кто? — поразился пан Агалинский.

— Судя по выкрикам, лорд Кавендиш.

— Неужели настоящий лорд? — удивился Прантиш.

— Почему нет? Аристократы тоже здесь участвуют, — рассеянно отозвался Лёдник. — Чего не сделаешь от скуки! А понаблюдать даже герцогини ездят.

— А он очень привлекательный! — выглядывая из-за чужих плеч, оцени­ла Полонейка светловолосого, хорошо сложенного лорда. Тот оправдал ее вос­хищение, когда уложил лысого на десятом ударе. Побежденного быстренько оттащили за ноги с площадки.

— Сто пятьдесят фунтов тому, кто одолеет лорда Кавендиша! — прокри­чал распорядитель жестоких развлечений. И тут случилось неожиданное: пан Гервасий, который с появлением лорда начал проявлять к бою неподдельный интерес, с криком рванулся вперед.

— Я шляхтич, литвин Гервасий Агалинский, принимаю вызов его мости пана Кавендиша!

Лёдник, Прантиш и Богинская протолкались вслед за Американцем. А тот уже на жадных глазах толпы сбрасывал камзол, рубашку, парик и в пред­чувствии боя скалил зубы.

— Что вы делаете, ваша мость! Вы хоть знаете правила этой игры?

— Го, меня в нашем полку еще никто не смог одолеть! Морду ангельцу набью на раз! — пан Гервасий нахально смотрел в глаза высокому блондину-лорду, который механически подпрыгивал на месте, ожидая соперника.

— Подождите же! — с досадой сказал доктор, что-то прокричал, ему бросили две кожаные полоски, перепачканные кровью, и свежей, и засох­шей. — Запоминайте. — Лёдник с помощью Прантиша начал обматывать кулаки пана Гервасия полосами, спешно объясняя правила и давая советы.

— Гоу! — это слово Прантиш выучил хорошо.

Сотни глаз снова горели грешной жаждой чужих страданий и смерти. К этому прибавлялась возможность выигрыша денег, азарт, пьянящий, как мед баторин. Даже панна Богинская кусала от нетерпения губы.

Лорда, однако, на раз завалить не удалось. Пан Гервасий выглядел не хуже, чем он: широкие плечи, отважный, быстрый, но лорд двигался более точно. Агалинский бесился, разъяренный, лупил в веселом азарте, а англича­нин просчитывал свои движения с холодной жестокостью, бил молча, удары принимал без брани.

— Дурак, куда бросается! — комментировал сквозь зубы действия Аме­риканца Лёдник. — В голову пропустил — если бы мозги имел, то остался бы без них.

Прантиш тоже нервничал: ему и самому хотелось бы вот так, по-муж­ски. Чтобы восхищались, чтобы панна Полонея кусала от волнения губы. Эх, быть бы таким же плечистым, как пан Гервасий! Или хоть бы высоким, как Лёдник. Зато в ловкости студиозусу нет равных. Вот в этот момент боя он на месте Американца присел бы и сбоку.

Лёдник дернул ученика за рукав.

— Не вздумай и ты что-нибудь вытворить! Вижу, загорелся. Только дер­нись — лично по голове дам.

— Оу! — взревели вокруг. Альбанец попал-таки изо всей мощи кулаком в челюсть лорду. Лорд брякнулся на пол, как подрубленное дерево.

Сто пятьдесят фунтов, переданные от победителя Прантишу, студи­озус, наученный горьким опытом, спрятал за пазухой, под рубашку. Пан Гервасий с лицом, перепачканным красной юшкой, ходил по кругу, широко улыбаясь разбитыми губами, бил себя в грудь, поросшую рыжей шерстью, и кричал:

— Агалинские не сдаются! Во славу пана Кароля Радзивилла любого побью! Живе Беларусь!

Кто-то сунул чужестранному бойцу бутылку, видимо, не с чаем, пан Агалинский жадно присосался и совсем повеселел.

— Давайте! Ну, гоу-гоу по-вашему. Кто следующий?

Лучше бы он этого не узнавал. За приз следующего боя вышел состязать­ся настоящий Голиаф. Не меньший, чем Ватман. Его физиономия казалось собранной из кусочков, лобные кости выступали вперед, как у обезьяны, нижняя челюсть была похожа на наковальню. Маленькие глазки Голиафа смо­трели невыразительно, без злобы, без интереса.

— Ну, давай, лондонская обезьяна! — пан Гервасий с налету врезал Голи­афу в челюсть-наковальню.

А тот будто не заметил. Даже головой не мотнул. Панна Богинская завиз­жала, когда великан вдруг выбросил вперед свою длиннющую руку и, вроде легонько, стукнул пана Гервасия в плечо, а тот и упал.

Теперь Прантишу уже не хотелось самому быть в круге. Состязание выглядело безнадежным. Агалинский бросался, лупил — Голиаф его ударов не замечал. Зато пан Гервасий раз за разом валился с ног, видимо, вспоминая свою дуэль с полоцким бычком во дворе корчмы.

— Убью! — хрипел Американец, когда его за ноги оттаскивали с пло­щадки.

— Ничего, полторы сотни фунтов — хороший вклад, — утешал Лёдник. — А эта дубина — похоже, здешний чемпион, всегда побеждает.

— Ваша мость очень мужественно держались, — заверила Американца Богинская.

— А замуж за меня пойдешь? — весело прохрипел Агалинский, глядя на «невесту» единственным не опухшим оком. — Я за жену свою еще не так буду драться!

У Прантиша даже сердце остановилось. Но Полонейка только кокетливо засмеялась.

— Ах, пан Агалинский, разве сейчас до таких разговоров.

Пока Лёдник ощупывал Американца, ставя диагноз, пока прикладывал мази, Голиаф действительно уложил еще одного соперника, краснолицего, похожего на бочку, получил еще двести фунтов и звание главного сегодняш­него победителя. Причем краснолицему повезло намного меньше, чем пану Агалинскому: Лёдник, бросив взгляд на безвольное тело, заверил, что у бед­няги сломана шея. Навряд ли выживет.

После небольшого перерыва зазвучала труба, совсем как при побудке в казармах. Люди снова оживились, зашевелились, зазвенели монетами.

— Ну все, моя очередь, — очень буднично сказал Лёдник и двинулся вперед.

Теперь дрались мастера холодного оружия.

Соперники здесь тоже раздевались до пояса — чтобы не было соблазна поддеть под рубаху панцирь, что иногда делали. А без рубахи профессора Лёдника можно было принять за разбойника-каторжанина — с его набором разнообразных шрамов и жилистым, подтянутым телом. Профессор связал темные волосы в хвост и застыл в расслабленной позе, опустив саблю.

— Мистер Айсман! — объявил руководитель.

Вырвич, несмотря на нервозность, едва не рассмеялся от такого псевдо­нима: он уже знал, что айс — это по-английски «лед». Конечно, профессору Виленской академии без нужды, чтобы в Европе узнали о его подвигах в качестве уличного бойца.

Первым против «мистера Айсмана» вышел тоже немолодой воин со сле­дами многочисленных ран, вооруженный палашом. Он бился рассудительно, сноровисто. Но против Лёдника долго продержаться не мог. Несколько минут — и палаш на полу. Мало кто сумел даже проследить стремительные движения «мистера Айсмана». Побежденный почтительно поклонился, как старый воин старому воину, и даже пожелал удачи. Первые пятьдесят фунтов отправились студиозусу за пазуху.

Публика буйствовала от возбуждения. Против Балтромея выходили ста­рые и молодые, профессиональные убийцы и аристократы. Бились на шпагах, рапирах и мечах. Лёдник работал аккуратно и быстро. Оружие соперника на полу — деньги забрать — передать на хранение Вырвичу.

Глаза у людей горели, как у вурдалаков. Им хотелось еще большего, еще более яркого, еще более страшного. Постепенно из общих выкриков сложи­лось одно слово, которое кричали и сидящие в ложе дамы в шляпах, и разносчи­ки газет, извозчики и докеры внизу: «Bloode! Bloode!» Это означало «Крови!».

К Лёднику приблизился распорядитель, переговорил. Профессор недо­вольно кивнул головой. Распорядитель что-то прокричал, после чего толпа радостно завыла.

— Что он сказал? — встревоженно спросил Прантиш усталого полочанина.

— Что теперь бой будет продолжаться, пока один из соперников не будет в состоянии встать. Одно слово, дикари.

Лёдник утер со лба пот и вздохнул.

— Снова грех на душу брать, людей калечить.

Однако укладывал людей Лёдник аккуратно, с совершенным знанием ана­томии, чтобы не покалечить совсем. Но кровь лилась, и публика была доволь­на. Сам профессор дополнил коллекцию шрамов парой царапин.

Стопка денег за пазухой Прантиша все росла, и студиозус нервно прижи­мал ее к себе левой рукой.

— Ну что, тысяча есть? — прохрипел Лёдник после очередной схватки, во время которой ловкий, как ящерица, соперник вопреки всяким правилам со злости едва не всадил доктору в бок спрятанный за поясом нож.

— Всего двух сотен не хватает.

— Тогда нужно заканчивать.

Доктор подошел к распорядителю на переговоры. И тут случилась беда. Один из побежденных соперников, которого Лёдник, жалея, только оглушил ударом плашмя, черноволосый, с приплюснутой злой физиономией, подско­чил к своему обидчику со спины с оголенным палашом.

— Бутрим!

Лёдник едва успел оглянуться и встретить клинок клинком. Но на него насели еще несколько, видимо, из той же банды. Замелькали ножи. Прантиш помог доктору со своей саблей, мгновенно встав спина к спине, не напрасно тренированный. Пан Агалинский вывернул одному из подлецов руку с ножом и приложил кулаком в лоб. Вмешались еще кое-кто из публики. Возмущенно закричали из ложи, особенно требовал навести порядок лорд Кавендиш, который, кажется, немного пришел в себя после удара в челюсть. Нарушителей правил с позором вытурили. Все окончилось через пару минут. Но профессор стоял, зажимая рукой глубокий порез на левом предпле­чье. Сердито крикнул распорядителю, кажется, о том, что из круга не выходит, драться продолжит, тот радостно закивал.

Профессор без церемоний уселся на пол, все так же зажимая рукой рану, из-под пальцев лилась кровь, и приказал Прантишу:

— Зашивай!

К раненому тут же подбежали местные лекари со своим инструмента­рием, но литвинский коллега на чистейшей латыни выразительно послал их зашивать клювы тауэрским воронам.

Полонейка помогала Вырвичу достать из чемоданчика подготовленные Лёдником инструменты.

— Иглу и нить подержи в спирту! — командовал Лёдник.

— Знаю, не дилетант! — отрывисто ответил Прантиш, целиком сосредо­тачиваясь на «медицинской практике». Публика искренне радовалась, стре­мясь придвинуться как можно ближе, понаблюдать за операцией. Совсем как в костеле в Томашово. Леди и джентльмены в ложе подносили к глазам очки на длинных ручках, вытягивали шеи, чтобы лучше рассмотреть процесс. Пан Гервасий несколько раз отодвигал любопытствующих, которые были готовы клюнуть в чужую рану носом, как стервятники. Единственное, что мог про­фессор, — сохранять предельно презрительное выражение лица.

Вырвич с помощью Полонеи, которая ни разу не поморщилась, справился довольно быстро, даже загордился, плотно перевязал рану. Лёдник поднялся, проверяя, повращал рукой:

— Нормально!

Распорядитель сразу же объявил о продолжении зрелища, точнее, его последней и самой интересной части. Мистер Айсман, который продемон­стрировал отличное владение оружием, вызывает на бой сразу двоих. Приз — пятьсот фунтов.

Лёдник стоял в обманчиво расслабленной позиции, опустив голову, в обеих руках по сабле. Зрители перешептывались, переглядывались. Похоже, мистер Айсман нагнал на всех страху. Наконец в круг вышли двое: чернявый ирландец с обрубленным ухом и матрос королевского флота с перебитым носом и залысинами, на спине которого шрамов от ударов красовалось не меньше, чем у Лёдника. К гадалке не ходи — бойцы искусные. Зрители сразу же начали делать ставки.

Ирландец постарался занять позицию напротив раненой руки соперника. Прантиш сильно сомневался, что это ему поможет. Однако опасность остава­лась — профессор усталый, раненый, вокруг полно тех, кто может пырнуть ножом в спину, поставить подножку.

Но когда распорядитель выкрикнул «Гоу!», Вырвичу снова пришло на мысль сравнение с черной змеей. Лёдник решил на прощание показать ангельцам настоящее зрелище и не спешил завершать бой, будто хотел доказать ненавистникам, что полученная рана его не сломала. Его движения напоми­нали стремительный сложный танец, который завораживал, как танец гадюк, сабли мелькали как молнии. Первым из боя вылетел ирландец — Лёдник методично поранил ему обе руки. Почти сразу же брякнулась на каменные плиты сабля моряка, а ее владелец, ослепленный кровью из неглубокой раны на лбу, бранясь, упал на колени.

Доктор, получив деньги, торжественно поклонился, отказался от пред­ложений начать пылкое знакомство с поклонниками, воспользоваться интим­ными услугами восхищенных девиц, отхлебнуть из бутылки, прогулять часть выигранных денег в частном притончике и, одеваясь на ходу, бросил компа­ньонам:

— Теперь самая сложная задача — ретироваться отсюда невредимыми и при деньгах. Панна Полонея, держитесь меж нас.

Тревога Лёдника была понятной: вокруг них собралась подозрительная банда, бросая чрезвычайно заинтересованные взгляды. Прантиш взялся за саблю.

Вдруг толпа расступилась, бандиты помрачнели. К пану Гервасию в сопровождении до зубов вооруженных слуг подходил лорд Кавендиш с замет­но распухшей челюстью, отчего не совсем ясно выговаривал слова.

— Возможно, уважаемые чужестранцы говорят по-французски?

— О, да! — обрадовался пан Гервасий возможности наконец спокойно поговорить с равным. — Рад видеть, что ваша милость находится в добром здравии. Позвольте представиться: шляхтич Гервасий Агалинский.

Лорд, насколько позволяла травмированная челюсть, растянул губы в улыбке, обвел глазами компанию литвинов, немного задержав взгляд на пане Бжестовском.

— Предлагаю уважаемым панам воспользоваться моей компанией и моей каретой, чтобы покинуть это благословенное место. Ибо мне кажется, что джентльмены не совсем знакомы с местными обычаями и по этой причине могут попасть в неудобное положение.

Предложение было принято с благодарностью, и если судить по разочаро­ванным физиономиям бандюганов, оказалось весьма своевременным.

В шикарной просторной карете места хватило всем. Лорд откинулся на обшитую золотистым атласом стенку.

— Где ваша страна, сэр Агалинский, представляю смутно, хотя встречал в Лондоне князя Юзефа Понятовского. Он очень любил рискованные приклю­чения. Как и вы, джентльмены.

Лорд разговаривал непринужденно и немного вяло, как человек, привык­ший к власти. Пан Гервасий заверил собеседника, что они попали в этот при­тон только потому, что, приехав, были обворованы. Лорд пожал плечами.

— Вы могли бы продать свою девочку. Я с удовольствием ее куплю. Литвинок у меня еще не было.

Полонея побледнела.

— Это моя невеста! — гневно сказал пан Гервасий. Лорд вяло поднял руки.

— В таком случае прошу простить, ваша милость. Но ваш маскарад не может обмануть искушенного человека. Я слышал, среди того сброда кое-кто договаривался украсть вашу невесту. Знаете, женщины — дорогой товар. Осо­бенно образованные, с манерами.

На лорда с его безразлично-веселым цинизмом невозможно было злиться. Он являл породу людей, которые, чтобы скоротать время до ланча, с одина­ковой вероятностью и одинаковым выражением на лице могут совершить подвиг, выстрелить себе в рот или убить случайного прохожего. В пане Агалинском лорд Кавендиш признал такого же аристократа и подчеркивал это, обращаясь исключительно к нему. На Лёдника же поглядывал со сдержанным снисходительным интересом:

— А вы, мистер Айсман, наверное, были жолнером?

Лёдник высокомерно шевельнул бровью.

— Я врач, ваша мость.

Лорд сделал одолжение недоверчиво улыбнуться.

— На вас следы пуль и клинков, это может случиться везде. Но столько палок и плетей, что прошлись по вашей спине, возможно заработать только в армии, на флоте или на каторге.

Пан Агалинский кашлянул и опустил глаза. Он отлично знал, откуда у Лёдника шрамы от ударов, — постарался старший Агалинский. Профессор принял еще более надменный вид.

— Скажем так, ваша мость, я какое-то время находился в плену.

Лорд Кавендиш кивнул головой, показывая одновременно и легкое сочув­ствие, и свое безразличие к перипетиям Лёдниковой жизни. И снова уставил­ся на пана Агалинского.

— Предлагаю васпану еще одно экзотическое впечатление: я знаю прият­ное кафе с избранной публикой, где можно покурить очень интересный табак, привезенный с островов. До утра вы будете путешествовать в своих самых смелых мечтах. Составите компанию, васпан?

По лицу лорда пробегали тени придорожных деревьев, будто темные ангелы. Пан Агалинский, которого Лёдник на всякий случай незаметно тол­кнул локтем, вздохнул и отказался.

— Тогда, ваша мость, продайте мне своего телохранителя-доктора. Это чрезвычайно интересное сочетание — совершенный убийца и лекарь в одном лице.

Вялый голос лорда Кавендиша звучал так, что непонятно было, то ли он шутит, то ли говорит всерьез. Ясно было одно: не приведи Господь его разозлить.

После вежливых объяснений Лёдника, что он больше не продается, лорд уставил светлые невыразительные глаза на фехтовальщика:

— Дело только в цене. Вы же сегодня продавали свою жизнь. И я прода­вал — за бокал риска. Ты создаешь круг — или идешь в круг. Я люблю попро­бовать и то, и это. Год назад мы придумали одно интересное развлечение. Слышали о могавках?

— Нет, ваша мость.

Лицо лорда стало, как у тиуна над сонными жнеями.

— Мы так называемся в честь индейцев. Краснокожие тоже не обременяют себя рассуждениями о ценности человеческой жизни. Представьте себе: идет по улице, оскверняя ее своим присутствием, какой-нибудь вонючий оборва­нец. Или пузатый горожанин, который мечтает быстрее очутиться в постели рядом со своей толстенной женой. И вдруг оказывается в кольце вооружен­ных шпагами джентльменов в черных плащах и масках. Он начинает потеть от страха и нащупывает кошелек. И тут чувствует укол в поясницу. Пово­рачивается. И снова его колют сзади. Он снова поворачивается. И снова его колют в спину. Задача в том, чтобы придать движениям жертвы динамич­ность, чтобы он вертелся как можно быстрее, и это напоминало танец. Чем неповоротливее и уродливее жертва, тем более смешно получается. Особенно интересно с женщинами. Они визжат, подпрыгивают, выгибаются.

— Вы и женщин останавливаете? — возмутился Прантиш.

— А что?

Вырвича даже трясло от гнева.

— Такие занятия недостойны шляхтича, ваша мость!

— Или ты создаешь круг, или стоишь в его середине, — безразлично про­молвил лорд. — Хотите в круг — ваша воля. Особенно было бы забавно пона­блюдать за паном доктором. Это был бы исключительный танец!

— Да Балтромей порезал бы ваших «могавков», как лягушек на лабора­торном столе!

Лорд не успел ответить, шустро влезла Полонея:

— Сэр Кавендиш, не знакомы ли вы с многоуважаемой леди Кларенс? Возможно, пан будет так любезен что-нибудь рассказать чужестранцам об этой благородной женщине?

Богинская сделала все правильно: предотвратила возможный гнев лорда, отвлекла его внимание невинным вопросом, и вопрос был важным.

Вот только был ли он невинным, или лорд окончательно повредился умом, только глаза его остекленели, ангелец несколько раз ударил кулаком в стенку кареты, и кучер остановил лошадей.

— Прошу у ваших мостей прощения, но дальше везти не могу. Очень при­ятно было познакомиться, — с последними словами лорд потрогал опухшую челюсть. — Оревуар.

И, ей-богу, Вырвичу показалось, что в безразличных глазах лорда Кавен­диша блеснула настоящая ненависть.

И нельзя сказать, чтобы всех очень огорчила необходимость покинуть карету, — в компании лорда они чувствовали себя, как иностранцы, которых в Несвиже, в гостях у пана Кароля Радзивилла, обслуживали вместо лакеев сморгонские медведи.

Избитый пан Гервасий Агалинский, порезанный пан Балтромей Лёдник, напуганная перспективой похищения панна Полонея Богинская и подавлен­ный тем, что не удалось совершить подвиг на глазах Прекрасной Дамы, сту­диозус Прантиш Вырвич возвращались в гостиницу «Дуб и Ворон», к теплу камина. Прантиш нежно прижимал рукой спрятанную под рубашкой стопку заработанных литвинской кровью денег.

Глава четырнадцатая

Ящик Пандоры

Как говорил старший Данила Вырвич, возвращаясь из корчемки с пусты­ми карманами, быстро пришли, быстро ушли, что медные, что золотые.

Бумажные тоже долго не продержались. Важный дворецкий занес тысячу фунтов на серебряном блюде таинственной леди Кларенс, которая так и не появилась покупателям на глаза, тут же выбежал шустрый молодой человек в синем суконном камзоле, как оказалось, нотариус, договор на покупку кир­пичного помещения в Кларкенуэлле на имя мистера Балтромея Лёдника был составлен, подписан, заверен.

И вот они стоят перед мрачным строением, кутаясь в плащи от студеного ветра, и плохие предчувствия мельтешат вокруг и жалят, как дикие пчелы.

— Поздравляю, доктор, у тебя сейчас есть собственный дворец в Ангельщине! — захохотал пан Гервасий.

Квакеры оставили пустые стены, спартанскую мебель и устойчивый запах ладана. Интерьеры были новому владельцу неинтересны, гостей, как вурдала­ков и крыс, влекли подземелья.

Вырвич в дрожащем свете свечей спускался по сырым каменным ступе­ням и вспоминал, что так же пришлось бывать в подземельях Слуцка, Менска, Полоцка, и сколько там пережито страшного и впечатляющего. Оставалось надеяться, что в лондонских подвалах все будет проще. И конечно, что там вообще что-то будет.

И вот арка, и надпись на ней «Здесь добудешь победу огня над железом». Двери не заперты. Но за дверью — ничего интересного. Длинное помещение без окон, пол наклонен вниз. Единственное, что свидетельствовало о таин­ственной истории, — на крайней стене вырублены цифры, рассыпанные беспо­рядочно, будто слепой сеял. Профессор сразу начал ощупывать камни кладки.

— Что теперь, стену ломать? — нервно спросил пан Гервасий. — Здесь без пороха не справишься. Вон какие глыбы.

Но Лёдник только рукой махнул, мол, не мешай. Изучал камни, едва не водя по ним носом, выискивая одному ему известные знаки.

— Надеюсь, я все правильно расшифровал. — бормотал доктор. — Так. Двенадцать. Тройка и четверка. Три алхимических принципа «tria prima»: сера — душа, что значит чувства и желания, соль — земное тело, ртуть — дух, что охватывает фантазию, судит о нравственности и интеллектуальных спо­собностях. Четыре элемента — вода, земля, огонь и воздух. Три состояния вещества — твердое, жидкое, газообразное. Цифры плодов, понятные толь­ко посвященным, — тринадцать. Двадцать пять. Совпадает!

И нажал сразу на два камня внизу. Они стронулись, углубились. Потом еще на один. Что-то заскрежетало, и каменные глыбы вдруг сдвинулись по специально уложенным в пол стальным полосам. Из темного провала потяну­ло холодом и смертью.

— Свидетельствую, что пан Балтромей Лёдник выполнил взятое на себя обязательство привести означенных лиц к пещере, нарисованной куклой по имени Пандора, — вдруг торжественно проговорил Прантиш Вырвич, настро­енный защищать интересы учителя, ибо тот только в драках да диспутах такой грозный и искушенный, а в жизни — как ягненок, которого все стремятся затащить к резнику. Пан Гервасий Агалинский, не отводя жадного взгляда от провала, так же торжественно промолвил:

— Подтверждаю, что пан Балтромей Лёдник выполнил часть нашего договора, и я сдержу слово о судьбе своего племянника.

— Подтверждаю, что пан Балтромей Лёдник выполнил данное моему брату обещание, и поспособствую, чтобы ему вернули жену, — проговорила и панна Полонея Богинская.

— Вот чем вы доктора прибрали к рукам, — насмешливо промолвил пан Агалинский. — Похитить женщину! Очень достойно! Пан Богуш говорил, что Богинские ни перед чем не остановятся.

— Можно подумать, их милости Радзивиллы очень озабочены моральной основой своих поступков! — резко ответила Полонея. — Вы вообще доктора судьбой маленького мальчика держите! Нечего говорить, высокая мораль­ность!

— Доктор сам хорош! — ноздри Американца начали гневно разду­ваться. — Да он перед всем моим родом в долгу!

— И в шрамах, — разозлился Прантиш Вырвич. — Может, если паны не против, они сейчас все-таки разберутся со своими сокровищами сами?

— Они разберутся! — Полонея прищурила голубые глаза. — Только рука­ми наемников! Как на сойме в Слониме, когда холуй пана Радзивилла Волович нападал на моего брата! Посмел его унижать! В то время как его хозяин заливал глаза вином! А потом мой брат был вынужден защищать Волчин, родовую усадьбу Понятовских, от радзивилловских банд! Мерзкий и баналь­ный наезд!

— А не мерзко, что ваш брат, женатый, между прочим, мужчина, поехал в Петербург предлагаться в любовники новой императрице? — разъярился пан Агалинский. — Жил там, как шлюха, извините, на смотринах! Ножкой по паркету шаркал перед немкой-царицей, которая своего мужа на тот свет спровадила! Радзивиллы, по крайней мере, ни под кого не ложатся!

— А не ваш ли Пане Коханку российской императрице, как только та овдовела, письмо послал, протекции просил, в верности клялся? — насмеш­ливо бросила Полонейка. — Афронт получил — вот и бесится! Вот и вся его независимость!

— Неправда! — покраснел пан Гервасий. — Не может этого быть! Не писал его мость Радзивилл такого письма.

— Еще как писал! — язвительно проговорила Богинская. — И самыми куртуазными словами! Корону выпрашивал! Могу свидетелей дать.

— Да пан Кароль — и без короны король! — отчаянно крикнул Агалинский.

— Если король, то где хоть какое-то разумное дело, которое он осуществил для страны? — Богинская готова была выцарапать «жениху» глаза. — Медве­дями вместо лакеев гостей пугать? Мой брат мануфактуры создает, дороги отремонтировал, театр у него лучший в Европе!

— У Радзивиллов тоже мануфактуры и театры есть! — пан Гервасий даже руку на эфес сабли положил, будто на сойме во время горячей дискус­сии. — Главное — он независимость княжества защищает! Ибо сказано в Статуте — человеку учтивому ничего не может быть дороже свободы, так как она — сокровище, кое никакой суммою переплачено быть не может.

— Он защитит вольность! — возвысила голос Полонейка. — Потопит страну в пьянстве да распрях! В государстве должна быть сильная рука — и властитель должен быть человеком рассудительным и образованным, как мой пан брат!

— Панове, может быть, продолжим поиск? — предложил Прантиш, груст­но думая, что на самом деле все они попали сюда из-за интриг российского шпиона и трон уже предназначен не Богинским и не Радзивиллам, а Понятовскому.

В узкий проход, открывшийся под аркой, Американец и Полонейка от злости умудрились протиснуться вместе. Американец в одной руке держал фонарь, в другой — саблю. Полонея — Прантиш мог присягнуть — под пла­щом сжимала симпатичный остренький кинжальчик, Вырвич не раз замечал, как она его перепрятывает.

Лёдник привалился спиной к стене сбоку от входа и утомленно прикрыл глаза. Похоже, интерес к наследию доктора Ди у него за время долгого пути окончательно выветрился.

Крики разочарования вынудили студиозуса и профессора двинуться за спутниками. Ничего не найдя в маленьком помещении, больше похо­жем на коридор, те изучали еще одну стену, за которой гипотетически мог скрываться проход. Это была плита, отличная от других стен. Мягкий известняк, украшенный барельефом, напоминающим дерево, вместо лис­тьев на нем росли цифры и буквы. Лёдник тяжело вздохнул. Его миссия не закончилась.

— Та-ак, перед нами arbor raritatis, редкое дерево, — профессор водил длинными пальцами по очертаниям барельефа. — Таким образом доктор Ди определял человеческую жизнь. На каждом ярусе дерева человек проводит семь лет, а потом делает выбор, куда двигаться дальше. Видите, разветвле­ние в форме буквы ипсилон? Семь — сумма мужской цифры три и женской четыре. Поэтому задачу на каждом этапе человек должен решить двойствен­ную. Завершенность — это восемь ступеней. В возрасте четыре на семь, это значит, в двадцать восемь лет, главный выбор — или мы делаемся эгоцентри­ками и тиранами, выбирая материальный мир, или пневматиками — через эле­менты воздуха и воды поднимаемся к духу огня, становимся философами. И последняя ступень перед посвящением — пятьдесят шесть лет. Буква I. Прямой путь наверх.

Параллельно своим рассуждениям профессор нажимал на соответствую­щие части барельефа. Плита предсказуемо отъехала.

— И не тошнит его от всех этих знаний? — пробурчал пан Гервасий и полез вслед за панной Богинской, которая уже заскочила в новое помещение.

— Гроб, что ли? — напряженно спросил пан Агалинский, рассматривая длинный ящик из покрытого черным лаком дерева, занимавший почти всю маленькую комнату.

Лёдник внимательно осмотрел сводчатые стены, каменный пол, просту­кал, пощупал.

— Здесь больше ничего нет. Доктор был позер, если бы еще что-то спря­тал — оставил бы философские загадки. Давайте это вынесем на свет.

Ящик оказался подозрительно легким. Прантиш, которого все-таки разо­брал азарт, убеждал себя, что, возможно, Ди придумал небольшой огненный меч, что должен помещаться в руке.

А наверху их ждали.

Действительно, не могло все оказаться таким простым. Около двух десят­ков, вооруженных всем, чем могут быть вооружены наемники на службе у очень важной персоны.

А вот и та персона.

Ящик ударился об пол, Лёдник, Прантиш и Агалинский выхватили сабли, панна Богинская предусмотрительно спряталась с кинжальчиком за спину «мистера Айсмана», чемпиона уличного боя.

К ним подходила Пандора.

Такая же, как та, что сидела в лаборатории Виленской академии. Толь­ко глаза поменьше, нормальной человеческой величины, и стала постарше. Этой Пандоре, в модном платье из светло-серого шелка и лазурного бархата, усыпанном жемчугами и расшитом серебром, с белым мехом, небрежно наки­нутым сверху, в синей шляпе, украшенной тем же белым мехом, можно было дать лет двадцать пять. Но привычно властное лицо, властное до жестокого, было будто не зависящим от возраста — не лицо, а маска, не человек, а «сим­вол в парче с лилиями».

— Открывайте! — скомандовала Пандора по-немецки, и ее слуги заво­зились с медными полосами, перетягивающими ящик.

— Нужно понимать, имеем честь видеть леди Кларенс? — вежливо по-немецки промолвил Лёдник, склонившись в светском поклоне.

— Можете называть меня и так, — рассеянно ответила Пандора, внима­тельно наблюдая за процессом открывания черного ящика.

— Совсем как в античном мифе, — прошептал Прантиш профессору. Тот улыбнулся уголком рта. Прекрасная Пандора снова собиралась открыть чер­ный ящик, в котором были спрятаны все беды человечества.

Наконец крышка отлетела, и заинтересованные лица жадно уставились внутрь. Ничего подобного на меч там не оказалось, но леди Кларенс выхва­тила серебряный футляр, в каком обычно хранили древние пергаменты. Слуга почтительно помог его развинтить, достал пожелтевшие рулоны. И леди углу­билась в изучение бумаг. Королевские печати, висевшие на прикрепленных к пергаменту шнурах, свидетельствовали, что это не просто стихи или частные письма, а клейноды. Документы особой важности.

Пан Гервасий оттолкнул плечом слугу, который стоял у ящика, и пощупал непонятную конструкцию, оставшуюся внутри: похоже на футляр для чего-то длинного, с установленными под разными углами зеркалами. Полонейка тотчас взяла другую удивительную вещь — хрустальный череп. Сделанный невероятно точно, можно даже было представить, что это действительно останки такого вот прозрачного хрупкого человека. Или не человека? Ибо череп был как-то слишком вытянут. Лёдник же ухватил тетрадь в твердой кожаной обложке, которая лежала в том ящике, полистал, вчитался.

— Ну, старый мошенник! — вдруг вырвалось у профессора. — А я — ста­рый дурак. — с огорчением признался тут же. — Дротики Индры, световая энергия, «есть многое на свете, друг Горацио.» Фокусы, и только!

— А вы ожидали найти здесь что-то научно стоящее? — насмешливо спросила леди, удовлетворенно сворачивая прочитанные пергаменты. Ее немецкий был совсем без акцента. — И в такую даль за этим приехали? То, что доктор Ди — мошенник, вы, известный профессор Балтромеус Лёдник, должны были знать.

Профессор почтительно поклонился.

— Ваша светлость меня знает?

Пандора, как величайшую ценность, положила клейноды в золоченый ящик, который ей с поклоном подал лакей, с помощью прислужницы уселась на принесенную обтянутую бархатом скамеечку, погладила собачку, неприят­но маленькую, пушистую и плоскомордую, поднесенную ей вторым лакеем, и только тогда сделала одолжение ответить.

— За вами наблюдали, доктор. Когда вы захотели приобрести строение «Огня и железа», я сразу заподозрила, что мы с вами уже встречались. Только я была в восковом виде. Надеюсь, вы не снимали с меня платье? По расте­рянной физиономии этого молодого человека вижу, что снимали. Ну и как я вам — понравилась, васпан?

Леди захохотала, глядя на смущенного студиозуса, — видно по всему, она занимала такое высокое положение, что могла себе позволить вольные шутки и не обременяться соблюдением этикета в разговорах с теми, кто намного ниже.

Панна Богинская решила, что по своему статусу она из их компании боль­ше всех соответствует леди, и шагнула вперед, держа под мышкой хрусталь­ный череп, который, похоже, твердо намеревалась присвоить.

— Позвольте представиться, ваша милость, я княжна Полонея Богинская, сестра генерал-майора войск Великого Княжества Литовского князя Михала Казимира Богинского. Признаться, я не совсем понимаю, что происходит.

— Восхищаюсь смелостью княжны, которая решилась на такую авантю­ру, да еще переодетой в мужской костюм, — промолвила с легким поклоном леди Кларенс. — Поверьте, ваша мость, я не насмешничаю, я и сама способна на такие приключения, — леди снова засмеялась, хотя ее серые глаза оста­вались холодными, как горный хрусталь. Пандора подала знак, и для панны Богинской тоже принесли красивую скамеечку, на которую панна сразу же торжественно и уселась, демонстрируя привычку к придворному поведению.

— Как вы догадались, я, в отличие от вас, нашла что хотела, — леди пока­зала на сундучок с клейнодами. — Без этих бумаг нашему роду было трудно вести борьбу за наследственные земли и право занимать высокое положение. Возможно, самое высокое в государстве.

Глаза Пандоры зловеще сверкнули.

— Проклятый доктор Ди! Вы знаете, как королева Бесс, Елизавета, его одаривала, доверяла ему. А он в конце ее жизни совсем развратился. Занял­ся черной магией. Связался с Келли, у которого за подделку монет были обрезаны уши. Да за одну аферу с несчастным польским графом Лестерским, которого они вдрызг обобрали, Ди стоило посадить в Тауэр! Король Джеймс так вообще прогнал мошенника. Но Ди, было время, находился очень близко от трона. Ему доверяли на сохранение важные документы. По крайней мере те, что касались происхождения моего прадеда. Да, прадед был королевского рода.

— Вы имеете в виду сына лорда Дадли и королевы? — уточнила панна Богинская. Леди скривилась.

— Давайте не называть имен! Все держалось в такой тайне, что она до сих пор может убить. Мой прапрадед имел влияние на королеву и всячески уго­варивал ее прогнать мошенника Ди и не верить его предсказаниям. Наконец доктор попал в опалу. Его выгнали из Кембриджа. После смерти королевы доктор Ди решил отомстить. И документы, которыми мои предки могли под­твердить высокое происхождение, исчезли.

Совершенные черты Пандоры выразили легкое презрение.

— Поступок этого поганого доктора лишил наш род надежды на трон. Из завещания доктора Ди стало понятно, что клейноды, заверенные королевой Елизаветой, где-то припрятаны. Говорили, что доктор доверил ключ к своим сокровищам восковой кукле. Но прадед жил в Германии, вынужденный скры­ваться от врагов, боявшихся, что он вступит в борьбу за власть. Когда он смог вернуться в Англию, чтобы отыскать восковую куклу, — кстати, сделанную в виде самого доктора, — ее уже не существовало. При короле Джеймсе монахи сожгли ее как дьявольскую вещь, и по-своему были правы. А дальше — слу­чай. — Пандора коротко вздохнула, расправила складочку на юбке, будто не было ничего более важного, нежели эта складочка, тронула шляпу — прислу­га тут же поднесла пани круглое зеркало в золотой оправе, которому Пандора ласково улыбнулась, и продолжила речь, любуясь собой. — Я, знаете, мало жила в Англии. У нас замки в Германии, Швейцарии. Когда в Швейцарии пошла мода на восковых кукол, отец хотел заказать такую у известного мастера Вокансона. В виде меня — все с детства восхищались моей красо­той. — Леди произнесла это безо всякого кокетства, просто как факт, снова улыбнулась зеркалу и наконец отвела от него взгляд. — Это было забавно. С меня снимали маски, обмеряли. Мастер и рассказал, что к нему обратились от литвинского князя. как его. Эрдивилла. Попросили построить автомат на основе древнего механизма. Как только прозвучало имя доктора Ди, мой отец сразу понял, что это шанс! Предложил Вокансону использовать для куклы с механизмом доктора Ди мой образ. Мастер работал три года, пока я, вос­ковая, не начала рисовать свой рисунок.

— Тогда ваш отец заплатил, чтобы мастер убрал из механизма важную детальку, и рисунок больше ни для кого не появлялся. Чтобы автомат при наладке мог начертать только что-то неопределенное, — продолжил Лёдник.

— А зачем делиться тайной? — усмехнулась Пандора. — Отец готов был и сам выкупить автомат — только Вокансон страшно упрямый и дерзкий. Ах, слово чести, репутация мастера, должен выполнить заказ клиента — даже под страхом смерти. Отец удовлетворился тем, что рисунок был у нас, а автомат испорчен. Где находится сокровище, догадаться было легко: дом, прозванный «Огонь и железо», построен над подвалами, где когда-то действовала тайная лаборатория доктора Ди и происходили сборища адептов-чернокнижников. Отец сразу выкупил это здание. Поверьте, обыскали его основательно. Но никаких хранилищ открыть не удалось. Отец подумывал разобрать все по камешку. Но начались очередные политические злоключения, мы съехали. Отец умер. И я возвратилась сюда только недавно. В тайное хранилище в этом доме, признаться, я больше не верила. Если бы оно существовало, давно бы отыскали. Кто же знал, что в далекой стране найдется доктор, который починит автомат, расшифрует рисунок. И появится лично, чтобы забрать сокровище.

Леди Кларенс бросила снисходительный взгляд на Лёдника и снова обра­тилась к Богинской.

— Я отдала дом квакерам, так как он пользовался такой дурной славой, что могли поджечь. А так — святые люди, молятся днем и ночью. Но и они начали нести чушь о каких-то привидениях, доктора Ди, Уриэля. И я решила хижину эту продать.

— А почему вы искали здесь клейноды? — поинтересовалась панна Богинская. — Его мость пан Героним Радзивилл мечтал об огненном мече. Да и наш доктор пришел к тому же выводу.

Пандора иронично хмыкнула.

— Для нас здесь не было загадки. Огонь — символ нашего родового герба. Железо — присутствует в гербе наших политических противников в виде меча. Победа огня над железом — это подтверждение нашей королевской крови!

— Подождите, — вылез Прантиш, — но огненный меч существовал! Разрезанные латы!

— А об этом давайте спросим доктора.

Лёдник мрачно поклонился слушателям и заговорил назидательно, как на лекции.

— Судя по тому, что мне сейчас удалось прочитать в тетради доктора Ди, здесь присутствуют даже два огненных меча. Или устройства, кои уси­ливают и преломляют световой луч. Конструкция, что так понравилась пану Агалинскому, — макет прибора, в коем солнечный луч проходит через систе­му зеркал и может поджечь, ну, скажем, парус корабля. В хорошую солнечную погоду. Такое совершал в свое время Архимед. Правда, делать это устройство нужно футов семь высотой, но железо резать все равно не сможет. Зато в тетради нарисована схема, как, используя зеркальные щиты и скрытые каме­ры, подменять в этом приборе на глазах пораженной публики целые предметы заранее рассеченными. Психологическое воздействие может быть большим.

— А череп? — вскрикнула разочарованная панна Богинская.

— А череп, ваша мость, прообраз этой машины. Думаю, доктору Ди привезли его из Америки, — пан Гервасий сразу бросил на череп заинтере­сованный взгляд. — Доктор Ди изучил его свойства и захотел использовать принцип. Положите его на ровную поверхность.

Полонейка поставила понравившийся раритет на ящик для фокусов. Лёдник заглянул в тетрадь, сверился с нарисованной там схемой и аккуратно поднес зажженный фонарь к хрустальному «лицу»: тут же глаза черепа ярко запылали отраженным огнем, будто из них вырвались два луча. Это было так впечатляюще, что Полонейка ойкнула, и даже леди Кларенс вздрогнула, а потом лениво похлопала в ладоши.

— Браво, профессор, доктор Ди имеет стоящего наследника. Можете забрать все эти вещи. Вы же купили их вместе с домом, — усмехнулась. — Мне, кстати, очень интересно было наблюдать, как вы добываете деньги. Этот ваш, доктор, друг из королевского научного общества, к которому мои люди наведались после вашего визита, рассказал о шарлатане и богохульнике профессоре Лёднике много интересного. А назавтра я сама понаблюдала за вашим выступлением в моем любимом бойцовском клубе. Мне сообщили, что вы послали заявку на участие. Я была в ложе в белой шляпе, под маской. Получила удовольствие, — леди Кларенс приласкала собачку, которую ей снова поднесли по ее знаку, и осмотрела Лёдника как-то очень недобро, оце­нивая, как будто собиралась приобрести новый предмет мебели и прикиды­вала, в какую комнату его лучше поставить. — Кстати, я попросила своего друга, лорда Кавендиша, проводить вас домой. Иначе, боюсь, мы бы сегодня не разговаривали.

Полонейка вежливо поклонилась.

— Благодарим, ваша мость. Но его мость лорд Кавендиш как-то странно себя вел: как только я спросила о вашей персоне, высадил нас из кареты.

Пандора откинула голову и засмеялась, как с горы съезжая.

— Вот как, а я думаю, почему он сегодня на записку не ответил, — равно­душно сбросила с колен собачку, которая обиженно взвизгнула. — Лорд милый, но немного надоедливый. Почему-то придумал, что он в меня влю­блен. Мой муж из-за этого над ним все время подшучивает. Мне пришлось заверить сэра Джона Кавендиша, что я с четырьмя чужестранцами лично не знакома. Что дело чисто политическое. А тут оказывается, что вы мной интересуетесь. Что ж, придется наказать его светлость за такую смешную ревность.

Прантиш смотрел, как двигаются совершенно очерченные губы Пандоры, как она манерно растягивает слова, и ему казалось, что это говорит автомат. Теперь было видно сходство — не внешнее, а внутреннее — леди Кларенс и лорда Кавендиша. Эдакое безразличие к жизни и смерти — и чужим, и собственным, уверенность, что каждый каприз должен удовлетворяться. Жестокость ребенка, который надувает через соломинку лягушку, обрывает крылышки мухам и просто не в состоянии осмыслить чужую боль.

— Ну, время идти. Ах, эта политическая борьба отнимает так много сил! — леди с помощью прислуги встала, снова поправила шляпу. — Я хочу придумать особенный галстук для вигов. Элегантный и немного с вызовом.

Панна Богинская отвесила прощальный поклон с некоторым смущени­ем — если бы была в платье, присела бы в реверансе. Пан Гервасий чувство­вал себя обиженным, так как леди определила каждому свое место. На этот раз княжна Богинская где-то близко по статусу, пан Агалинский — на сту­пеньку ниже и не стоящий разговоров, Прантиш Вырвич — еще ниже. Паж, держащий шлейф. А Лёдник — так, шут, игрушка.

А с игрушками можно не церемониться. Леди наставила на профессора палец, обтянутый тонкой кожей перчатки.

— Поедете со мной.

Профессор даже растерялся от неожиданности.

— Зачем, ваша милость?

— Лечить меня будете, — леди насмешливо смотрела на доктора, и было в ее взгляде что-то хищное. — Как вы фехтуете, я видела. Теперь покажете свой медицинский талант.

Лёдник едва сдерживал гнев.

— Я не взял инструменты и лекарства.

— В моем дворце найдутся, — казалось, Пандора подтягивает к себе на поводке несчастного щенка, который упирается всеми четырьмя лапами, виз­жит, но все равно очутится в зоне хозяйской плети. — Ничего плохого с вами не случится.

— В таком случае, ваша светлость, я возьму с собою ассистента, — Лёдник показал на Прантиша, но леди холодно возразила:

— Нет. Вы справитесь один. Надеюсь.

В последнем слове прозвучала угроза. Губы Лёдника сжались, глаза загорелись, он готов был взорваться, но Полонейка кольнула его своим кинжальчиком в бок и, приподнявшись на цыпочки, прошептала на ухо, сохраняя милое выражение личика:

— Если вы, доктор, сейчас продолжите ломаться, как невинная девочка, ей-богу, сама вас зарежу, не ожидая, пока это сделают слуги леди. Ну, улыбай­тесь и вперед!

В глазах Пандоры, начинающей осознавать неслыханное — непокорность ее воле, появилось что-то такое. «Убьют всех», — мелькнуло в голове у Прантиша.

Профессор улыбаться и не подумал, от гнева он смог только повернуть голову в сторону Богинской и прошипеть ругательство на латыни, что-то вроде «чем выше, тем развратней», но за леди пошел.

— С-сука. — только и сказал пан Агалинский, когда они остались одни в пустом, как совесть опытного вора, доме. — Содрала с нас тысячу фунтов для смеха! Открыли для нее сокровищницу, нашли клейноды, которые два столетия искала семья. А она посмеялась, да еще и доктора увезла!

Вырвич не находил места от тревоги. Саломея была права. Кукла дей­ствительно недобрая и опасная! Стоило ей ожить — и она схватила того, кто осмелился ее оживить. Просто страшная сказка!

— Может, пробраться за ним во дворец? Что эта сумасшедшая с Бутримом сотворит?

Пан Гервасий издевательски захохотал, а панна Богинская фыркнула над наивностью студиозуса:

— Думаю, твой бывший слуга получит интересную компенсацию за тыся­чу фунтов. Заявила же леди, что собирается отомстить лорду Кавендишу за напрасную ревность.

Прантиш покраснел от грязного намека. Все-таки придворная жизнь заметно развращает людей! Невероятно красивая и родовитая, персона королевской крови, замужняя, — что ей сын полоцкого кожевника? Да еще немолодой, худой, клювоносый и такой язвительный, что о язык порезаться можно.

А пан Гервасий еще и добавил:

— Не удивлюсь, если леди после каждого посещения бойцовского клуба забирает к себе чемпионов. Даже самых страхолюдных. А Лёдник твой перед родовитостью дам никогда не останавливался.

В его голосе слышались нотки зависти и злости.

В гостинице они просто сидели и молчали, как охотники, что обещали добыть зубра, а едва подстрелили по куропатке. Пан Гервасий положил ноги на ящик с зеркалами, панна Полонея использовала хрустальный череп как подставку для парика. Оба, похоже, придумывали, как лучше рассказать тем, кто их послал, о ценности добытых не слишком впечатляющих реликвий. Естественно, надежда была на Лёдника.

А тот все не возвращался. Прантиш всю стену исколол саблей, отраба­тывая хитрый удар, подсмотренный у профессора во время его последнего поединка.

Появился доктор только утром. Пришел усталый, злой, как шершень, сжав зубы, сбросил камзол, парик, сапоги и упал ничком на кровать. Вырвич заметил, что на рукаве его рубахи, над повязкой, которая стягивала рану, про­ступила кровь.

— Что там произошло, Бутрим? — не выдержал студиозус. — Ты в порядке?

— Ты читал библейскую историю о святом Иосифе, которого напрас­но соблазняла жена вельможи Потифара? — глухо, в подушку проговорил Лёдник, у него, похоже, не было сил повернуть голову.

— Д-да, что-то помню. — пробормотал Прантиш в плохих предчув­ствиях.

— Так вот, оказалось, я не святой Иосиф, — сказал Лёдник.

Пан Гервасий и панна Полонея хохотали долго, но приглушенно.

Злить профессора не хотелось никому.

Но это произошло вечером. Когда заспанного Лёдника растолкали, чтобы вручить переданный расфуфыренным лакеем подарок: тысяча фунтов, только не в банкнотах, а в пересчете на полновесные немецкие цехины, и чудесная турецкая сабля-килидж в ножнах, усыпанных самоцветами.

Доктор отшвырнул мешок с цехинами, будто тот тоже покушался на его добродетель, саблю даже из ножен не вынул. Только сжимал челюсти, прятал глаза и пытался не обращать внимания на язвительные рассуждения пана Гервасия о том, что леди Кларенс осталась, судя по всему, довольна лечением, но почему только отпустила лекаря к утру? Надоел? Второй врач ждал за две­рью? Неужто не предлагала остаться подольше?

— Предлагала! — наконец взревел разозленный вконец Лёдник. — Все предлагала! Место персонального врача, политического сподвижника с перспективой войти в партию вигов. Мало мне политической возни Речи Посполитой! И если панове еще раз напомнят мне о леди, я, пожалуй, поду­маю над ее предложением более благосклонно.

После этого шуточки вслух прекратились, пан Гервасий тоже надулся, так как пана неслабо-таки затронуло, что на него, родовитого, сильного, красивого и молодого, Пандора не позарилась, и пошел пить портер — крепкое аглицкое пиво, которое вошло в моду в Беларуси. В Менске за бочку портера просили восемнадцать золотых, а здесь она стоила всего один. Да и пиво было вкус­нее — свежее, не измученное морским плаванием. А еще говорили, что аглицкие пивовары в пиво, что продают за границу, для вкуса и чтобы не портилось, добавляют всяческой дряни, едва не мышьяку. Так что пан Агалинский, если бы мог, целое судно загрузил бы отменным пивом. Богинская укрылась в своей комнате, ибо хорошо помнила об угрозе похищения. Цехины Прантиш предусмотрительно прибрал к себе. А Лёдник, как видно, уже начинал мучить себя за очередной грех.

— Я ничего не скажу пани Саломее, — тихо промолвил Прантиш.

— Я сам ей скажу, — горделиво объявил доктор. Студиозус вытаращил глаза:

— Зачем? Сдурел, Бутрим? Разве жене стоит о таком рассказывать?

— А если не стоит, что же это за супружество? — уныло промолвил Лёдник, видно, уже воображая неприятный разговор. Вырвич даже засто­нал — вот несчастное создание этот лекарь, вечно сам себе жизнь портит.

— Ты вот что, перестань себя грызть. В чем твоя вина? Разве ты сам к леди в гости набивался? Ну, держался бы за свою честь, как собака за хозяй­ский веник. И нас бы там, в винокурне, всех положили. И лежали бы наши косточки в подземельях, вот пани Саломее радость была бы! Нам еще вер­нуться надо — и выжить.

— Грех есть грех, — проворчал Лёдник, но, видимо, то, что Прантиш не презирает, его немного успокоило.

А Вырвич еще раз улыбнулся странностям бывшего слуги. Стать амаратом лица королевской крови — это во всем свете считалось не позором, а высо­чайшей честью, даже государственной службой. За это боролись, гордились, и уж конечно, не стыдились принимать подарки. Станислав Понятовский повсюду демонстрировал золотые табакерки с вензелями российской импе­ратрицы. Рассказывали, что когда еще жив был муж Екатерины, который жену свою законную очень не любил и рад был уклониться от супружеского долга, то они, случалось, ужинали вчетвером — Петр со своей любовницей, Екатерина — с телком-Понятовским, а потом расходились эдакими счастливы­ми парочками по комнатам. А бывший мещанин переживает! Святой Иосиф нашелся. Эх, да если бы его, Прантиша, Пандора в гости позвала! Всю жизнь можно такое приключение вспоминать и собой гордиться. Вот посмотреть бы и на пана Агалинского, который от зависти воздух кусает. Панна Богинская, чей женатый брат с помощью датского посла Зигфрида фон Остена в любов­ники к царице набивается, тоже на доктора теперь с большим уважением смо­трит, будто бы тот в шляхетстве укрепился. А Лёднику, видите, стыдно! Одно слово — кому счастье само в руки идет, тот его не ценит.

Глава пятнадцатая

Без золотого руна

Что не лечат травы, вылечивает железо, что не лечит железо, исцеляет огонь, что не исцеляет огонь, то следует признать неизлечимым.

Гиппократ был прав.

Ни травы, ни железо, ни огонь не помогли бы профессору Виленской акаде­мии победить неизлечимую меланхолию. Вышел утром из комнаты гостиницы «Дуб и Ворон» мрачнее зимнего лондонского неба. И — о чудо, — на пару с Прантишем заказал кофе. Что же, нужно было взбодриться — завтра решили отъезжать. А сегодняшний день панна Богинская и пан Агалинский потребо­вали посвятить одна — магазинам, второй — кабакам, а Прантиш, которого панна мило попросила охранять ее во время похода за покупками, был в предчувствии галантной прогулки — кому что, а мельнику ветер. Панна хоть и декларировала свою нелюбовь к корсетам, каблукам и фижмам, все-таки заскучала по своему светскому образу и успела уже накупить кое-чего, а сей­час, когда компания разжилась дукатами Пандоры, как было не приобрести что-нибудь из модных тряпок.

Рыжий отельщик жестом позвал Лёдника к себе, пошептался. Вырвич не очень встревожился — после того как Лёдник за три дня вылечил судороги у жены ангельца, тот относился к ученому постояльцу с искренней симпати­ей. Не исключено, что и во время турнира в бойцовском клубе ловкий отельщик через того же слугу, которого Лёдник посылал в клуб, чтобы записаться на участие, сделал пару ставочек на своего жильца.

Ангелец пошептался с доктором и исчез. Лёдник возвратился с физионо­мией будто бы спокойной. Но Прантиш научился угадывать, что на дне этого профессорского спокойствия скрывается. И увидел, что на этот раз случи­лось нечто нешуточное.

Доктор влетел в номер, как черный вихрь, студиозус едва за ним успел. Пан Агалинский даже зевать прекратил.

— Зовите панну Богинскую! Срочно отъезжаем!

— А что такое, доктор? — заспанно поинтересовался Американец, трогая свежий «фонарь» под глазом, который остался на память от лорда Кавендиша. Лёдник провел рукой по лицу.

— Леди Кларенс убили. Хозяин предупредил, нас ищут. Главным образом, конечно, меня.

Беда за бедою ходит с колядою. Прантиш ошеломленно пытался понять, не шутит ли учитель. А тот нервно бросал вещи в дорожный сундук, а потом — вот неожиданность! — осторожно взял в руки подарок Пандоры, турецкую саблю, к которой до сих пор так и не прикоснулся, достал из ножен, тоскливо посмотрел, вложил в ножны — и решительно прицепил к поясу.

Вот тут Прантиш и поверил, что леди Кларенс действительно нет!

— Держу пари на свой любимый парижский роброн серебряной парчи, что из дворца леди Кларенс исчезли и заветные клейноды! — лениво про­тянула панна Богинская, передоверившая упаковывать свой багаж отельной прислуге. — Ее мость леди слишком легкомысленно относилась к полити­ческим интригам. Если ввязываешься в борьбу за трон — нужно, чтобы из каждого кубка три раза до тебя отпивали слуги, — наставительно говорила панна. — Те, кто хотел вывести леди из игры, все сделали мудро. Клейноды никто, кроме нее, не читал, они исчезли, владелица умерла, а вместо того чтобы сразу начать интригу, коротала время в компании одного чужестран­ного врача, на которого очень удобно повесить убийство. — Богинская шаловливо посмотрела на смятенного Лёдника, складывающего бутылочки с лекарствами в чемоданчик. — Ну, надеюсь, по крайней мере, перед смер­тью леди провела время в усладах. Не так ли, пан Лёдник? Вам же лучше знать!

От такого цинизма даже Прантишу сделалось неприятно. Доктор раздра­женно выпрямился и пронзил взглядом нахальную паненку:

— Я не обсуждаю ни свою, ни чужую частную жизнь. И вам не советую.

— Да не влюбился ли ваша мость в ту холодную, как кусок льда, и чув­ственную не более полена англичанку? — Полонейка преувеличенно наивно хлопнула ресницами. Доктор прищурил глаза.

— Боюсь, что я, по происхождению простой мещанин, не могу доду­маться до вашего понимания слова «люблю». Как-то оно в ваших маг­натских кругах странно трактуется. Но заверяю вашу мость, что у меня нет никаких оснований для сравнения ее мости леди Кларенс со льдом и поленом.

Богинская немного покраснела и многозначительно покивала головой, а пан Агалинский добавил своего яда, со злобой бросив:

— Что-то все твои любовницы, доктор, недолго живут.

Лёдник промолчал, стиснув зубы, однако так швырнул последний пузы­рек в чемодан, что тот разбился, и комнату заполнил резкий запах болота.

Прощай, Вавилондон, придется ли еще встретиться.

Они гнали лошадей сквозь холодный ветер и мрак, несмотря на усталость и разочарование, и Вырвичу казалось, что с того времени, когда в кабинет профессора Виленской академии пана Лёдника ввалились пьяные шляхтичи с завещанием великого гетмана, прошли не месяцы, а годы. Как будто они добывали Святой Грааль в заколдованной стране феи Морганы.

Огонь в камине Дуврского отеля возводил и сразу же рушил готические храмы, за окнами свистел ветер, в кубках остывал грог, который не полени­лась собственноручно приготовить одна благородная княжна, и казалось, что кроме этого сумрачного, но уютного помещения, где любя, ненавидя и терпя друг друга, молчала четверка, нет ничего.

Панна Полонея все время незаметно расправляла кружева на своем пла­тье — будто хотела убедиться, что наконец приняла обычный облик дамы. В ее парике парили голубые птички. Прантиш не сводил глаз — за время их странствия панна немного похудела, но носик был вздернут так же задорно, нижняя губка мило выдавалась вперед. Полжизни отдал бы за то, чтобы поце­ловать эти уста — без угрозы, что тебя пырнут кинжальчиком, напоят ядови­тым вином или посмеются над доверчивым студиозусом. Вот пан Гервасий Агалинский, «жених» самозваный, не переживает — подкручивает усы да напевает себе под нос об увядшей розе и разбитом сердце рыцаря. Лёдник молчит, уткнувшись в какую-то чрезвычайно редкую и скучную книгу, приоб­ретенную в Лондоне, но иногда забывает перелистывать страницы — смотрит отсутствующим взглядом, думает о чем-то своем, тоскливом. Ничего, вот-вот придет из Гданьска судно, там доктору с его морской болезнью будет не до философских рассуждений.

Только бы буря улеглась.

— Что вы будете делать после возвращения, пан Вырвич? — лениво спро­сила Полонейка, любуясь отшлифованными коготками. — Может, на военную службу пойдете?

— Сначала получу диплом доктора вольных наук, — упрямо ответил Прантиш. — А там видно будет.

— Что ж, у моего будущего мужа, князя Паца, найдется место для еще одного поэта, — несносно спесивым тоном промолвила панна Богинская. — А если вы пойдете дальше по медицинской части, могу предложить вам место нашего придворного лекаря.

Вырвич почувствовал, как кровь прилила к лицу.

— Не думаю, что пойду на службу к вашему мужу.

Пан Агалинский прекратил напевать и оскалился, почуяв начало ссоры.

— А я бы к вам, пан Вырвич, лечиться не пошел. Доктор должен быть, вон как этот ваш бывший слуга, серьезный, мрачный, страшный. Хорошие лекарства — горькие и мерзкие на вкус.

Панна Богинская манерно захохотала.

— Да, пан Прантиш слишком куртуазный для науки.

— А вы уверены, наияснейшая панна, что его мость князь Пац на вас женится? — холодно спросил Вырвич, у которого от гнева даже уши заложи­ло. — Особенно после вашего авантюрного путешествия. Из коего вы при­везете вместо чудо-оружия хрустальный череп. И будут паны-магнаты один в другого пускать солнечные зайчики.

Полонея злобно прикусила губу.

— У моего пана брата и обычного оружия хватит, чтобы заткнуть рты нахалам!

Прантиш не собирался отступать — откуда-то взялась смелость высказать все, что горьким осадком лежало на дне души:

— Коварно лишили свободы пани Саломею Лёдник и думаете, что вам все даже на том свете будет прощено? Вы, панна, очень напоминаете мне еще одну очаровательную панну — Ядвигу Струтинскую.

— Не ту ли, из-за которой на браславском соймике порезались-подрались? — заинтересовался Американец. Прантиш криво усмехнулся.

— Ее. Староста Опсовский Ян Техановецкий добился руки очарова­тельной панны Ядвиги, а ее отец не дал за ней обещанных ста тысяч золотых. Пан Техановецкий потребовал развода из-за неприличного поведения жены. А когда во время соймика шел на площадь с братом, тесть увидел его и приказал стрелять из окон. Пана Техановецкого ранили, а брата его так и вовсе убили. И какая же резня началась! Дом Струтинского взяли приступом. Живых и мертвых загрузили на возы да повезли в Вильню. Мертвых — предъявлять, живых — судить. Но за Струтинского были Чарторыйские, поэтому Техановецкие дело проиграли. А в той резне моего дядьку убили, который деньги на мое образование давал, да и потом обещал поддерживать. И какая, скажите, разница, был он на стороне Техановецких или Струтинских? А пани и сейчас на балах красуется.

Прантиш отхлебнул душистого напитка и поставил кружку из синего стекла на стол с ножками в виде грифонов. Голова приятно кружилась.

— Погибнуть в бою за своего сюзерена — это долг шляхтича! — нази­дательно сказал пан Агалинский. — И нечего укорять прекрасных дам за то, что они пользуются чем Господь их наделил для нашей радости и погибели. Пил и буду пить из туфелек прекрасных дам, наших галантных убийц! Вот однажды в Несвиже на Масленицу мы выпили из сапога пана Кароля за его фортуну — и пусть его мость пан Кароль всю шкуру с меня заслуженно спу­стит за непочтительность, но из туфельки. из маленькой, расшитой золотом туфельки пить намного приятней!

Пан Агалинский тоже отпил грога и усмехнулся своим бахусовым вос­поминаниям.

— Когда-то я читал труды Андрея Белоблоцкого, ученого шляхтича и поэта, которого позвал в Москву Симеон Полоцкий — образовывать тамош­ний люд, не знакомый ни со стихосложением, ни с современным любомудри­ем, — вмешался ментор-Лёдник. — Естественно, меня тогда в первую очередь интересовал трактат «Великая и удивительнейшая наука Богом просвещен­ного учителя Раймонда Луллия». Луллий — вот кто легко варил золото, как хозяйка тыквенную кашу. Но прочитал я и «Пентатеугум, или пять книг кратких о четырех вещах последних, о суете и жизни человека». Там слышит­ся наш белорусский язык, а в основе — произведения немецких поэтов.

Горе гладким лицам женским, душам, сердцам, надеждам,

Что гордятся, как хвост павлина, соблазнением мужей.

Голубые глаза панны Богинской блестели, как два сапфира, очищенные алхимиком до небесной прозрачной синевы.

— Укоряете дам за то, что из-за них проливается кровь? Горюете о заклю­ченной пани Саломее? А рассказывали вам о судьбе несчастной графини Бельведерской? Она наскучила своему мужу, того подбила любовница — и граф обвинил несчастную женщину в измене, и она уже лет семь сидит под замком. Ей не позволяют видеть детей, окружили самыми грубыми слугами. Все знают, что графиня ни в чем не виновата, все видят, как ее муж живет с другими, но никто помочь и не может, и не пробует. А несчастная Гальшка Острожская! — на щеках Полонейки горели пятна. — Она осталась богатой наследницей, за нее ссорились женихи. Обвенчалась по любви с Дмитрием Сангушкой — их догнали, Сангушку на ее глазах убили. А потом несчаст­ную девушку просто похищали друг у друга, пока назначенный королем жених, старый и корыстный, не взял приступом монастырь, где она скры­валась с матерью, насильно на ней женился. А когда бедняга не захотела проявить к нежеланному мужу любви — просто запер ее на восемнадцать лет в покоях своего замка и даже слугам разговаривать с ней запретил. И дядька панны, великий гетман Константин Острожский не помог. А что его мость князь Героним Радзивилл со своими женами творил! Терезу Сапегу отец еле вызволил, Магдалена Чапская сама к матери сбежала, Анжелику Менчинскую брат, рискуя жизнью, выкрал. У бесправных созданий свои средства про­тивления, панове. Я в совершенстве умею притворяться, льстить, интриго­вать, — Богинская невесело усмехнулась. — Я буду очень хорошей женой. Думаете, я не знаю, что меня ждет на родине? Я такой же «приз», как несчаст­ная Гальшка. Того, кто ухватит меня «не по рангу», ждет самая жалкая доля.

Прантиш и Американец помрачнели, как осенний день.

— А мой жених. — панна Богинская тоскливо смотрела, как восста­ют и рушатся в камине огненные башни. — Могу надеяться только, что он не будет слишком жестоким. И не очень хитрым. И возвращаться сейчас. После всего пережитого. — Богинская даже простонала сквозь зубы. — А путешествие — кто знает, что я была в этом путешествии? По оглашенной версии — я в Гутовском монастыре бернардинок, кстати, там же, где пани Саломея Лёдник. Там и правда сидит сейчас панна Полонея Богинская, грехи отмаливает. Только темноглазая и тихая, как молоко в кружке.

Доктор при упоминании о жене закрыл, как от боли, глаза.

— Неужто ваша мость послала вместо себя в монастырь ту вашу каме­ристку, как ее, Ганульку? — притворно безразлично промолвил Прантиш, у которого даже сердце зашлось от безнадежности, гнева и тоски.

— Именно! — жестоко усмехнулась Полонейка. — Она же так влюбилась в вашу мость, пан Вырвич. Бредила вами. Едва до нервной горячки себя не дове­ла. Отказалась, между прочим, от выгодного замужества — одному юристу она было понравилась. А я бы дала стоящее ее положению приданое. Но для вас, пан Вырвич, моя бедная Ганулька — слишком мелкая пташка, не так ли?

Прантиш отвел взгляд. Он и вправду не обращал особенного внимания на прислугу княжны Богинской — хоть и шляхтянка, и милая, и тихая. Но — кто же нагибается, чтобы сорвать маргаритку у куста роз, когда вот она перед глазами — прекрасная, яркая роза, пусть и колючая.

— Вот вас, пан Лёдник, ученый муж, отважный воин, могучий маг, что больше всего возмущает: что леди Кларенс такая нераскаявшаяся грешница была или что выбирала, решала, вынуждала — она, женщина, смелая, краси­вая и независимая? Взяла вас, как игрушку, попользовалась — и отправила с соответствующей платой, — Полонейка вызывающе ждала ответа.

Лёдник помолчал, глядя на огонь, тени скакали по его худому лицу. За стенами билось ледяное сердце бури, иней покрыл стекла, а это значит, кто-то из несчастных бездомных в эту ночь замерзнет и отправится в свой большой вечный дом. Врать, прикидываться, казаться лучшим, чем на самом деле, — зачем, если буря сметет все, а Бог видит всех?

— Не буду притворяться святым, — с трудом проговорил Лёдник. — И открещиваться не стану. Мне было с ней хорошо. С одной из самых красивых, страстных, необычных, опасных женщин, которые случались на моем пути. Наверное, я бы мог что-то придумать, чтобы не согрешить, не изменить своей любимой, оставшейся дома, в плену. Но не стал. И. мне было хорошо. Фан-тас-ти-чес-ки. А осознание, что адские страдания, рас­каяние — все будет, но — потом, еще прибавляло остроты ощущениям. Вы что думаете, я целовал ее и думал о Саломее? — бывший алхимик сухо рассмеялся. — Я же. нормальный мужчина, со всем набором животных инстинктов. И вот когда я узнал, что леди мертва. Знаете, я почувствовал облегчение. Будто грех мой стал мизерней, искупился. — Лёдник на минуту закрыл лицо ладонями со следами «томашовских объятий». — Человек легко договаривается сам с собою, чтобы иметь силы жить дальше. И я буду жить. Сколько получится.

— Твоя правда, Бутрим, — тихо сказал Прантиш, чувствовавший уди­вительную легкость во всем теле и неудержимое желание высказать, что на душе. — Вот ты покровительствуешь мне, как сыну. Но ведь если бы не каприз пана Богинского, выплатившего твой долг, ты мог и дальше оставать­ся моим бесправным слугой. Ты думаешь, я так легко отпустил бы тебя на волю? — Вырвич тоже горько рассмеялся. — Мне очень нравилось, что у меня, неимущего шляхтича, у которого даже коня не было, появился собствен­ный доктор, раб, с коим я могу сделать все что хочу, — хоть он более образо­ван и сильнее меня. И я убеждал себя, что я же о тебе забочусь, я — хороший хозяин. Возможно, однажды я ударил бы тебя. И ты бы стерпел. А потом. Я не знаю, как сложилась бы твоя и моя судьба, Бутрим.

Ветер скулил за окном, как потенциальный висельник, но настолько неу­дачливый, что даже не может найти удобное место, чтобы повеситься. Щеки горели, будто от лихорадки. А сознание меркло.

— Вот жуки эти ангельцы, — проворчал пан Агалинский. — Они раз­бавляют чай молоком, молоко — водой, ром — чаем, а страсть — длинными разговорами. Нет ничего хуже разговоров, в которых тонут настоящие цели и мужество поступков.

Вырвич заметил, что лицо пана Гервасия болезненно горит, а в глазах нездоровый стеклянный блеск.

— Договориться с собой легко. В несвижском кадетском корпусе был обычай — если во время конной муштры кто-то из нас по неловкости своей сваливался с коня, должен был отдать машталеру все, что на нем есть. Одежду, обувь, то, что в карманах. Только фамильное оружие можно было оставить. У нас, альбанцев, не принято было хитрить, и все делали, как договорено.

И вот однажды с коня упал я. Не потому, что плохой всадник, — а потому, что ночью загуляли, да так, что голова была как бочка с квашеной капустой. И вот потащился я на конюшню. Раздеваюсь. Ничего не жаль — а вот пояса жаль. Потому, что пояс этот счастливый — не тканый, а кожаный, широкий, с серебряной бляхой. Я с ним всегда и в карты выиграю, и девицу уговорю. И так мне стало жаль этого пояса — будто бы удачу свою отдать, — что я его припрятал. Сунул за балку, когда никто не видел. А вечером за ним вернулся. Что мне был тот ремень? Я мог купить воз таких ремней! Но соблазнился. Испугался, что удача отвернется. И правда, отвернулась. Меня подстерегли товарищи, когда за балками шарил. Стыда набрался. Ну как было объя­снить, что не ради серебряной бляхи правила нарушил? Тогда каждый из кадетов-альбанцев в наказание должен был стегануть меня тем ремнем по спине. Назавтра встать не мог. Но усвоил: шляхтич не должен дорожить ничем, кроме чести! Как только привязался к какой-нибудь вещи, нужно от нее избавляться!

— Мой пан-отец Данила Вырвич, покойный, царство ему небесное, чтобы доказать, что не дорожит никакой вещью, лишил наш род достояния, а мою пани-мать свел в могилу, — хмуро сказал Прантиш. — Побился об заклад с соседом, кто больше своего имущества истребит да раздаст. Ну и выиграл.

— Уважаю вашего пана-отца! — поднял кубок Американец.

— И вот скажите, паны-братья, — продолжал Прантиш, — почему, в таком случае, если презрение к богатству и достоянию считается шляхетским достоинством, вы посмеиваетесь над благородными людьми, что этого иму­щества имеют меньше вас? Сколько я натерпелся за жизнь — «А почему пан Вырвич не принимает участия в придворной карусели? А где его арабский конь? А где его слуги? А этот диамант — единственное, что у пана есть?» А я, между прочим, веду свой род от князя Палемона!

Панна Богинская опустила глаза.

Пан Агалинский стукнул о дубовый стол пустой кружкой.

— Когда пан Кароль станет королем, он всю родовитую шляхту щедро наделит! Мы паны-братья в шляхетском равенстве — кроме всяческих, с патентами. Шляхтич — это воин! Человек с прямой душою и отважный. Пан Кароль, когда приезжает в гости к шляхте, сходит с коня — пусть бы и в грязь, и с каждым из делегации, которая его встречает, обнимается, даже если их больше сотни. Не то что Телок, брезгующий общий кубок за столом при­нять. Не люблю людей, которые хитрят и что-то утаивают.

— Что-то мы этим вечером ничего не утаиваем, — задумчиво проговорил Прантиш, чувствовавший подозрительную легкость, даже стены покачива­лись. Лёдник покрутил в руках кружку с выпитым наполовину напитком, под­нес его к носу, с наслаждением втянул душистый запах.

— Я сегодня перебирал чемодан и заметил, что в некоторых бутылочках убавилось веществ. А запах того, что налито в эти кружки, свидетельствует, что прибавлена еще щепотка порошка одного интересного грибочка, который, особенно в сочетании с определенными веществами, влияет на психику. Раскрепощает, ослабляет контроль над речью. Помнишь, Прантиш, как тебя однажды угощали в Вильне? Это подобное, только послабее.

Вырвич резко поставил кружку на стол и поднялся на ноги, что были будто ватные, гневно уставился на Полонейку.

— Снова ваша мость отравы намешала? А ты. — обратился к Бутриму, — ты знал? Предупредить не мог?

— По моим наблюдениям, концентрация вещества небольшая, ингреди­енты подобраны мастерски. У италийского знатока учились, ваша мость? — вежливо спросил Лёдник у Полонейки. Та непринужденно кивнула. — Порошок в медальоне носите?

— В большем объеме это мгновенный безболезненный яд, сами знаете, профессор, — пожала плечами Полонейка. — Вещь необходимая для девушки в путешествии.

— Я люблю яд, — проговорил Агалинский. — И водку, и табак, и опасных женщин. На брачном ложе буду держать под подушкой кинжал.

— Вы можете убить женщину? — заинтересованно спросила Богинская. Она, видимо, все-таки удивилась, что ее коварный поступок так, как Вырвича, не возмутил Американца. А тот широко улыбнулся и вдруг подскочил и одним рывком поднял над собой на вытянутых руках кресло с панной Богинской. Та едва головой о балку не стукнулась, хорошо, что потолок высокий.

— Я могу любить женщину! Так, что ей не захочется подсыпать мне поро­шок или наставлять рога!

Панна Богинская визжала, вцепившись в подлокотники, но Американец торжественно пронес ее по всей комнате и только тогда осторожно опустил вместе с креслом.

— И если пан Кароль будет милостив и подарит мне жизнь, хоть я добыл за морем только бесполезный ящик с зеркалами, я попробую выйти еще раз в круг против Голиафа — побороться за вас, очаровательная панна. Против князя Паца, князя Богинского, против всей Речи Посполитой и всего мира! — Взглянул на побледневшего Прантиша: — Ну, и против вашего давнего при­ятеля, студиозуса.

Полонейка серьезно сказала:

— Вы с паном Вырвичем видели меня в мужской одежде, грязной, на соломе, без помады и пудры, вы видели, как я могу управляться с кинжалом и ядом, ругаться и лгать.

— Золотко мое, это делает вашу мость в моих глазах еще более цен­ной, — галантно поклонился Американец. — Мне не нужна восковая кукла, даже если она умеет рисовать место клада. — Зевнул. — Но от твоей отравы, моя панна, так клонит в сон, что я, пожалуй, пойду в постель. Пока что холо­стяцкую, — подмигнул и ушел. А Прантиш понял, что иногда убить человека очень легко — во всяком случае, он прикончил бы пана Гервасия с таким наслаждением. Даже в спину бы не постыдился загнать кинжал.

— Ну что, панна получила удовольствие от своего поступка? — тихо спросил Лёдник. Полонейка не ответила, задумчиво глядя на огонь и вертя в пальцах серебряный медальон с остатками порошка.

Таким этот вечер в Ангельщине — с беленой, бредом и грустью — остал­ся в памяти литвинов.

А Рождество встретили на корабле. И католическое, и православное. Корабль был мощнее «Святой Бригитты» — двухпалубный фрегат «Золотой альбатрос». Всех разместили по отдельным каютам, а панну Богинскую — даже с прислугой женского пола, с мягкой кроватью и зеркалом в золоченой раме. Из чего следовало, что капитан был предупрежден, что на борт подни­мется родовитая дама. Родовитая и богатая настолько, что на нее не распро­страняются приметы и суеверия. В отличие от торговой «Святой Бригитты», благородные пассажиры здесь присутствовали часто.

Зимнее море было предсказуемо неспокойным, и Лёдник сидел в каюте, по горло обеспеченный изобретенными во время прошлого плавания лекарства­ми. Но старался не напиваться — принимал ромовую настойку в количестве, чтобы только не тошнило. И Прантиш, избавленный от профессорского над­зора, бросился в куртуазный омут. Панна Полонея, видимо, решила компенси­ровать время, проведенное в мужском платье, и теперь в своей каюте наладила миниатюрный светский салон, по очереди дразня обоих своих рыцарей, а во время обедов в кают-компании распространяла чары и на флотских офицеров. Кажется, и профессора Виленской академии была бы не против присоединить к своей свите, — но посмотрела, как, прижимая к себе полупустую бутылку, он качается в подвесной койке, несчастный, мрачный, обросший черной щети­ной, с досадой вздохнула и ушла. Пока под ногами не окажется суши — от великого мага и фехтовальщика мало толку.

Прантиш царапал стихи, Американец изучал хрустальный череп, ящик с зеркалами и вздыхал, будто прикидывал — не поменяться ли добычей с панной Богинской. А панна Богинская принуждала низенькую черноволосую испанку-камеристку делать изощренные прически и веселилась, как в послед­ний раз.

Беда случилась, когда выдался редкий погожий день и среди туч появилась огромная белая птица с черными крыльями. Вырвич и Американец стояли на верхней палубе, у офицерских кают, и наблюдали за полетом существа, кото­рое даже не взмахивало длинными крыльями, его нес ветер, как вода — рыбу, и в этом чувствовалась такая воля, такая сила, что невольно хотелось попро­бовать полететь так же.

— Говорят, старый король сейчас развлекается тем, что стреляет из писто­лета и пулями перебивает нитки и гасит свечи. Надо же — еле живой, жирный как воз, а рука твердая, — невинным голоском промолвила Полонейка, кото­рая, закутанная по последней лондонской моде в белую шубку, выглянула из своей каюты.

Не нужно быть астрологом, чтобы предсказать ближайшее будущее: Вырвич и Агалинский, чтобы доказать собственную меткость и твердость руки, забыв об эстетических впечатлениях, начали пулять в несчастную птицу. И подстрелили — как раз, когда белая красавица парила над кораблем. А толку — если неизвестно, чья пуля попала.

Птица била по палубе здоровым крылом — второе было окрашено кровью, страшно и хрипло кричала. Нос у нее был загнут, как у Балтромея Лёдника.

Не успел пан Агалинский торжественно добить трофей, как налетели матросы — с саблями, абордажными крючьями, пистолетами, и не дав панам охолонуть, запеленали их в невод, как две сельди. На крики выскочил штур­ман и, увидев раненую птицу, тоже разозлился, будто его мать обворовали, и пояснил глупым гостям: птица — альбатрос, встретить ее в этих широтах случается очень редко и считается счастьем, так как на севере попадается только один ее вид, с черными крыльями и бровями, который устраивает гнезда в Шотландии. А убить альбатроса — очень дурная примета и накличет несчастье на всех. Альбатрос показывает моряку дорогу домой, почти на всех кораблях рядом с ладанками и распятиями хранятся фигурки этих волшебных птиц. А поскольку фрегат называется «Золотой альбатрос», то преступление пассажиров выглядит совсем непростительным. Корабль затонет!

Полонейка давно спряталась, а двое рыцарей начали осознавать, что из-за своего лихого и бездумного подвига попали как кур во щи. Вырвич очень надеялся, что сейчас придут офицеры, образованные люди, появится капи­тан, разгонит матросню. Подумаешь, птица! Но когда капитан появился, положение улучшилось ненамного. Пан с грозными черными усами пояснил сквозь зубы, что единственное, чем он может спасти жизни своим пассажи­рам, — это посадить их под охрану в специальный тюремный отсек в трюме. Иначе во время первого же шторма — а они в такую пору будут неизбеж­но — убийц альбатроса, скорее всего, или совсем случайно смоет за борт, или на них упадет что-то тяжелое. И виноватых в этом не найдут. К счастью, птица еще живая, ее отнесут к корабельному врачу, и пусть паны молятся, чтобы их жертва выжила.

Прантиш и пан Гервасий сидели в темном и узком, как карман, чулане, где страшно воняло прогорклым жиром, и не могли осознать эдакий пинок Фортуны. Свет процеживался только сквозь зарешеченное окошко в двери, от фонаря, у которого сидела охрана.

— Действительно, баба на море — к беде, — тоскливо проговорил пан Гервасий. — В Ангельщину плыли — из-за нее бунт на судне начался, доктора принудили волнам молитвы читать. Назад идем — из-за нее в карцер попали, да еще и утопят нас, не дай бог. Нужна была нам та птица, как хряку серьги. Вот же веселая мне жена достанется! Надо будет с ней чаще на охоту ездить. По дичи настреляется — смотришь, муж и доживет до утра.

— Ваша мость является фиктивным женихом, не забывайте, — сквозь зубы проговорил Прантиш. — И хоть вы богаче меня, однако в глазах Богинских такой же бедняк. А сердечную склонность панна Полонея дарила точно не вам.

— Не вам ли, ваша мость? — угрожающе промолвил пан Гервасий. — Такой сопляк, как васпан, не может рассчитывать даже носовой платок панны подобрать с пола.

— Это я — сопляк? Я почти доктор и наследник Палемона! А ваша мость — дикарь и балда пустоголовая! — даже если бы не тьма, от гнева Прантиш все равно бы ничего не видел.

— Ваша мость оскорбляет шляхтича Агалинского?

Места для хорошей драки было маловато, но зато противник не мог скрыться. Колотили паны друг друга с наслаждением: пан Гервасий сильный, как лось, зато Прантиш прыткий, как ящерица.

Расползлись только когда предельно устали.

Удовольствие повторилось еще трижды.

А потом драться стало как-то неинтересно. Проходили дни, а ничего не менялось. В окошко узникам подавали воду, хлеб, солонину, даже панские сыр и вино. Но ключ в замке не поворачивался. Прантиш ежеминутно ждал, что вот распахнутся двери и покажется хорошенькое личико Полонейки — не бросит же она здесь своих кавалеров, которые попали в беду из-за жела­ния покрасоваться перед дамой. Ну а Лёдник появится обязательно — ведь даже в Томашовских подземельях нашел своего ученика. Придет, обязатель­но придет — всех врагов обезоружит, заколдует, убедит, птицу альбатроса вылечит. Отчитает глупых юнцов, и жизнь пойдет дальше, в приключени­ях и надеждах.

Но корабль качало все сильнее, сыр и вино из рациона узников исчезли, и не приходил никто, несмотря на крики и требования заключенных.

— Она решила от нас избавиться, — сказал однажды пан Агалинский. Говорил он сейчас немного шепеляво, так как после встречи с кулаком Вырвича один зуб у пана шатался. И Прантишу не понравилось, как он это сказал. Очень серьезно, спокойно, без сомнений. Как бы сообщал, что выпал снег или что сегодня пятница. — Позаботилась, чтобы доктор о нас ничего не знал. Ему сейчас плохо, лежит, ром сосет. А панна к нему, видимо, еще и приходит, байки рассказывает. Прибрала к рукам ящик доктора Ди, который мне достался. И доктора Лёдника приберет, чтобы фокусы при ее дворе показывал. Потому что капитану заплатили Богинские — видел, какая каюта для панны приготовлена? Не зря все время письма в Беларусь посылала.

— Бутрима никто к рукам не приберет! Это невозможно, ваша мость! — резко ответил Прантиш, а сердце сжалось от тревоги. Что-то, и правда, доктор долго не появляется. Не сотворила ли с ним чего коварная паненка?

А потом корабль неожиданно перестало качать. Слышались голоса, что-то стучало, грохотало. И двери наконец распахнулись. Капитан мрачно сооб­щил узникам:

— Можете себя поздравить, панове. Вы доплыли до славного города Гданьска живыми. Хоть альбатрос, подстреленный вами, издох и кое-кто из команды очень хотел отправить вас за ним в птичий рай. Поставьте по пудо­вой свече святому Христофору. За неудобства извините — сами виноваты. То, что мне все время нужно было отрывать от вахты двух надежных матросов, чтобы охранять вас, тоже мог бы включить в счет. Но Бог с вами, стрелки хре­новы. Все, счастливой дороги домой.

Прантиш и пан Гервасий, жмуря отвыкшие от яркого света глаза, выполз­ли на палубу. Последние бочки и тюки сгружались на причал, последние матросы покидали «Золотой альбатрос» в предвкушении встреч с родными и дорогими, или хотя бы с портовыми шлюхами и кружками пива, легкий снежок празднично украшал черепичные крыши, мостовую и каменные скульптуры.

А каюты были пусты. И Лёдникова, и Полонейки. Мешок с остатками цехинов от Пандоры был на месте. Но как можно было предвидеть, исчез и ящик с зеркалами, и зеленая тетрадь, и хрустальный череп — все, что доста­лось из хранилища доктора Ди.

— Вот же гадюка! — как-то удивленно-восхищенно проговорил пан Гервасий. Вырвич выбежал из каюты и схватил первого из команды, кто попался, за грудки:

— Где доктор Балтромей Лёдник? Высокий такой, чернявый? Где панна?

Худой, смуглый матрос исподлобья зыркнул на пассажира.

— Уехали. Оба. Сели в карету с гербами и.

— Давно?

— Да около часа назад.

Прантиш схватился за русые кудри, готовый от горя их выдрать. Лёдник не мог учинить такое! Что сотворила с ним эта курносая ведьмарка? Отравила? Нет, даже пьяный и больной, доктор не мог не распознать яда. Оглушила? Связала?

— Эй, а ты видел, как доктор сходит с корабля? — крикнул в спину матросу, уже закинувшему за спину котомку, из которой торчал тонкий рулон аглицкого шелка в синие цветочки, подарок для той, что дождалась своего любимого. Моряк недовольно оглянулся:

— А что там видеть? Ну, сошел пан в шляпе, при дорогой сабле, помог паненке в карету сесть. Злой, правда, был, как епископ под конец поста. Не хотел бы с таким в темном переулке встретиться.

И пошел, покачиваясь, будто корабль все еще боролся со штормом.

— Бутрим действительно любит свою жену так сильно, как я думаю? — задумчиво промолвил пан Гервасий.

— Понимаю, куда клонит ваша мость! — нервно сказал Прантиш. — Если Богинская пообещала Бутриму, что повезет его забирать Саломею, поехал на любых условиях. Слушай, они еще не так далеко! Полонея проговорилась, что Саломея в Гутовском монастыре бернардинок.

— Догоним! — закричал пан Гервасий и рванул с корабля, как крыса из горящего амбара. Прантиш еле успел подхватить мешок с цехинами.

Они гнали, не жалея коней, имея в поводу еще по одному. Останавливались только, чтобы спросить о карете с гербами Богинских. Первый след обозна­чился еще при выезде из города — экипаж видели у южных ворот. Потом о встрече с шикарной каретой — совсем недавно — подтвердил мужик, кото­рый вез на санях убитого волка. А потом начался лес, темные со снежной сединой фигуры елей стерегли дорогу, и казалось, что кто-то из-за их сум­рачных шеренг подаст знак и вековые деревья, взмахнув тяжелыми ветками, двинут наперерез маленьким шкодливым существам, которые самонадеянно считают себя властителями над деревьями, животными, птицами и морскими жителями, а сами не могут договориться и ужиться друг с другом.

А вот и свежие следы полозьев на дороге. Пан Гервасий пригнулся к спине коня и завыл по-волчьи — рыжий, как хозяин, конь захрапел и полетел еще быстрее. Вырвич тоже подстегнул своего. И вот вдали показалась карета.

— Бутрим! Лёдник! — заорал изо всех сил Вырвич. Всадники неумо­лимо догоняли экипаж, но слуга, ехавший на запятках, прицелился в них из пистолета, похоже, по чьей-то команде. Но сброшенный в снег человеком, показавшимся из кареты, выстрелить не успел.

— Бутрим! — обрадовался Прантиш.

— Стой! — орал пан Агалинский, который почти поравнялся с экипа­жем. А кучер вдруг свернул под откос — дорога шла вправо, — где внизу петляла река. Покрытые льдом зимние реки превращались в лучшие дороги, более предпочтительные, чем тропы. Сильных морозов в этом году не было, и навряд ли лед стал достаточно толстым. Зато на гладком льду карета на полозьях, запряженная четверкой, имела больше шансов оторваться от пого­ни. Балтромей то ли сам соскочил, то ли просто выпал в снег, покатился. Прантиш спешился рядом, помог подняться:

— Ты как, цел?

— Нормально, — доктор и правда имел более-менее привычный вид, только глаза немного запали. — А ты разве не сошел раньше нас с корабля? — посмотрел на лицо ученика, помрачнел. — Кажется, паненка развела нас, как щавликов. Так где ты был все это время?

— В тюремном отсеке сидел, под стражей, вместе с паном Гервасием.

— А мне говорила — ты в карты играешь. Если бы не болезнь моя про­клятая. — с досадой промолвил доктор.

— К Саломее ехал? — утвердительно спросил Прантиш.

— К ней, — вздохнул доктор. — Панна поставила условие — без сви­детелей, чтобы я один был. А я перед женой и так виноват, и ее жизнью рисковать.

Между тем впереди послышался женский визг. Прантиш и Лёдник бро­сились туда.

Зрелище было живописное: карета одним боком уже проваливалась в воду, и было ясно, что вытянуть ее невозможно. Кучер, в отчаянии обрезая упряжь, освобождал лошадей, панна Богинская пробовала вытащить из каре­ты два ящика с наследием доктора Ди, а Гервасий Агалинский старался подо­браться поближе. Это было нелегко, трещины на льду расползались, как грехи на совести. Вдруг карета еще больше погрузилась, завалилась набок, панна вскрикнула.

— Руку давай! — заорал Агалинский и ухватил-таки Полонею за тонень­кую, но сильную ручку, которая только что потеряла меховую рукавицу, и потянул к себе.

— Подождите, ваша мость! Нужно это забрать! — паненка отчаянно рва­лась назад — из окна торчали ящики, их можно было еще легко достать.

Доктор и студиозус застыли у берега, лишний вес на льду сразу увеличи­вал трещины.

— Посмотри на меня! — крикнул пан Агалинский, не выпуская руки панны. Полонейка рассеянно оглянулась. — Брось все это! Выходи за меня замуж! Мы уедем в Америку!

Княжна нервно рассмеялась.

— Пан сумасшедший?

— Выходи за меня! Обвенчаемся сегодня же! — глаза пана Гервасия горе­ли упрямым огнем. Полонейка истерично закричала-захохотала:

— Безумец! Точно безумец! Пан забыл — я же недавно посадила его в тюрьму и обворовала! Я на глазах пана целовалась с другими! Я могу отра­вить! Или пан хочет отомстить?

— Даже если ты всадишь мне в сердце нож, я только поцелую твою руку! — прокричал пан Агалинский, будто они находились на разных бере­гах. И прозвучало так, что невозможно было не поверить. — Слово чести — я отказываюсь от твоего приданого! Не возьму ни колечка, ни ломаного гроша! Нам достаточно будет и моего достояния. Мне нужна только ты, такая, как есть, смелая, хитрая, отчаянная, веселая! Тебе понравится в Америке! Там никого не изумит благородная дама, которая скачет верхом и метко стреляет. С индейцами станем воевать!

Полонейка в отчаянии оглянулась на карету, почти погруженную в воду.

— Оставь! — властно выкрикнул пан Гервасий. — Я отказываюсь от своей части добычи — откажись и ты! Пусть никому не достанется проклятое аглицкое колдовство! Ради тебя я забуду поручение своего пана — забудь и ты свое! Ну!

Панна растерянно поглядывала то на карету — ящики были еще видны, еще можно было дотянуться, то на пана Гервасия, чьи ноздри раздувались, как в восторге боя, а в глазах горело веселое отчаяние. Вода подползла к самым сапожкам панны, как темная холодная смерть, губы Полонейки дрожали, и Прантиш никогда не видел ее такой по-детски беспомощной.

— Ну, золотко мое! Решайся! Жить ли тебе взнузданной, пусть и с золо­тыми удилами? Для львицы нужен лев!

— Тоже мне нашелся лев из белорусского леса! — сквозь слезы улыбну­лась панна. — А не боишься — что и тебя, как Дмитрия Сангушку, — догонят с родовитой невестой и убьют?

Агалинский встряхнул рыжими прядями.

— У Сангушки была ночь любви, глоток воли и вселенная в глазах его единственной женщины. Ты думаешь, мне этого мало, чтобы рассчитаться с жизнью? И сколько бы нам ни досталось времени — вместе мы не заскучаем, моя панна. Ух, мир зашатается!

Лед под ногами затрещал, карета отправилась возить дочерей водяного короля, а панна Полонея очутилась в объятиях пана Гервасия. Вырвич дро­жащей рукой нащупывал саблю, но Лёдник решительно остановил его. Два обличья, сплавленные в бешеном, страстном поцелуе, поплыли в глазах сту­диозуса. А потом пан Агалинский подсадил Полонейку на коня. Вскочил сам.

— Стой! — прокричал Прантиш, давясь отчаянием. — А освободить пани Саломею?

— У пана Балтромея Лёдника есть для этого письмо! — прокричала панна Богинская. — Прощайте!

Прантиш смотрел вслед всадникам. У него не было сил даже возмутить­ся. Та страсть, та любовь, которые внезапно открылись перед ним, — обе­зоруживали его гнев. Сумел ли бы он сделать так, как пан Гервасий? Была ли любовь Прантиша Вырвича к панне Полонее Богинской такой же все­могущей — когда прощается все? Такой же. бескорыстной? Прантишу все же нужна была именно княжна Богинская, сестра претендента на трон, блестящая придворная дама и магнатка, связь с которой возвысила бы его в глазах суетного мира, вознесла бы на вершины жизни. Это был его личный приз, его Фортуна. А пан Гервасий пошел даже против воли князя Кароля Радзивилла, коего боготворил, и готов потерять все — только бы с ним была отчаянная женщина, жена, подруга и любовница, которая сможет гарцевать с ним по прериям, плыть через океаны, драться, мириться, любить — не жалу­ясь и не покоряясь никогда.

Вырвич понимал, что проиграл безнадежно.

На плечо студиозуса легла рука доктора.

— Ежели не поубивают друг друга, будут жить счастливо. Совпали под одну масть.

Это были жестокие слова — но Балтромей Лёдник был не только цели­телем, а и хорошим хирургом. Его скальпель никогда не дрожал над больным телом, примеряясь, он разрезал сразу, удаляя опухоли и выпуская гной.

А заживить раны — дело времени.

— И что мне. дальше. — прошептал студиозус.

— Жить, мой юноша.

Наконец завершилась Прусская война. По дорогам Европы еще бродили банды мародеров, но Бог был милостив к двум литвинам, вынимать сабли пришлось только однажды, чтобы отпугнуть грабителей на лесной дороге — те, недавние крестьяне из сожженной деревни, сразу же разумно спрятались в зарослях. Ехать старались, не наступая на собственные следы, — порядочно же наследили дорогой в Ангельщину. Но довелось услышать, что в Томашов пришла чума и опустошила город так, что хоть выбирай свободные дома да селись. А в другом месте рассказали о чудесном драконьем фэсте, который готовится в славном городе Дракощине, — дракон там жив-здоров, молодой, ревет — земля дрожит. Только нужно с собою полную мошну денег иметь, дорого стоит на том фэсте побыть-погулять.

И естественно, всю дорогу профессор Лёдник гонял студиозуса, прогу­лявшего едва не полгода лекций, по всем предметам. Диплом же получать!

А потом Вырвич увидал еще одну любовь — не свою. Когда из ворот монастыря выбежала стройная женщина в темном, похожем на монашеское, скромном платье, с лицом таким красивым, хоть и измученным, что дума­лось о королеве или сильфиде, и бросилась на грудь доктору Балтромею Лёднику. И гладила тонкими пальцами его худое лицо, будто хотела стереть усталость. А Лёдник целовал ее — будто спасался.

Саломея плакала от счастья и от жалости, замечая все новые, незаметные чужому глазу, следы, которыми пометила немилостивая судьба ее мужа во время невероятного странствия. Вот углубилась морщина, появились седые волосы, прибавилась царапина. Целовала его ладони со следами от желез­ных копий.

— Послушай, Саломея, я должен признаться. Во время путешествия со мной случилось. Я не удержался. — с трудом подбирая слова, начал Лёдник. Прантиш сразу догадался, что готовится исповедь по поводу Пандоры и колдовского соблазна в Томашове. Нет, этот доктор все-таки чудак! Но мудрая Саломея заставила мужа умолкнуть, положив узкую ладонь на его рот.

— Все, что с тобой случилось в дороге, все соблазны, все несчастья — не имеют значения, если ты снова со мной. Неужели ты думаешь, что я не раз­делю с тобой все? Не пойму, не прощу? Глупенький! Даже если бы ты воз­вратился ко мне в образе кровожадного змея — я узнала бы тебя и приняла! Подожди, я чувствую, что здесь, на твоей левой руке, тоже рана. Больно?

Прантишу тоже досталось радости и ласковых слов. А потом пани Саломея заглянула в глаза студиозусу:

— А что случилось с паном Вырвичем? Его мость перенес какую-то серьезную потерю?

— Можно сказать, да, — мягко ответил вместо Прантиша Лёдник. — Первое разочарование в первом чувстве.

Саломея соболезнующе дотронулась до плеча студиозуса, который поста­рался принять гордый вид. Еще чего — его будут жалеть из-за разбитого серд­ца! За то, что выбрали не его! Но пани Саломея промолвила только:

— Когда придет настоящее, твое, мальчик, — ты его не упустишь. Ни за что. Поверь, я тебя знаю, у тебя хватит сил.

И Прантиш Вырвич нашел силы улыбнуться.

Глава шестнадцатая

Счастье Балтромея Лёдника

Вообще-то опрокидывать, как кружки с дрянным пивом, сундуки с золо­тыми дукатами не принято.

Принято золотые дукаты пересчитывать, любоваться их властным соблаз­нительным блеском, перепрятывать, прикидывать, на что потратить.

Но доктор Балтромей Лёдник сундучок с красивой резьбою, с накладным золотым вензелем под короной именно что опрокинул, и дукаты обиженно раскатились по столу, со звоном цепляясь за химические приборы.

— Фауст, не горячись! — погладила мужа по спине пани Саломея. — Ну швырнешь ты эти монеты, по твоему выражению, в дипломатическую харю князя Репнина, наживешь еще одного могучего врага, а что дальше? Лучше отдай эти деньги на церковь!

— Как ты не понимаешь! — бушевал Лёдник. — Это не плата за то, что я по его заказу обдурил двух магнатов, отвлек их внимание от борьбы за трон! Чтобы я участвовал в политических интригах, да еще так. Позор!

Доктор нервно ходил по кабинету.

— Балтромей, не переоценивай свою значимость! — сурово сказала Саломея, морщинка обозначилась между ее черными изогнутыми бровями — настоящий мужчина сделал бы что угодно, только бы на этом совершенной красоты облике не появлялось таких морщинок. Действительно, после своего заточения в монастыре, о котором она не любила вспоминать, приступы тоски время от времени посещали жену доктора. — Неужели ты думаешь, что так уж существенно повлиял на политические события, создал, как бы сказать, исто­рический вред? Во-первых, и без тебя бы какую-нибудь интригу придумали. Во-вторых, ты что, считаешь, что его мость князь Радзивилл сидел и ждал твоего огненного меча? Да от него на каждом соймике едва стены не руши­лись! Уверена — он за гулянками да заседаниями и не вспоминал о заморской экспедиции, восковой кукле, чудо-оружии. А князь Богинский — неужели, если бы ты не отправился за море, он был бы смелее и удачливее? Не думаю. А в третьих, ты действовал ради спасения своих близких, а значит, ради един­ственно правильной цели во времена политических хороводов. Радзивиллы и Богинские о тебе забыли, князь Репнин доволен. Да это просто чудо! И знаешь что. — Саломея легонько поцеловала мужа в щеку. — Забудь о своем странствии, как о страшном сне.

— Я бы и рад. — тоскливо промолвил Лёдник и повернулся в тот угол кабинета, где стоял наполовину разобранный ящик. А в ящике сидела вос­ковая Пандора, — никто из домашних не мог сообразить, кто и зачем ее докто­ру вернул. Верный слуга Хвелька, когда оказывался рядом с сатанинским автоматом, только испуганно крестился да читал молитвы. Лёдник подошел к кукле, задумчиво прикоснулся к ее бело-розовому лицу, очертил пальцем абрис брови, провел по щеке, будто лаская.

— Она и в жизни такая же красивая? — тихо спросила Саломея.

Доктор вздрогнул от такой проницательности жены и, помедлив, сдер­жанно ответил, не оглядываясь:

— Еще красивей. Воск не передает характера. Властность, жестокость. Наивность. Безумное сочетание.

Саломея сжала руки, но решилась на вопрос:

— Она влюбилась в тебя?

Бутрим отвернулся от куклы, которая поглядывала неестественно боль­шими серыми глазами на портрет Галена, будто прикидывала, не стоит ли и этого прославленного доктора присоединить к своей свите.

— Она поигралась со мной. Таков был каприз лица королевской крови. Может быть, последний каприз в ее жизни. Она. погибла.

Пани Лёдник с грустью вздохнула, обняла мужа за плечи, прислонилась к его виновато ссутуленной спине.

— Дорогой, не переживай, прихоти родовитых персон нам хорошо зна­комы. Вспомни, как я была в плену у князя Геронима Радзивилла. Каждый из нас. может попасть в такие обстоятельства, когда все наши достоинства нас не уберегут, — при этих словах голос Саломеи изменился. Прантишу показалось, что пани сейчас заплачет, но она пересилила себя и заговорила более весело. — Хорошо, что этой благородной даме не возжелалось нанести тебе вред. Знаешь, с твоим характером подобное желание возникает у многих знакомых.

Лёдник повернулся, схватил жену в объятия, спрятал лицо в ее черных, блестящих как шелк волосах.

— Я не стою тебя. Ты права — забыть все, как страшный сон. Только бы еще узнать, сдержал ли слово пан Агалинский, не страдает ли мой маль­чик, не сломана ли его судьба.

— Его мость пан Агалинский — настоящий шляхтич, он держит слово, — заверила Саломея. — Вот увидишь — вскоре объявится!

Зима тихо умирала в лужах и ложбинах, последние лоскуты грязного, будто побитого оспой, снега превращались в весенние ручьи, которые бор­мотали, как сердитые профессора, и смеялись, как проказливые студиозусы. Потом темное тело литвинской земли украсилось зеленым полотном травы, и аисты по-хозяйски осматривали новые гнезда.

А потом Прантиш Вырвич возвратился домой не один. Если честно, то его принесли, как мешок перловки, однокурсники во главе с черноволосым крепышом-городенцем Недолужным. Однокурсниками они являлись уже бывши­ми — паны студиозусы превратились в дипломированных докторов вольных наук! По случаю чего и был устроен бал, после которого прибавится работы стекольщикам, коих жители славного города Вильни будут приглашать встав­лять в окна новые стекла, фонарщикам, кои будут заменять разбитые фонари, корчмарям, коим придется закупать новую посуду.

— Когда я получил диплом в Праге, мы с друзьями завернули ночью все статуи на Карловом мосту в белые простыни, а утро я встретил на верх­ней площадке колокольни, — меланхолично сказал Лёдник встревоженной жене. — Причем, как я попал на ту колокольню, — убейте, не вспомню.

И пошел варить своему ученику свежий отвар от последствий ночного пира.

Наутро Прантиш действительно мало что мог вспомнить. Но диплом — вот он, с печатью! И докторская шапочка, и мантия! Теперь можно заняться и военной карьерой. Пусть профессор простит, но медицина Прантиша не влекла.

После визита к полковнику конного регимента великой булавы пана Мытельского, друга умершего великого гетмана Радзивилла Рыбоньки, что произошло благодаря протекции доктора Лёдника, Прантиш еще больше повеселел: его ожидало интересное назначение в Ковенский повет и для начала чин подхорунжего с годовым окладом в целых сто пятьдесят польских злотых! Не оглянутся — станет бравый рыцарь Вырвич хорунжим, потом — капитаном, потом. Сто раз пожалеет паненка Богинская, что упустила такого молодца!

Прантиш, гордо заломив новенькую шапку, вошел в дом с зелеными став­нями около Острой брамы. Хвелька, который за время расставания с доктором и не подумал похудеть, поклонился молодому пану Вырвичу особенно тор­жественно: понял, что теперь пан не студент, а настоящий рыцарь! На исходе недели будет готов драгунский мундир, итальянский конь окраса спелого каш­тана ждет в конюшне, остальное снаряжение приобретется. Вырвичу даже аванс выдали — принимая во внимание особенные отношения к Лёднику покойного гетмана, до самой смерти бывшего шефом регимента.

А вот доктора, перед которым особенно хотелось похвастаться, дома не было. Пани Саломея напрасно пыталась скрыть тревогу.

— Приходил пан Агалинский, — рассказывала она. — Веселый такой, нарядный. Поговорили с Бутримом и поехали.

— Куда? — растерялся Прантиш.

Пани Саломея пожала плечами.

— Бутрим сказал — в гости к пану Агалинскому. Будто давно слово давал к нему съездить, вот и настало время. Шутил, улыбался. А у меня что-то на сердце неспокойно. Понимаю, что напрасно волнуюсь, — поехал к другу. Сына своего, наверное, увидит, порадуется. Ну разве что перепьются с паном Гервасием.

Но голос пани дрожал, а увидев, как бледнеет лицо Прантиша, Саломея так и совсем голос потеряла.

Не может быть. Вырвич давно и думать бросил о страшной присяге Лёдника, об угрозах пана Гервасия засечь того до смерти за своего брата и братову жену, в гибели которых обвинял доктора. После пережитого вместе! После того, как доктор столько раз тому же пану Гервасию жизнь спасал, столько раз проявлял свои жертвенность и благородство, — а их же сыну кожевника не занимать. Неужели Американец решил воспользоваться правом на жизнь бывшего раба?

А Лёдник — вот же упрямый! До смерти упрямый! Мог и поехать на смерть.

Прантиш бросился в профессорский кабинет, безо всяких церемоний поразбрасывал на столе бумаги, повытаскивал ящики. В верхнем лежал запечатанный конверт, подписанный пани Саломее Лёдник и пану Прантишу Вырвичу. Новоиспеченный доктор и подхорунжий не колебался: разорваный конверт полетел на пол, а содержимое.

Лист выскользнул из пальцев и отправился на пол за разорванным кон­вертом. Саломея подняла бумагу, пробежала глазами по ровным строчкам. Непослушными губами спросила Вырвича:

— Что это значит?

Вырвич схватился за голову. Он же давал слово Лёднику не рассказывать его жене о присяге!

— Знаешь, где имение Агалинских? — вдруг властно крикнула женщина, схватив Прантиша за ворот. — Покажешь дорогу! Едем!

И снова они гнали лошадей, и снова ценою была жизнь. Ветер, еще сохранявший весеннюю пронзительность, нетерпеливо подгонял их в спины, из-под копыт фонтанами разбрызгивалась грязная вода, которая еще недавно была прозрачным, как диаманты, дождем. Прантиш посматривал на воин­ственный профиль женщины, приникшей к шее коня, этим будто убыстряв­шей его бег, и приходило в голову, что не хотел бы он очутиться на месте того, кто обидит ее любимого. Да и пистолеты пани прихватила с собой. А что такого? Женские дуэли — обычное дело. Даже российская императрица Екатерина еще в качестве жены наследника трона ежегодно по нескольку раз бывала секунданткой у своих придворных дам. В Европе есть женщины, кои и мужчин на дуэль вызывают. Одна такая, во Франции, сразу с двумя дралась на шпагах, одного прикончила уколом в горло, второго — в сердце. Даже король вмешался и приказал воинственной паненке больше дуэлей не устраивать. Панна Богинская вон как ловко управляется с кинжальчиком, хоть и щуплая. И пани Саломея, похоже, не оплошает.

Имение Агалинских было не такое большое, как дворцы Богинских и Радзивиллов, но все-таки — двухэтажный каменный дом с колоннами, камен­ные хозяйственные постройки, красивый парк с мраморными беседками. Еще было замечено, хоть гостей пропустили беспрепятственно, что имение подготовлено к обороне, как настоящий замок, — даже орудия стояли на валах.

— Где его мость пан Гервасий Агалинский? — крикнул Прантиш лакею в белой свитке. Тот испуганно поклонился:

— Его мость пан с гостем пошли на конюшню. Туда вон. За деревья­ми. Но пан Гервасий приказал их не беспокоить! И чтобы никто к конюшням не подходил! Ни в коем случае. Увидит, что кто-то подсматривает, — уши отрубит!

Завернув за угол длинного каменного строения, в котором размещались конюшни, Прантиш увидел две фигуры. И остановил Саломею, зашептал:

— Подожди. Здесь дело чести. Если вмешаться — можем сделать хуже. Пусть разберутся между собою раз и навсегда. Появиться успеем, когда дойдет до. необратимого. Но не будет же пан Гервасий Бутрима действи­тельно убивать!

Саломея, которая до крови кусала губы от тревоги, молча кивнула голо­вой. Оба, спрятавшись за толстенную липу, осторожно подобрались ближе. Прантиш придерживал Саломею за плечи — боялся, что она все испортит, выбежит. Потому что женщину даже трясло от страха за любимого.

А любимый никакого страха не проявлял. Мрачный, саркастичный. Ну, как всегда. Пан Гервасий тоже не улыбался, стоял, сунув руки за литой слуц­кий пояс, опоясывавший синюю чугу.

— Ну что, Бутрим, место тебе знакомое. Насколько я знаю, проводил ты здесь много времени. Без пользы, правда, для твоей спины.

— Выбор места отдаю вашей мости, — холодно промолвил Лёдник. — Я не привередливый.

Пан Агалинский криво усмехнулся:

— Еще бы тебе перебирать. В конюшню, на привычную тебе скамью не пойдем. Ложись, доктор, просто на землю. И безо всяких ковриков.

Вырвич скрипнул зубами. Бить шляхтича на голой земле — это позор! На ковре — можно. Кого на ковре не секли? Даже Пана Коханку отец, великий гетман, охаживал. Но Лёднику шляхетские тонкости, похоже, были безраз­личны. Снял камзол, рубаху, рассеянно бросил, скомкав, в сторону, просто на влажную от недавних дождей траву, как бы не надеясь больше надеть. Лег.

— Эдак вашей мости удобно будет меня убивать? — еще и яду в голос подпустил. — Предупреждаю, я живучий. Поработать пану придется тяжело.

— Ничего, я сильный! — насмешливо промолвил пан Агалинский. — И спешить нам некуда.

И снял со стены, с одного из специально забитых крюков, даже не плеть — а кнут, с тяжелым плетеным «хвостом». Да что это, Американец всерьез собрался доктора прикончить? Это уже не шуточки!

Прантиш едва удержал Саломею, которая зажимала рот кулаком.

— Как же долго я мечтал это сделать! — весело прорычал пан Гервасий и изо всей силы ударил доктора по спине.

— Это тебе за пани Гелену. Это за брата моего. Это за то, что лезешь без стыда в постели шляхтянок!

Вырвич прикидывал, сколько стоит подождать. Доктор, конечно, живу­чий, но ведь шкура у него не такая же, как у дракона.

Но пан Гервасий, хлестнув три раза, остановился. Выпрямился, вытер рукавом взопрелый лоб, с облегчением выдохнул:

— Есть у меня для тебя одна новость, доктор. Младший мой племянник, пан Александр Агалинский, трагически погиб.

— Что?!! — доктор вскочил, будто не чувствуя на себе новой порции свежих шрамов. Пан Гервасий даже отступил на шаг — такое у доктора было лицо.

— Погиб мальчик, — упрямо повторил Американец. — Карета ввалилась в трясину, ну и. Даже тел не нашли.

Лёдник зажмурил глаза, и Прантишу стало страшно от мысли, что быв­ший алхимик и чародей может дальше сотворить.

— Но, может, и не погиб, — торопясь, промолвил пан Гервасий, которому, видимо, тоже стало не по себе. Лёдник открыл глаза и гневно выкрикнул:

— На такие жестокие шутки я пану позволения не давал!

Пан Гервасий усмехнулся — его, кажется, обрадовало, как доктор пере­живает.

— А это ты сейчас сам определишь, шутки или нет. Возможно, пана Александра Агалинского нашли, удалось его как-то достать из кареты.

И будет он жить, как должно наследнику славного шляхетского рода, уна­следует несколько деревень, сделает карьеру при дворе пана Радзивилла. А возможно, бедный ребенок все-таки бесследно исчез в трясине. Но. нашелся другой мальчик. Потерянный сын одного ученого, но не родовитого доктора.

У Лёдника даже губы задрожали от внезапной догадки. А пан Агалинский продолжал почти назидательно:

— Мало ли как бывает — похитили ребенка, потом он воспитывался неиз­вестно где. А какая там у малышей память. Что там до трех лет было. И вот родной отец чудом отыскал сына. Так вот не знаю, как произошло на самом деле? Который мальчик спасся?

Лёдник шагнул вперед и твердо промолвил немного сдавленным от потря­сения голосом:

— Его мость пан Александр Агалинский трагически погиб. Аминь.

— Ну что же, тогда встречай своего отыскавшегося сына! — промолвил пан Гервасий и крикнул:

— Полонейка! Давай, веди его!

Из густой аллеи показалась знакомая фигура в белом платье и кружев­ном чепце: княжна Богинская, озорно улыбаясь, несла на руках темноокого малыша.

Случилось невероятное: малыш узнал дядьку, который когда-то с ним во­зился, и сам подбежал к нему:

— Пан доктол!

Лёдник схватил на руки свое счастье. И тут же строго сказал:

— Не пан доктор, а пан отец.

Мальчик серьезно посмотрел на профессора, даже скептически.

— А поцему?

— Потому, что ты мой сын.

Малыш задумался — совсем по-профессорски. Внимательно осмотрел новоприобретенного отца, тронул пальчиком кровавый след от кнута на его плече, оглянулся на пана Гервасия Агалинского. Наконец с достоинством кив­нул головой:

— Холосо, пан отец. Хоцу смотлеть в тлубу на звезды!

Надо же, помнит поход в обсерваторию! Что значит наследственность.

Пан Гервасий обнял панну Богинскую — точнее, судя по ее наряду и обручальным кольцам у обоих, — пани Агалинскую, и крикнул в сторону:

— Хватит прятаться! Пан Вырвич, пани Лёдник, выходите!

Прантиш раскланялся с паном Гервасием — тот улыбался во весь рот, подкручивая усы.

— Ну что, окончил учебу, студент?

— А то! — Прантиш старался не смотреть на пани Агалинскую. — А не боишься, ваша мость, что насчет потопленной в трясине кареты нехорошие слухи пойдут?

Американец ни на йоту не смутился:

— А никакого обмана! Действительно дурак-кучер коней не удержал, понесли. Мы с Полонейкой прогуливались верхом, услышали крики. Пока доскакали. Нянька с кучером Базылем потонули — пробовали выплыть, ну и. А мальчика, которого зараза-нянька в карете бросила, я кое-как выта­щил — на поясе, к дереву привязанном, нырнул в трясину. Ангел-хранитель помог, видно. Малыш без сознания был, когда достал, но живой. Полонейка как-то его выходила. Никто не знает, что он выжил, кроме моей старой кормилицы, меня и жены. Вот Полонейке и пришло в голову — использовать случай, чтобы ребенка родному отцу вернуть. Ну, дай Бог ему и доктору счас­тья. А все имущество брата старшему племяннику достанется. Ни шелега не возьму, никто не попрекнет, что сирот ограбил. Я же с женушкой вообще отсюда съезжаю — корабль в Гданьске ждет.

Пан Гервасий улыбнулся Полонейке, и та переплела свои и его пальцы.

— Вместо меня сейчас есть кому думать! — похвастал Американец, глядя на жену с восхищением и страстью. — Полонейка такие послания сочини­ла — и своему пану-брату, и от моего имени его мости князю Радзивиллу. Расписала наши приключения, коварство аглицких колдунов, верность шля­хетским традициям. Пан Радзивилл даже расчувствовался, говорят, обещал исполнить отцов завет и вернуть восковую куклу одному профессору.

— Правда, десять альбанцев прислали Гервасию переломанные перья,— с немного нервной улыбкой сообщила Полонея. — Что значит, при встрече убьют как предателя.

— А твой пан-брат вообще не ответил, — заметил пан Гервасий. И Прантиш понял, что счастье этой пары в действительности очень уязви­мое. И цепляются они друг за друга, как пассажиры тонущего челна.

Прантиш решился взглянуть на пани Полонею. Надменная, уверенная, хитровато-милая, напряженная перед смертельной опасностью — и счаст­ливая.

Счастье любимой женщины с другим — что может ранить больнее?

— Я приобрела отличные пистоли голландской работы! Мы с Гервасием пристрелялись — всех ворон в парке перебили!

Пан Агалинский с чувством поцеловал ручку жены:

— Ну, у кого еще есть такая женщина? — и засмеялся, как Цезарь над побежденными египтянами. — А когда браниться начнет — наслаждение! Я и слов таких не знаю. Ну все, устал я из-за этого доктора, даже плечо болит. Лёдники пусть переночуют в том домике, где мы панича держали, — никто не заметит. Пани Саломея спину доктору подлечит. Есть-пить кормилица им принесет. А ты, пан Вырвич, пойдешь ужинать с нами — через день-другой мы за океан отправляемся.

— А Лёдникам лучше с утра тихонько съехать, чтобы никто их сына не увидал, — скомандовала Полонейка.

Прантиш оглянулся на профессорское семейство — и понял, ради чего все они ездили в это нелегкое бессмысленное путешествие.

Голова наутро было тяжеловатой. Прантиш едва сдерживался, чтобы не зевать при дамах. Вырвич решил не оставаться у хозяев, хотя пан Гервасий настойчиво предлагал продолжить приятное прощание. Недолгая семейная жизнь не очень изменила характеры, поэтому прощание с паном Гервасием могло превратиться в такой пир, после которого стены и сознание собирают по кирпичику. Тем более, пану Гервасию и Полонейке, по всему было видно, хотелось остаться наедине.

Небо переливалось желтовато-розовыми оттенками, как модный шлаф­рок, в коем выходят из опочивальни пить кофе, и казалось тоже невыспавшимся и сонливым. Доктор, сев на коня, как величайшую ценность завернул сонного малыша в свой плащ. Маленький Алесик дорогой сладко дремал, но нужно было дать отдохнуть и всадникам, и коням. Поэтому остановились у корчмы под гордым названием «Три цезаря». Каких именно цезарей имел в виду тот, кто заказывал вывеску, непонятно, так как на куске жести была нарисована только кривоватая корона с жемчужинами. Неподалеку блестело речное русло, и Прантиш вспомнил, что где-то рядом должна быть проклятая мельница, на которой они натерпелись столько страхов.

В толчею и вонь корчмы заходить всей компанией не стали, Лёдник купил лучшего, что там было, пригодного к употреблению, и пани Саломея, усевшись на скамеечке под кустом сирени, угощала мальчика, который как-то сразу к ней потянулся. Что-то ему напевала, счастливо улыбалась. Прантиш не сомневался, что пани полюбит малыша всем сердцем. Лёдник присел рядом с женой и сыном и любовался идиллической картиной семейного счас­тья. Кнут пана Гервасия был очень малой платой за это.

А Прантиш пробовал заглушить тоску пивом. И пиво было не очень доброе — не лондонский портер, и тоска была не из тех, что могут за один день рассосаться. Нет, не видел Прантиш в пане Гервасии ничего такого, что делало бы его стоящим панны Богинской больше, чем пан Вырвич. Только что — более богатый да более нахальный. Но Прантиш теперь подхорунжий драгунской хоругви!

От пива приятно кружилась голова. Вырвич отошел к воротам, к густым зарослям жасмина, которые еще светились душистыми белыми звездочками, потому что воркование Лёдников над своим малышом душевного равновесия в его нынешнем состоянии не прибавляло. Начало припекать солнце, будто тиун махнул над ним своей плетью за небрежную работу на панских полях. Все нужно было начинать сначала — собирать по кусочкам душу, искать смысл жизни, возвращать способность верить и любить.

На подсохшей дороге поднялись клубы пыли: несомненно двигался большой отряд. Вырвич напрягся: мало ли что. Время неспокойное. Может, московцы, может, прусаки, может, шляхетский наезд. Но всадники, воору­женные, как на войну, без мундиров и других знаков отличия, подъехали к корчме, быстренько перехватили по кубку вина — и, бросив корчмарю горсть монет, двинулись дальше. Не задирались, не шутили, не норовили заглянуть под юбку какой-нибудь хорошенькой служанке. Серьезные люди, искушен­ные воины, наемники на службе у временного пана. Прантиш стоял в тени жасмина, сжав зеленое горло полупустой бутылки, будто хотел ее задушить. А потом бросил в траву, даже не допив. Потому что узнал одного из всад­ников, того, который руководил отрядом. Узнать его было нетрудно: здоро­венный, как медведь, с белыми волосами и бровями, с бездонными глазами. Герман Ватман, наемник Богинских.

И Прантиш не сомневался, куда они направляются, — в имение Агалинских.

Молодой драгун не рассуждал. Он подошел как можно более раскрепо­щенной походкой к Лёднику и сообщил, что должен вернуться за забытой у Агалинских очень дорогой сердцу вещью, за серебряным кордом. Поэтому пусть едут себе в Вильню, а он догонит. А если опоздает — пусть не волну­ются. Взрослый пан, не студент.

— За кордом, значит, — скептически бросил Лёдник, видимо, не пове­рив. — Захотел все-таки попировать с паном Гервасием? Смотри, напье­тесь — не подеритесь!

— Постараюсь! — весело сказал Прантиш и двинул подальше от счастли­вого семейства. Схватил первого встречного мужика за шиворот:

— Где здесь более короткая дорога к Глинищам?

Мужик подумал, почесал голову:

— Разве что вон там, ложбиной проехать. Только по дороге болото будет, где недавно маленький панич с каретой утонул.

Вырвич снова гнал коня окраса спелого каштана и думал, что Полонейка получит то, чего боялась. Интересно, что поручено Ватману: увезти паненку или сделать ее вдовою? А может, решено обоих, без магнатского благослове­ния повенчанных, заточить? Сестру свою пан Богинский, конечно, убивать не станет, а вот в монастырь может отправить.

Дорога была — так, одно название, что дорога. Еле проглядывала, ветви хлестали по лицу, по плечам. А потом и правда началось болото. Конь скользил по глине, в одном месте, оступившись, провалился почти по грудь. А вот и место, где утонула карета, — здесь с болотистой тропой соединялась более широкая, наезженная дорога, по ней вот-вот доберется к имению отряд под командой Ватмана. На перекрестке стоял недавно постав­ленный дубовый крест — не обычный придорожный оберег, а в память погибших — под ним, на бугорке черной земли, лежали срезанные, еще не увядшие цветы.

Прантиш, выпачканный в глине и тине, с налипшей на одежду ряской, влетел во двор имения Агалинских, как пограничный стражник за контра­бандистом:

— Пан Гервасий! Пани Полонея! Немедленно уезжайте!

Агалинский успел уже, видимо, выцедить кружку-другую пива и полу­чить за это от ласковой женушки хороший нагоняй. Услышав, что случилось, он встрепенулся, как петух, проспавший рассвет:

— Ну, я их встречу, гицлей! Орудия подготовлены, сейчас людей во­оружу — и.

Полонея, побледневшая, когда прозвучало имя Германа Ватмана, дернула мужа за рукав.

— Напомню васпану, что это не кучка разбойников, а люди моего высо­кородного брата, генерал-майора и стольника литовского. И он, если что, может сюда целую армию прислать. Васпан будет держать блокаду против целого войска? Войну устроить на все княжество? Я не София Алелькович, а ваша мость — не Януш Радзивилл. Это раньше к вам на подмогу прискакали бы родственники и друзья. Но из-за нашего брака вы — один. Все отверну­лись. Едем на корабль!

Пан Гервасий бранился, правда, тихо, но через считаные минуты оба сидели в карете — к счастью, сундуки загрузили еще вчера. На прощание Полонейка поцеловала Прантиша:

— Пусть пан найдет свое счастье! И. простит меня за все. Не буду просить не забывать меня. Наоборот — пусть другая, лучшая, как можно быстрее заставит забыть обо мне. А я никогда не забуду отвагу и доброту пана Вырвича.

И что-то небольшое и тяжелое сунула ему в руку.

Когда карета исчезла из виду, Вырвич осознал, что щеки позорно мокрые. Да что же это — расплакался, как девочка! Потянулся кулаком вытереть слезы — вспомнил о подарке. Крест. Золотой крест на цепи, усы­панный бриллиантами, рубинами, изумрудами, сапфирами. Королевский подарок! Да за этот крест, наверное, деревню купить можно!

Но на душе легче не стало. Прантиш повесил дорогой крест на шею, засу­нул под рубашку. Что же, прошлый раз, когда княжна послала Прантиша на смерть в полоцкие подземелья, она наградила Вырвича драгоценным кинжалом персиянской работы. Он остался где-то в томашовских подвалах, присвоенный тюремщиком. А когда паненка разбила своему рыцарю серд­це — откупилась крестом. Принесет ли он ему большую удачу?

Вырвич направлял коня знакомой болотистой тропой, опустив голову, слушая только собственные тяжелые мысли. Поэтому на перекрестке не сразу заметил, что по большой дороге приближаются всадники. Вот холера! Тоже — воин нашелся! Ворона, а не воин!

Вырвич припустил коня по тропе, надеясь, что с тракта его не успели заметить. Но когда сзади послышались улюлюканье и выстрелы, понял, что попал, как воробей в шапку.

А разогнаться было невозможно — по такой дороге горшки не возят. Пока Прантиш отчаянно раздумывал, не лучше ли соскочить с коня и бросить­ся в заросли, конь споткнулся.

Вырвич успел выхватить саблю — Лёдник хорошо его тренировал, но под пулями особенно не похвастаешь фехтовальным мастерством. Напрасно кри­чал, что он шляхтич, драгун, подаст на них в суд, — наемники просто делали свое дело. И кое-кого он видел раньше — в Полоцке, когда те вместе с Ватманом сидели в засаде в доме Реничей с заложницей пани Саломеей. А вот и сам пан Герман Ватман — ждет, откинувшись в свободной позе на могучем дрыгканте.

— Приветствую вашу студенческую мость!

— Я дипломированный доктор, васпан, и подхорунжий литовской хоруг­ви! Я возмущен вашим коварным нападением! Я подам петицию его королев­ской мости! В Трибунал! Как вы осмелились насильно задерживать шляхти­ча! — Прантиш не убирал руки с эфеса сабли. На Ватмана его горячая речь произвела впечатление не большее, чем муха на кувшин молока.

— И каким это образом пан подхорунжий очутился в этих лесах? И не гостил ли он у одной очень родовитой, красивенькой, но неугомонной пер­соны?

— Я, ваша мость, готовлюсь отправляться к месту дислокации своей хоругви, у меня нет времени ездить в гости! — Прантиш на ходу сочинял что-то о важных военных поручениях, о которых он не имеет права рассказывать, но Ватман только рукой махнул.

— На всякий случай ваша мость проедет с нами в имение Глинищи. Вдруг встретим там наших общих знакомых? Вот и отметим встречу вместе. Кстати, а где воинственный доктор, бывший слуга васпана? А то он имеет способность возникать в самых ненужных местах, в неудобное время, да еще с сабелькой. Из этих кустов не выскочит?

Вырвич заверил, что профессор в Вильне и в кустах его точно нет, и снова начал возмущаться. Но его никто не слушал. Даже саблю отобрали, хорошо, что не связали, как сноп.

В имение Агалинских, к Прантишеву удовольствию, банде Ватмана попасть так же легко, как ему с пани Саломеей, не удалось. Слуги, очевидно, получили соответствующий приказ. Даже из пушек пару раз выстрелили. Правда, ранили многострадальную белорусскую землю, которую ранами не удивить, а наемники Ватмана выстрелов не боялись. Но каждое мгновение приближало Полонейку к свободе!

Ватман время от времени призывал пана Гервасия выдать панну Богинскую ее брату, но ответа, естественно, никакого не получал.

Солнце все ниже клонилось к лесу. За это время можно было отъехать довольно далеко. Теперь Прантиш был почти уверен, что Полонейка в безо­пасности.

Когда нападающие прорвались в имение, то убедились, что хозяев нет. Все, чего удалось добиться от слуг, — пан и молодая пани отъехали. Куда — к великому счастью, никто сказать не мог. Наверное, юной пани Агалинской как следует удалось поруководить мужем, и он не кричал на каждом шагу, что отправляется в Америку.

И тогда Прантиш понял, что вскоре ему небо покажется с овчинку. Ватман подошел к молодому человеку, улыбаясь, как хозяин нерадивому арендатору.

— Что-то мне подсказывает: его мость пан Вырвич должен знать, куда направились паны Агалинские. И я верю, что благородный пан Вырвич мне честно об этом расскажет. Потому что пан очень умный и не захочет иметь неудобств, а может, и адовых страданий — еще при жизни и молодым. Из-за женщины, которая ему, между прочим, тыкву вынесла.

Вырвич почувствовал, как между лопатками пробежал холодок.

— Да с чего это пан Ватман решил, что я был в этом имении и что-то знаю?

Ватман подцепил из-за ворота парня тяжелую цепь и вытащил крест, кото­рый, оказывается, предательски блестел из-под незастегнутой рубахи.

— А такие ценности у панов Вырвичей в сундуках завалялись? Особенно с гербом «Огинец». Да и слуги пана узнали. Так где Полонея Богинская? Куда они поехали?

Прантиш встряхнул русым чубом. Историю требовалось выдумать тро­гательную — и длинную, как бабушкино вязанье. И Вырвич проникновенно начал рассказывать о своих нежных, но, естественно, исключительно уважи­тельных чувствах к благородной княжне. О перенесенных вместе испытани­ях, приплетая кое-что из их реальных путешествий — особенно романтичной, почти как баллада немецкого миннезингера, получилась история, как взбун­товавшиеся матросы едва не сбросили панну с корабля в бурные волны, а храбрый пан Вырвич ее защитил. И вот молодой Вырвич, прежде чем отправ­ляться на военную службу, решил из-за непреодолимого чувства хоть разок взглянуть на свою прекрасную даму. А она, жестокосердная, откупилась от него золотым крестом, взяв слово, что он забудет ее и не станет ни разыски­вать, ни разузнавать. Вот и не знает сейчас бедный Вырвич с разбитым серд­цем, куда девалась его любимая с проклятым паном Гервасием Агалинским, счастливым соперником.

Ватман внимательно выслушал. Даже ни разу не перебил. Сочувственно кивал головой. А потом просто подал знак, и пана подхорунжего ловко скру­тили, не обращая внимания на пинки и пощечины, которые тот щедро раз­давал, а потом у его носа оказалось блестящее, острое, как взгляд мытаря, лезвие турецкого кинжала.

— Ну, откуда начнем с пана сдирать шкуру? Может, с лица — чтобы ни одна девица больше не посмотрела, а то перепортил их, видать, за свою недол­гую, но шкодливую жизнь.

Вырвича крепко держали, заломив руки. Глаза Ватмана казались совсем белыми, как болотный туман. Кто-то схватил недавнего студиозуса сзади за волосы, заставив запрокинуть голову. Прантиш сжал зубы. Лезвие нежно, как сухая травинка, тронуло его щеку.

Главное — Полонейка в это время мчится в карете. Пусть с другим. Пусть даже забыв о бедном шляхтиче из Подневодья.

— Отпусти парня!

Лезвие убралось. Прантиш открыл глаза.

Балтромей Лёдник стоял в спокойной позе, опустив саблю, черные воло­сы завязаны на затылке в хвост — значит, подготовился к серьезному бою. За его спиной медленно опускалось, наливаясь усталым багрянцем, солнце, и лицо доктора казалось темным, почти зловещим.

— Я так и думал, доктор, что ты выползешь, как уж из кустов.

Ватман игрался с кинжалом, как дитя с погремушкой, и глаза его были теперь не белые, а бездонно-алые.

— Отпусти парня, Ватман, — сурово повторил Лёдник.

— А если не отпущу, что ты мне сделаешь? — насмешливо спросил на­емник.

— А вот что! — Лёдник поднял руку, и из-за деревьев, что росли вокруг имения, показались люди. Много людей. Не жолнеры — мужики. В свитках, в полотняных рубахах. Но с вилами, косами, топорами, цепа­ми, а кое-кто — с ружьями и гаковницами. Особенно опасно выглядели пришельцы, вооруженные саблями и пистолетами, одетые в вывернутые кожухи. У них были суровые, обветренные лица людей, привыкших скры­ваться, защищаться, спать на голой земле. Прантиш узнал некоторых. Это же те, что приходили к проклятой мельнице, где Лёдник спасал обвинен­ную в ведьмарстве Саклету. Лесные братья и жители деревни Корытники, где Лёдник лечил и раздавал деньги. Конечно, за всемогущим доктором они сейчас пойдут куда скажет. Да и пан Агалинский, очевидно, сдержал слово и улучшил своим подданным, которые пекли хлеб из коры, условия жизни.

— Они не испугаются и не отступят, Ватман, — сурово проговорил Балтромей. — Ты со своей компанией учиняешь откровенный наезд на име­ние шляхтича. Любой суд признает, что его хозяева имели право вооружить своих людей и защищаться. Отступись. Разбитый кувшин не склеишь. Панны Богинской больше нет — есть пани Агалинская, а ее муж отказался от при­даного, и оснований судиться нет.

Ватман ненавидяще прищурил бешеные глаза.

— Тварь ты скользкая, доктор. Сколько ты еще будешь возникать на моем пути? Ни в море не утонул, ни в Ангельщине не убили. И даже за то, что ни с чем приехал, паны тебе простили. Может, ты колдовство употребляешь? Тем более обязан тебя остановить.

Наемник положил руку на эфес сабли.

— Давай так. Мы с тобой — один на один. До смерти. Если ты побе­дишь — мои люди уйдут. Никого не тронут. Слышите? — повернулся к коман­де, те загудели в знак согласия. — А если победа за мной. — Ватман зловеще усмехнулся, — уйдут твои люди.

— Ты можешь просить только о том, чтобы вам позволили уйти, — стро­го промолвил Лёдник. — И сейчас же отпусти пана Вырвича, иначе никаких переговоров!

Наемники Ватмана мрачно столпились в кучку вокруг предводителя, целиться им приходилось во все стороны — так как и слуги из имения опом­нились и присоединились к защите от наезда. Преимущество явно было не на стороне посланцев князя Богинского.

— Отпущу этого вруна, если согласишься на дуэль! — заявил Ватман.

— Бутрим, не соглашайся! — прокричал Прантиш, пытаясь вывернуться из рук наемников. — Это ловушка! Мы и так победим!

— Пан доктор, позвольте, мы их перестреляем, как тетеревов! — вос­кликнул из-за дерева мужик, у которого от нетерпения ружье подрагивало в руках. — У нас охотники — в глаз белке попадают!

Ватманские люди уныло переглянулись — желания героически умирать за чужое дело у них точно не было. И Ватман не мог этого не понимать.

— Давай, Герман, не дури. — ворчливо проговорил Лёдник. — Сам видишь — шансов у вас нет. Просто отпустите парня и безо всяких дуэлей уходите. Нечего кровь понапрасну лить, ни свою, ни чужую. И так ее слишком много проливается.

— Боишься меня, доктор? — зловеще произнес Ватман, упругой поход­кой выходя вперед — беловолосый, белобровый, с исполосованным шрамами розовым лицом. — А вот женушка твоя меня не боялась. Знаешь, так лягалась, до сих пор синяки не сошли.

Ватман с издевкой засмеялся, и Прантиш похолодел, поняв, что задумал наемник.

— Не рассказала тебе прекрасная Саломея о нашем с ней приключе­нии? — насмешничал Ватман. — Что же, у каждой женщины есть свои секре­ты. А тут такая женщина. Никогда мне не забыть той ночи! — пан Герман с наслаждением простонал. — Я постарался научить ее хоть чему-то. Ты же так и не сумел, докторишка! Где тебе. Такую страстную женщину удовлет­ворить непросто. А я постарался!

— Мерзавец! — Лёдник выхватил саблю и шагнул к Ватману.

— Так что, дуэль?

— Согласен! — сквозь зубы проговорил Лёдник, снял камзол, бросил на землю, стал в позицию. Прантиш почувствовал, что его отпускают, и подлетел к доктору.

— Зачем ты поддался? Он же специально тебя дразнил! Подумай о малыше!

Лёдник рассеянно отодвинул парня в сторону, — и Прантиш понял, глядя на его лицо, что слова бесполезны. Для обоих дуэлянтов самым важным на свете сейчас было — убить врага. Двоим сразу не было места на этой не такой уж маленькой земле.

Как и опасался Прантиш, от предчувствия захватывающего зрелища глаза у людей загорелись, все — и наемники Богинских, и мужики из Корытников, и лесные братья, и лакеи из имения — забыли о своей вражде, подтянулись ближе, чтобы лучше видеть. Доктор — выдающийся фехтовальщик, вон как легко стал чемпионом лондонского бойцовского клуба. А Герман Ватман — известный на всю Европу наемник-убийца, которого перекупают короли и князья. Три года назад в полоцких подземельях Прантиш и Лёдник вдвоем не смогли с ним справиться.

Мгновение, когда клинок встречался с клинком, невозможно было отследить. Будто сверкали две молнии. Доктор двигался легко и упру­го, бросался, как змея, но и Ватман, похожий на скалу, был быстрый и легкий — как водяные драконы в морских глубинах. Будь это дело в Лондоне — сейчас бы начали устраивать ставки, и кто-то бы неслыханно разбогател.

— Не понимаю, доктор, — усмехнулся Ватман, — с чего это ты заступа­ешься за ту магнатку, которая способствовала лишению свободы твоей жены, насильно принудила тебя ехать в путешествие? Или за радзивилловского выкормыша — ты же был рабом его брата, и я видел твою спину. Что тебе до богачей, которые используют тебя, как щепку, поковыряют в зубах и брезгли­во выбросят. Неужели ты не хочешь их наказать? Скажи, куда они уехали, а когда я выполню свою миссию, мы с тобой снова встретимся — и ты нака­жешь меня. Если, конечно, сможешь.

Наемник непринужденно, будто играя в чижика, отбил целую вереницу выпадов Лёдника.

— Я не за них, я за себя бьюсь, — сквозь зубы проговорил Лёдник. — Я одного от этих магнатов и князьков хочу — чтобы оставили нас в покое! Перестали торговать Беларусью! Чтобы решали свои амбиции, как пауки в банке: перегрызитесь вы там все и оставьте нам нашу землю!

Герман едва не достал доктора в бок. Но не достал и с досадой хмыкнул:

— А ты не заплыл жиром, Бутрим. Прыгаешь, как блоха. А в покое вас не оставят — если есть земля, будут и те, кто захочет ею владеть. А пока будут влиятельные магнаты — им понадобятся такие, как я.

— А вас, наемников, убийц, мы поганой метлой с Отчизны будем выме­тать! — Лёдник бешеным наступлением вынудил Ватмана отойти и даже чиркнул по подбородку кончиком сабли, но тут же сам был вынужден отсту­пить. Каждый удар Ватмана полнился такой мощью, что сдержать его без усилий мог разве тот Голиаф, который завалил пана Гервасия Агалинского на бойцовской площадке в Лондоне. Но доктор держался — за счет мастерства и увертливости, которые уравновешивали недостаток силы в сравнении с бело­волосым гигантом.

— Никуда мы не денемся! — скалился Ватман. — Мы будем приходить и забирать ваших женщин, и получать в награду имения, которые отберут у бун­товщиков, и вы станете воспитывать наших детей. А вот интересно будет, если пани Саломея родит от меня сына! И ты будешь его растить! Спроси, кстати, не в тягости ли женушка? Раз уж ты не смог сделать ей дитя, может, получилось у меня?

Доктор скрестил оружие с наемником с такой яростью, что если бы тот был слабее — свалился бы, как сухая камышина. Какое-то время дрался молча, упрямо. А потом сдавленно сказал:

— Пусть так. Пусть! У того ребенка будет и наша кровь. И мы воспита­ем его в любви к этой земле, чтобы он до последнего боролся за нее с такими, как ты! Чтобы он не позволил твоим хозяевам продавать нас за возможность получить власть!

— Ничего ты не сделаешь, доктор, — презрительно проговорил Ватман. — Ни ты, мастер ученый, ни романтичные мальчики вроде твоего ученика, ни эти мужики. Вы — или инструменты, которым позволяют иметь немного соображения, или просто быдло, что гоняют кнутом. По мне, так лучше дер­жать кнут в руке.

— Ты упускаешь одну важную деталь, Герман, — со сдержанным гневом проговорил сын полоцкого кожевника. — Кнутом можно погнать в храм или на войну. Но не заставишь искренне молиться или стать героем. Можешь взять женщину силой — но не заставишь ее полюбить. У каждого должно быть то, во что он верит и за что не побоится умирать. Что есть такого у тебя? Замок в чужой стране, набитый награбленным добром? У меня — моя люби­мая, мой сын, мой ученик, мой Полоцк.

— Не захлебнись пафосом, профессор, — бросил разозленный наем­ник. — Толкаешь речь, как герои древнегреческих трагедий. Сейчас я тебя просто убью. И через триста лет никто не вспомнит доктора Балтромея Лёдника со всеми его подвигами. А о панах Богинских, Сапегах, Радзивиллах, Понятовских и других властителях — будут писать в книгах и читать. Какими бы в жизни подлыми, продажными, жестокими они ни были. История — вещь несправедливая! И если не предназначено твоей Беларуси быть — она исчез­нет, растворится в других странах, как десятки и сотни государств, княжеств, герцогств до нее.

— Она не исчезнет никогда, потому что всегда будут рождаться такие, как мы! — ответил Бутрим.

Во дворе имения Агалинских было шумно — зрители захватывающего боя ревели, подбадривали дуэлянтов, бранились. Короче, ничем не отличались от толпы в Дракощине, Томашове, Лондоне или Вильне, которой показывают зрелище с кровью и смертельным финалом. А финал должен был наступить скоро. Оба дуэлянта устали, пот и кровь заливали глаза. Наконец Ватман взре­вел, как медведь, и так махнул саблей вокруг себя, крутнувшись волчком, что доктору, уклоняясь от удара, пришлось броситься на землю. Сейчас же в то место, где он упал, воткнулась сабля. Доктор вертелся на истоптанной траве, как уж, едва успевая лежа отбивать удары, Ватман с хаканьем рубил саблей, не давая противнику подняться.

— Баба будет моей! — рявкнул Ватман и с силой воткнул саблю в Лёдника. Поднял — на клинке темнела кровь. Лёдник на мгновение замер, и вдруг изогнулся, как пружина, невероятным усилием послал изможденное тело вперед — и Ватман застыл, зажимая руками рану в груди, в его белых глазах возникло искреннее удивление:

— Тебе бы. доктор. в балагане выступать.

На губах наемника показалась кровавая пена. Гигант снова поднял саблю, сделал шаг к врагу, но зашатался и упал, как столб. Вырвичу показалось, что вздрогнула земля.

Лёдник упал на колени, уперся руками в землю и пробовал отдышаться. Прантиш подбежал к своему профессору:

— Бутрим, ты цел? Куда он тебя ранил?

Лёдник не мог даже говорить. Кто-то подал ковшик с водой. Профессор, захлебываясь, отпил, отдышался, поднял голову.

— Саклета?

Невысокая женщина в повойнике счастливо улыбалась:

— Пан доктор! Я, как только узнала, что вы в беде и на помощь зовете, сразу своего мужа отправила. И братьев его. И отец мой вон там, с конем, за деревьями.

Лёдник, пошатываясь, поднялся: рубаха на боку пропиталась кровью, похоже, там напоследок скользнула сабля Ватмана.

— Позвольте, я вам раны промою. Я лекарства взяла! Как вы тогда учили: с тысячелистником, с древесным маслом. И хлеб с плесенью — как же без него?

Доктор вытер рукой лицо.

— Значит, ты замуж вышла?

— Да! — счастливо улыбнулась Саклета. — Пан Гервасий приданое при­слал. А Антось мой хороший, с детства меня жалел. Только раньше, когда у меня нарост на лице был, родственники не позволили бы ему ему на мне жениться. Теперь моему отцу помогает на мельнице. Все благодаря вам, пан Балтромей! Мне вовек не расплатиться!

От солнца осталась только багровая полоса над лесом. Балтромей, пере­вязанный, одетый, устало и мрачно взглянул на Прантиша:

— Ну что, поехали, рыцарь? Переночуем на мельнице, раз приглашают. Хватит, погостили у панов Агалинских. Свалились же они на нашу голову. Ромео да Юлия белорусского розлива. А лоб за них подставлять почему-то нам. Стар я уже для такой гимнастики.

— А как ты оказался здесь в самый нужный момент? — поинтересовался Прантиш.

Лёдник пощупал плечо со старой раной, осторожно поправил повязку на свежей, на боку.

— После твоего отъезда за «серебряным кордом» услышал, как у корчмы одна девица рассказывала другой о страшном великане с красными глазами и белыми волосами, который во главе войска помчался куда-то в сторону Глинищей. Соединил в мыслях два и два. Отправил Саломею в Вильню — нанял им с малышом повозку с кучером. А поскольку, в отличие от пана Вырвича, понимал, что один на один с отрядом не справлюсь, поскакал за помощью. Мужики наездов тоже не любят.

Когда Лёдник, прихрамывая, проходил возле тела Ватмана, около которо­го собрались наемники, готовясь без особой славы, но и без потерь покинуть Глинище, тело вдруг шевельнулось, и сильная, будто стальная рука, ухватила доктора за полу, так, что тот едва не упал.

— Наша дуэль еще впереди, доктор! — прохрипел Ватман. На его губах лопались кровавые пузыри. Лёдник освободился, мрачно осмотрел врага, которого один из сподвижников взялся лечить. Процесс лечения доктору не понравился:

— Подожди, не так, — скомандовал он самодельному лекарю. — Хлеб с плесенью положи сюда. Прижми. Так, чтобы воздух не проходил. Вот таким образом. — доктор помог перевязать рану, которую сам же и нанес. Ватман лежал, закрыв глаза, то ли потерял сознание, то ли не хотел видеть, как ненавидимый Лёдник его спасает.

— Когда повезете, положите на левый бок, — распорядился, тяжело вста­вая, Бутрим.

Вырвич с досады даже отвернулся. Теперь он ясно понимал, почему не хочет быть лекарем: вот так легко переступить через свои чувства ради клятвы Гиппократа и спасать жизнь врагу, который изнасиловал твою жену и мечтает только о том, чтобы тебя убить. Нет, пока что Прантиш на это не способен.

В последних лучах длинного летнего дня Прантиш заметил на лице Балтромея Лёдника мечтательную улыбку. Такую, какая бывает у путеше­ственника, когда он, наконец, возвращается к любимым людям.

Эпилог

Восковое лицо совершенной красоты пятнали черные полосы сажи. Под носом куклы появились бандитские усы.

— Алесик! Что ты делаешь? — пани Саломея стащила малыша с колен Пандоры. Шикарное платье куклы тоже было в черных отпечатках маленьких ладоней.

— Тетка пр-ротивная! — уверенно заявил Александр Балтромеевич Лёдник, демонстрируя не только прирожденное стремление к экспериментам, но и только что приобретенное умение выговаривать звук «р»

— Пошли мыть руки! — строго сказала Саломея. — Ну что ты наделал, папка ругаться будет.

— Не будет! — заявил малыш. — Он эту тетку не любит!

Прантиш еле сдерживал хохот. Сын профессора все папкины секреты раскрывал легко — видимо, из-за сходства характеров. И уже пользовался этим по полной: каким бы строгим отец ни выглядел, как бы ни отчитывал малыша за проказы, а стоило тому всхлипнуть или сделать жалобные глаза — и таял, как воск на солнце. А уж когда малыш начал задавать вопросы — почему яблоко падает вниз, а не вверх, как сделан телескоп, почему кровь красная — расчувствовался, и читал захватывающие лекции. И что только из этого ребенка вырастет? Разве что новый профессор.

А вот интересно, унаследовал ли малыш магические способности отца?

Конечно, об этом Прантиш вслух никогда не спрашивал. Лёдник всякие воспоминания о ведьмарстве, тайных знаниях и предсказаниях будущего на дух не переносил. Сколько молитв после возвращения из путешествия свято­му Киприану отчитал.

Пани Саломея подхватила чумазого, как лондонский трубочист, черново­лосого и уже немного клювоносого мальчика на руки и понесла мыть. Пани млела от счастья, когда малыш время от времени называл ее «мама». Сама она рожать пока что не собиралась. Прантиша беспокоило, как Лёдники переживут признание Ватмана о его гнусном поступке. Был тяжелый разговор за закрытой дверью, после которого пани ходила с заплаканными глазами, а доктор был молчалив, как трясина. Ясно — укорял, почему не рассказала о беде. Он ведь сразу, с порога, свои грехи вывалил. Потом были нежные поцелуи, объятия и слезы облегчения. И, похоже, после пережитой беды полочане стали еще дружнее.

Будет ли когда у Вырвича такое счастье?

Вот он, отпущенный на праздник домой — да, именно у Лёдников его дом, — сидит красавец в мундире, с заметными усиками, при литом поясе со слуцкой персиярни, при золотых галунах и в красных сапогах, девицы млеют — а большой и верной любви нет. Исчезла княжна Богинская за океа­ном, единственный след — передала из Гданьска записку без подписи. Мол, отплывают, помогай святой Христофор.

Во дворе залаял рыжий Пифагор — весело, приветливо. Что-то, тоже при­ветственное, забубнил Хвелька. Значит, вернулся хозяин.

Лёдник устало вошел в комнату, снял шляпу, поставил свой докторский саквояж, сел на диван, провел рукой по худому клювоносому лицу.

— Тяжелая операция была. Еле отходил пациента. Желчь разлилась в брюшину. А опытных ассистентов не хватает, — этот упрек он адресовал Вырвичу, который медицину ради военного дела отринул. Прантиш, однако, ни на йоту вины не чувствовал — пан Вырвич герба Гиппоцентавр, наследник Палемона — шляхтич, рыцарь, вой!

Маленький Алесь радостно подбежал к отцу, забрался на колени. Лёдник поцеловал малыша в лоб и, откинувшись на спинку дивана, закрыл глаза, при­жимая к себе сына. Пани Саломея быстро накрывала на стол.

Никто не знал, сколько судьба позволит длиться таким тихим вечерам, наполненным семейным счастьем, поэтому они и были особенно дороги всем.

На улице послышались выстрелы и крики. Лёдник даже не шевель­нулся, не открыл глаза, единственно — по его лицу пробежала тень. Вырвич вскочил, выглянул в окно:

— Что там делается? Бутрим, знаешь что-нибудь?

Лёдник тяжело вздохнул и неохотно ответил:

— В соборе люди Станислава Понятовского начали стрелять по радзивилловским. Ну и. снова сеча. Видимо, скоро прибегут просить кому-то из панов выпущенные кишки вправить.

Прантиш засуетился, схватил шапку, саблю. Пани Саломея тревожно смо­трела на него.

Лёдник только грустно спросил:

— За кого драться будешь, драгун?

Прантиш немного задумался, потом улыбнулся, расправил плечи:

— Не бойся, в глупую ссору не полезу. Но что я за шляхтич, если стану прятаться от драк в тяжелые для родины времена? За кого драться? Ясное дело, за волю, за Беларусь! Ну, прощайте!

Прантиш выбежал во двор, вскоре по мостовой застучали копыта его коня.

— Как думаешь, он не попадет в беду? — спросила Саломея.

Лёдник только пожал плечами.

— Во время ливня не вымокнуть невозможно. Неизвестно, куда нас поли­тические вихри занесут. Будем молиться, Залфейка, и ждать. Если у человека есть честь и любовь к Родине — он не станет щепкой на чужих волнах. Не пропадет и его мость пан Прантиш Вырвич.

Над Вильней зазвенели колокола, поплыли облака, заплакали ангелы. Солнце пробилось сквозь тучи, как огненный меч.

И не было иного времени и иного места для тех, кому была предназначено жить, любить и бороться здесь, где живет Беларусь.